

Авторы

СМОЛЕНСКИЕ ГОДИ
ПУШКИНА

О Пушкине: Биографическая диалогия. Литературные очерки. Лицейские стихотворения А. С. Пушкина / . - (Круг чтения: школьная программа).
//Школа-Пресс, М., 1998
FB2: "rvvg ", 08 May 2010, version 1.0
UUID: 0847BFAF-AE64-4506-B3D9-A1135141FDDD
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Василий Петрович Авенариус

Юношеские годы Пушкина

Настоящая биографическая повесть, сама по себе составляя законченное целое, вместе с тем служит прямым продолжением и окончанием другой повести В.Авенариуса: "Отроческие годы Пушкина". В повести живо и правдоподобно описывается молодость великого русского поэта до первого его крупного произведения: "Руслана и Людмилы".

Содержание

#1	0007
Глава I Лицейское междоусобие	0007
Глава II На Розовом поле	0026
Глава III Предатели друзья	0052
Глава IV Павловский праздник	0072
Глава V Дивертисмент	0101
Глава VI Два дня у Державина	0119
Глава VII Два дня у Державина	0141
Глава VIII Убежище лицеистов	0167
Глава IX Державин в лицее	0189
Глава X Жуковский	0213
Глава XI "Беседчики" и "арзамасцы"	0232
Глава XII Лицейский Дон Кихот	0256
Глава XIII Мракобесие лицеистов	0276
Глава XIV Конец междоусобия	0292
Глава XV Директор Энгельгардт	0310
Глава XVI Пушкин и Энгельгардт	0328
Глава XVII Дядя Василий Львович	0347
Глава XVIII В "Арзамасе"	0357
Глава XIX ОПЯТЬ ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК	0374
Глава XX Карамзин	0392
Глава XXI Господа лейб-гусары	0415
Глава XXII Заговорило ретивое	0432
Глава XXIII Яблочная экспедиция	0452
Глава XXIV Последние подвиги	0479

Глава XXV Выпуск из лица	0499
Глава XXVI За стенами лица	0528
Эпилог	0553
ПРИМЕЧАНИЯ	0602

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен...
...Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
"Поэт"



Александръ Сергѣевичъ
ПУШКИНЪ.

Глава I

Лицейское междуцарствие

*Лошади шли шагом и скоро стали.
— Что же ты не едешь? — спросил я
ямщика с нетерпением.*

*— Да что ехать? — отвечал он, слезая
с облучка. — Невесть и так куда заеха-
ли: дороги нет, и мгла кругом.*

"Капитанская дочка"

В солнечный полдень весною 1814 года по крайней аллее царскосельского дворцового парка, прилегающей к городу, брели рука об руку два лицеиста. Старший из них казался на вид уже степенным юношей, хотя в действительности ему не было еще и шестнадцати лет. Но синие очки, защищавшие его близорукие и слабые глаза от яркого весеннего света, и мечтательно-серьезное выражение довольно полного, бледного лица старообразили его. С молчаливым сочувствием поглядывал он только по временам на своего разговорчивого собеседника, подростка лет пятнадцати, со смуглыми, неправильными, но

чрезвычайно выразительными чертами лица.

— Что же ты все молчишь, Дельвиг? — нетерпеливо прервал последний сам себя и, сняв с своей курчавой головы форменную фуражку, стал обмахиваться ею. — Однако, как жарко!..

— Да... — согласился Дельвиг, как бы очнувшись от раздумья.

— Что "да"?

— Жарко.

— Ну, вот! Битый час рассыпаю я перед ним свой бисер...

— Да я совершенно согласен с тобой, Пушкин...

— В чем же именно? Ну-ка повтори!

Дельвиг усмехнулся пылкости приятеля и дружелюбно пожал ему рукою локоть.

— Повторить, брат, не берусь. Я следил не столько за твоим бисером, как за тобой самим, и с удовольствием вижу, что ты делаешься опять тем же живчиком, каким был до смерти Малиновского.

— Да, жаль Малиновского! — вздохнул Пушкин, и легкое облако грусти затуманило

его оживленный взор. — Такого директора нам уж не дожидаться...

— Ну, жаловаться нам на свою судьбу покуда грех: учись или ленись — ни в чем ни приказа, ни заказа нет; распевай себе свои песни, как птичка Божия...

— То-то, что еще не поется!.. Смотри-ка, кого это к нам несет? — прибавил он, подходя к чугунной решетке парка. — Таковую пыль подняли, что и не разглядишь.

Из-за столба пыли, приближавшегося по большой дороге, вынырнула в это время вертушка старомодной почтовой громады колымаги.

— Ноев ковчег! — рассмеялся Пушкин. — А на козлах-то, гляди-ка, рядом с ямщиком, старая ведьма киевская!..

— И нас с тобой, кажется, увидела, — подхватил Дельви́г, — машет сюда рукой...

— Верно, тебе, барон!

— Нет, я ее не знаю. Вот и зубы оскалила, головой кивает: верно, тебе, Пушкин.

Но Пушкин уже примолк и судорожно схватился рукою за холодную решетку.

"Неужели это няня Арина Родионовна?" —

промелькнуло у него в голове, и дух у него заняло, сердце забилося.

Между тем колымага по ту сторону решетки поравнялась уже с ними. "Киевская ведьма" наклонилась с козел к окну колымаги. И вот оттуда, из-под развевающегося голубого вуаля, выглянуло свежее, как розан, личико.

— Александр! — донеслось к нему. Белый носовой платок взвился в воздухе — и колымага прогремыхала мимо, заволакиваясь прежним облаком пыли.

— Оля! — вырвалось у Пушкина, и он бегом пустился по тому же направлению, вверх по аллее, к выходным воротам парка.

— Кто это? — кричал ему вдогонку Дельвиг.

— Наши! — ответил, не оглядываясь, Пушкин и, добежав до ворот, бросился через улицу к лицу.

"Ноев ковчег" стоял уже у лицейского подъезда. Швейцар высаживал оттуда под руку видную даму лет тридцати пяти.

— Матушка! Какими судьбами? — окликнул ее по-французски Пушкин и хотел кинуться к ней на шею.

— Что с тобой, Александр? Обниматься на улице! — на том же языке охладила мать его неуместный порыв и дала ему приложиться только к ее лайковой перчатке.

Барон Дельвиг остановился на тротуаре в десяти шагах от них и был невольным свидетелем этой форменной встречи.

"Так вот она, Надежда Осиповна Пушкина, прекрасная креолка, как зовут ее во всей Москве, — сказал он про себя. — Действительно, она еще очень хороша, и какое изящество в каждом движении, какая надменность в осанке!"

Вслед за Надеждой Осиповной из колымаги выпорхнула, уже без помощи швейцара, молоденькая барышня. По фамильному сходству Дельвиг тотчас сообразил, что это сестра Пушкина, Ольга Сергеевна. Она, как видно, приняла к сведению замечание матери, потому что мимоходом только коснулась губами щеки брата.

Зато сползшая с козел старушка няня дала полную волю чувствам: пригнув к себе голову своего питомца, она так и прильнула к нему, осыпая поцелуями то одну его щеку, то дру-

гую.

— Сердечный ты мой! Сокровище мое! Единственный мой!.. — приговаривала она.

— Ты с ума сошла, Родионовна?! — старалась ее урезонить барыня.

— Помилуйте, сударыня! — оправдывалась расчувствовавшаяся старушка. — Не я ли его с самых пеленок взростила? Дороже он мне и родных-то ребят, ей-Богу, правда!

— Ну, ну, не рассуждай, пожалуйста! Полежай себе опять на козлы: скоро поедем дальше, — оборвала ее Надежда Осиповна; потом обратилась по-французски к сыну: — А уж тебе-то как не совестно, Александр?

Александр насилу высвободился из объятий няни; на глазах его блестели слезы, когда он взглянул на стоявшего тут же Дельвига. Выражения глаз последнего нельзя было заметить за синими очками, но игравшая на губах его улыбка как бы говорила: "Вот тебе и киевская ведьма!"

Раскрасневшийся Пушкин только улыбнулся в ответ: старушка няня его, хотя и вся бронзовая от загара, имела такую простодушную, чисто великорусскую физиономию и вы-

казала к нему такую непритворную материнскую нежность, что заподозрить в ней мало-русскую ведьму, конечно, никому бы и в голову не пришло.

Надежда Осиповна вошла между тем в прихожую лицаея и на ходу, через плечо, небрежно сказала швейцару:

— Нельзя ли позвать ко мне пансионера Льва Пушкина?

— Слушаю-с, ваше превосходительство! — подобострастно отвечал швейцар, который с первого взгляда признал в ней по меньшей мере генеральшу.

Надежда Осиповна стала подниматься во второй этаж, шурша по каменным ступеням лестницы своим дорожным шелковым платьем; дочь и сын следовали за нею.

Здесь же, на лестнице, Ольга Сергеевна, украдкой от матери, крепко чмокнула брата и окинула его сияющим взглядом.

— Как ты, однако, Александр, вырос!

— И ты не меньше стала, — отшутился он, — совсем как взрослая — в длинном платье!

— Да ведь мне уж семнадцатый год. Ты ме-

ня сколько лет не видал. Но вот теперь мы будем видеться часто. Лето мы еще проведем в Михайловском,[1] а к осени совсем уже переедем в Петербург.

— Вот как! И папа тоже? Отчего он не с вами?

— Папа? Да разве ты не знаешь, что он зимой еще отправился из Москвы в Варшаву начальником этой комиссариатской, что ли, комиссии нашей резервной армии?

— Да, правда, ну и что же?

— Ну и надоело ему, кажется, бросает службу и на днях должен съехаться с нами в Петербурге.

В приемной Надежду Осиповну встретил сухощавый и вертлявый чиновник. Осведомившись о цели ее прибытия, он с неловким поклоном отрекомендовался ей:

— Надзиратель по учебной части Василий Васильевич Чачков.

— Чачков? — переспросила Надежда Осиповна. — А не Пилецкий?

— Совершенно справедливо-с, — залезбил надзиратель, — предместник мой точно назывался Пилецкий-Урбанович, но месяца два

назад его... как бы лучше выразиться?..

Он замялся и опасливо оглянулся на молодого Пушкина. Но тот с сестрою удалился уже в углубление окна, чтобы продолжать с нею там прерванную беседу.

— Не угодно ли вам присесть, сударыня? — спросил Чачков, указывая почетной гостье на клеенчатый диван.

Она села, а он остался на ногах перед нею и продолжал пониженным голосом:

— С предместником моим, извольте видеть, учинилось здесь нечто необычайное... Разве сынок ваш ничего не отписал вам?

— Писал, кажется, — как теперь припоминаю, — что Пилецкий ушел, но и только.

— Ушел... гм! Да-с... но форсированным маршем.

— То есть его "уходили"?

— Хе-хе-хе! Тонко изволили заметить. Однако мало ли что болтают. Не всякому слуху верь. Воспитанники, словно сговорившись меж собой, хранят дело в тайне. Нам же, начальству, ведомо лишь, что у них с господином Пилецким было секретное собеседование при закрытых дверях. О чем? Одному Богу да

самим им только известно. На другое же утро господина Пилецкого и след простыл: укатил в Петербург невозвратно. Да-с, сударыня! — вздохнул преемник Пилецкого и снова покосился на Пушкина. — Могу сказать, тяжеленько-таки нынче нашему брату! Директора нам все еще не дают, и живем мы между небом да землей, как на шаре воздушном.

— Да ведь кто-нибудь поставлен у вас на место директора?

— Положим, что так... Я вас, сударыня, не беспокою своим разговором?

— Нет, отчего же! Мне, напротив, любопытно знать, какой у вас тут надзор за детьми.

— А мне, осмелюсь доложить, некая даже потребность облегчить душу... Как скончался, извольте видеть, в марте месяце покойный директор Малиновский (достоинейший, говорят, был человек; не имел чести его знать), так, впредь до окончательного назначения ему преемника, обязанности директорские его сиятельство граф Алексей Кириллович (министр наш, Разумовский) изволил возложить на старшего из господ профессоров, Ко-

шанского. Но беда беду родит. Господина Кошанского постигла тоже тяжкая болезнь. И вот власть разделили: каждый из господ профессоров директорствует поочередно. Все они, положим, люди препочтенные, но бывают здесь только наездом из Петербурга и спешат «распорядиться» каждый по своей части, не справясь толком, согласуется ли, нет ли «распоряжение» с мерами прочих содиректоров. Коли уже у семи нянек дитя без глазу, так спрашиваю я вас, сударыня: каково-то нашему многоголовому детишу-лицею у семи ученых мужей? Чем дальше в лес, тем больше дров, а где лес рубят, там щепки летят. Первой такой щепкой был мой бедный предшественник, второй щепкой чуть-чуть не сделался экононом наш Золотарев...

— А что было с ним?

— Что было с ним?.. — повторил Чачков и прикусил язык. Теперь только как будто спохватился он, что чересчур уж откровенно излил перед посторонним лицом накипевшую у него на сердце горечь. — Да так, ничего-с, маленькое недоразумение с одним из воспитанников, но все теперь, слава Богу, улажено, а

кто старое вспомянет, тому глаз вон.

— Надеюсь, что воспитанник этот был не сын мой Александр? — спросила Надежда Осиповна, строго поглядывая в сторону сына.

— О нет-с!.. Скажу прямо: то был граф Бруглио... Так вот как, сударыня. Одно слово: «междущарствие», как метко прозвали сами господа лицеисты это переходное время-с. И приходится нам, начальству их, идти потихонечку-полегонечку, лавировать, как меж подводных рифов, между строгостью и лаской.

Как нарочно, надзирателю пришлось тут же показать это «лавирование» на деле. В приемную вошел в высоких ботфортах, с хлыстом в руке темнолицый, чернобровый геркулес-лицеист. Похлопывая хлыстом по ботфортам, он так самоуверенно огляделся кругом, так беззастенчиво прищурился своими как смоль черными глазами на сидевшую на подоконнике, рядом с братом, Ольгу Сергеевну, что та вспыхнула и потупилась. С тонкой усмешкой переглянувшись с Пушкиным, он прошел далее.

— А, граф! — обратился к нему с товарищескою фамильярностью надзиратель. — Ну

что, наездились верхом?

— Наездился, — нехотя отозвался тот и, проходя мимо, еще пристальнее всмотрелся в лицо красавицы матери своего товарища.

— Кто этот нахал? — спросила, негодуя, Надежда Осиповна, когда граф-наездник скрылся за дверью.

— А это, сударыня, тот самый граф Бруглио, о котором я имел честь давеча вам докладывать. Он пользуется у нас привилегией ездить верхом в здешнем гусарском манеже.

Влетевший в это время вихрем второй сын Надежды Осиповны, Лев, Леон или Левушка, прервал разговор ее с надзирателем. Обняв и расцеловав по пути сестру у окна, он бросился к матери и, уже без околичностей, сжал ее также в объятиях. Младший сын был ей, очевидно, дороже первенца. Сама порывисто приглубив мальчика, она усадила его около себя, вышитым батистовым платком отерла ему разгоряченное лицо и с одобрительной улыбкой заслушалась его детской болтовней.

Надзиратель Чачков деликатно отошел в сторону, да ему было теперь и не до них, потому что воспитанники, возвращавшиеся один

за другим с прогулки и с шумным говором проходившие через приемную в столовую, требовали его полного внимания; каждому говорил он что-нибудь, по его мнению, подходящее и приятное.

— Дельвига я сейчас узнала на улице по его синим очкам, — говорила полусшепотом Ольга Сергеевна брату, который должен был называть ей по именам всех товарищей, проходивших мимо как бы церемониальным маршем.

— А этот блондин, верно, князь Горчаков? — спросила она, когда мимо них прошли опять два лицеиста, блондин и брюнет: первый — писанный красавец; второй — тщедушный, неприглядный малый, с крупным носом и заметными уже усами.

— Да, Горчаков, — отвечал Александр. — Ты как догадалась, Оля?

— Да ведь ты же писал мне, что он в своем роде Аполлон Бельведерский...

— Не правда ли? Но он прекрасен не только телом, но и душой. Впрочем, Суворочка ему в этом отношении ничуть не уступит.

— Суворочка?

— Ну, да, тот брюнет, что шел с ним, — Вальховский, Суворочка или Sapientia (мудрость).

— За что вы его так прозвали?

— За его выдержку и рассудительность.

Поверишь ли: чтобы не изнежить своего слабого тела, он спит нарочно на голых досках, встает зимой в 4, летом в 3 часа утра; чтобы приучить себя к голоду, он постится по неделям, даже в мясоед отказывается от пирожного, от чаю; наконец, даже приготавливаясь к урокам, чтобы тело не отдыхало, он кладет себе на плечи по толстейшему тому словаря Гейма. Прямой спартанец или Суворов.

— И, вероятно, тоже из первых учеников?

— Да, они оба с Горчаковым перебивают друг у друга пальму первенства; но, как ты сейчас видела, они в лучших отношениях между собой.

Обеденный колокол, сзывавший лицеистов в столовую, положил конец свиданию Пушкиных. Началось торопливое прощанье. Сестра и младший брат украдкой утирали глаза.

— Ничего, господа: вы можете проводить

вашу матушку и до экипажа, — милостиво разрешил двум братьям надзиратель Чачков.

— Так смотри же, Александр, пиши ко мне, — говорила Ольга Сергеевна старшему брату, спускаясь с лестницы.

— Да ведь письма, сама ты знаешь, Оля, смерть моя, — отговаривался брат.

— Ну так пришли хоть стихи. Ведь ты теперь пишешь и по-русски. Обещаешь?

— Не знаю, право... В последнее время я совсем бросил писать...

— И слышать не хочу! Я жду от тебя предлинного и премилого послания в стихах. Так и знай!

Терпеливо сидевшая на козлах колымаги в ожидании господ няня Арина Родионовна собиралась теперь слезть опять наземь, чтобы как следует проститься со своим любимцем, Александром. Барыня повелительным жестом остановила ее. Зато, когда швейцар суетливо стал подсаживать "ее превосходительство" в колымагу, старушка подозвала к себе пальцем Александра и, наклонившись с козел, сунула ему небольшой пакетец из толстой синей сахарной бумаги, перевязанный

золотым шнурком.

— Спрячь, родной мой... — шепнула она. — Думала: сама благословлю образком Иверской Божьей Матери, да не довелось, вишь...

Еще несколько добрых пожеланий на дорожку, свист бича, окрик ямщика: "Трогай! Эй, вы, любезные!" — и громоздкий дедовский экипаж загромыхал по мостовой.

Пушкин едва мог дожидаться конца обеда. Пакет няни за пазухой не давал ему покоя. "Что-то положено у нее там?" После обеда он первым делом побежал наверх, в четвертый этаж, в свою комнату. Когда он сорвал с пакета золотой шнурок и развернул бумагу, сверху, как он и ожидал, оказался миниатюрный образок Иверской Богоматери на голубой шелковинке. Под образком же блестела целая груда новеньких и старинных серебряных монет, петровский рубль с просверленным ушком и один старый голландский червонец. И петровский рубль, и голландский червонец он видел когда-то в копилке своей скопидомки-няни; а теперь вот она все-все отдала ему!

На глазах его навернулись слезы умиления. С безотчетным благоговением прило-

жился он губами к святому лику, расстегнул ворот и надел на себя образок. Деньги же няни он запер в конторку, мысленно обещая себе — ни за что, ни за что не истратить из них ни копейки!

Дня через два няня и сестра получили от него в Петербурге по посланию: первая — благодарственное в прозе, вторая — известное стихотворное "К сестре", начинающееся словами:

*Ты хочешь, друг бесценный,
Чтоб я, поэт молодой,
Беседовал с тобой...*

Увиделся Пушкин снова с няней, матерью и сестрой только мельком, при обратном проезде их через Царское в село Михайловское, где с этого года семья Пушкиных проводила уже каждое лето. Арина Родионовна так и осталась в Михайловском; Ольга же Сергеевна, по возвращении в Петербург, по временам навещала брата-поэта то с отцом, то с матерью и была одним из его внимательнейших и снисходительнейших судей. Пример его даже ее заразил; сама она тайком от всех приня-

лась упражняться в стихотворстве и уже на старости лет только призналась в том своим детям.

Глава II

На Розовом поле

*...Вы помните ль то Розовое поле,
Друзья мои, где красною весной,
Оставляя класс, резвились мы на воле
И тешились отважною игрой?
Граф Брогльо был отважнее, сильнее,
Комовский же проворнее, хитрее;
Не скоро мог решиться жаркий бой...
Где вы, лета забавы молодой?..
"Отрывок"*

В конце того же мая месяца двух братьев Пушкиных в царскосельском лицее навещил, по пути из Варшавы в Петербург, и отец их, Сергей Львович. Когда он небрежно скинул на руки швейцара свой пыльный дорожный плащ с капюшоном, на нем оказался наряд, по пестроте своей, пожалуй, не совсем уже соответствовавший его немолодым летам: зеленый фрак, клетчатый трехцветный жилет и полосатые панталоны. Когда-то наряд этот был очень модным; Сергей же Львович в молодости слыл в Москве, подобно брату своему, стихотворцу Василию Львовичу

Пушкину, известным щеголем и с годами, не переняв новых мод, продолжал держаться излюбленной раз пестроты. Лицейский швейцар, "видавший виды", по пословице "по платью встречают, а по уму провожают", тотчас оценил приезжего по его изысканной, в своем роде, внешности, а также по той покровительственной важности, с которой он потребовал к себе обоих своих сыновей. Впрочем, за старшим из них, гулявшим где-то в парке, швейцару некого было сейчас послать, а сам он для этого не смел так надолго отлучиться из своей швейцарской; за младшим же он не замедлил побежать в лицейский пансион, который был рядом.

Наговорившись с Левушкой, по обычаю того времени, вперемежку — по-русски и по-французски, Сергей Львович вспомнил наконец опять о старшем сыне.

— А где же Александр?

— Он, верно, на Розовом поле, — отвечал Левушка.

— Это что ж такое?

— А большой луг, знаете, между большой руиной и капризом, где при Екатерине Вели-

кой, говорят, росли розы. Теперь его отвели лицеистам для их игр.

— Стреножили, значит, жеребчиков, чтобы другой травы не помяли? Ну что ж, пойдем, отыщем его.

Спустившись с сыном в парк, Сергей Львович остановился на минутку и взглядом знака окинул великолепный фасад императорского дворца.

— Семьдесят лет ведь прошло с тех пор, — промолвил он, — как граф Растрелли обесмертил себя этой колоссальной постройкой. Позолота, правда, сошла уж с крыши, карнизов и статуй; но стиль, смотри-ка, как выдержан: Людовик XIV да и только! Рассказывают, что когда императрица Елизавета Петровна прибыла сюда со всем двором и иностранными послами осмотреть новый дворец, один только французский посол, маркиз де Шетарди, не проронил ни слова.

— Что же, маркиз, вам не нравится мой дворец? — спросила Елизавета.

— Одной, главной вещи недостает, — отвечал он.

— Чего же именно?

— Футляра, чтобы покрыть эту драгоценность.

При дальнейшей прогулке по парку отцу с сыном попался на глаза лицеист в синих очках, который, полулежа на скамье, читал книгу.

— Это барон Дельвиг, друг Александра, — вполголоса пояснил Леон.

— Верно, он так прилежен, что даже не играет с другими?

Левушка рассмеялся.

— Напротив, так ленив, что не хочет играть. А читает теперь непременно какие-нибудь стихи.

— Сейчас узнаем, — сказал Сергей Львович и, подойдя к Дельвигу, очень вежливо снял шляпу:

— Если не ошибаюсь, барон Дельвиг, друг моего старшего сына, Александра Пушкина?

— Точно так, — отвечал, вставая, Дельвиг. — Вы ищете Александра? Он с другими на Розовом поле.

— А вы предпочли читать книгу? Позвольте полюбопытствовать.

Дельвиг не мог не подать ему книги.

— Так и знал: стихи, — снисходительно усмехнулся Сергей Львович. — Вы ведь тоже один из лицейских стихотворцев?

— Полкласса у них стихотворцы! — вмешался с живостью Левушка. — Барон да наш Александр из самых лучших. Один только Илличевский может помериться с ними. Какие, я вам скажу, у них эпиграммы, какие карикатуры! Особенно в карикатурном журнале. Сам гувернер наш и учитель рисованья, Чириков, поправляет эти карикатуры...

— Похвально, — произнес Сергей Львович таким тоном, что оставалось под сомнением: хвалит он иронически или серьезно. — И ко мне, за тридевять земель, дошли уже слухи, что у вас здесь сильно «зажурналилось» и «затуманилось», как выразился Державин, когда у нас на Руси чересчур расплодились журналы.

— В настоящее время у нас в лицее всего один журнал — "Лицейский мудрец", — заметил, как бы извиняясь, Дельвиг.

— Но сам барон — цензор этого журнала, — подхватил Левушка. — Корсаков — редактор, а Данзас — типографщик, то есть пе-

реписчик, потому что у него лучший почерк.

— Запретить вам, господа, баловаться стихами никто посторонний, конечно, не вправе, — наставительно заговорил Сергей Львович, и между бровями его появилась легкая складка, — но сыну моему Александру я строго закажу...

— Но вы же сами, папенька, пишете прекраснейшие альбомные стихи, — вступился за отсутствующего брата Леон.

— Альбомные — да. Всякий благовоспитанный человек нашего века обязан уметь: войти в комнату, болтать по-французски обо всем и ни о чем, знать наизусть тысячи изречений и сентенций, участвовать в спектаклях, живых картинах, общественных играх; точно так же он должен быть готов во всякое время, по первому востребованию, настроить альбомный куплет по-русски, по-французски или на ином европейском диалекте. И в этом отношении, любезный барон, могу сказать без излишнего самохвальства, ваш покорный слуга дошел до некоторой виртуозности:

Вы приказали — повинуюсь

*И дань спешу принести в альбом;
Хоть в стихотворцы я не суюсь,
Но воля ваша мне закон...*

Вы, кажется, не одобряете моего куплета? — прервал сам себя декламатор, заметив, что Дельвиг закусил губу. — «Альбом» и «закон» не совсем богатая рифма — согласен. Но альбомный стих — дареный конь; а даренному коню в зубы не смотрят.

— Так видите ли, папенька, как хорошо, что Александр уж смолоду упражняется в стихах! — возразил Левушка. — В последние месяцы он что-то мало писал. Но есть у него одна вещица: "Красавице, которая нюхала табак", — просто пальчики расцеловать!

— Хороша должна быть красавица, которая набивает себе нос табаком! Горгона какая-нибудь?

— О нет! Родная сестра лицеиста нашего, князя Горчакова, княгиня Кантакузен: молоденькая и прехорошенькая. Она как-то приезжала сюда к своему брату. Я вам сейчас скажу все стихотворение: я знаю его от доски до доски...[2]

— Не трудись! — сказал Сергей Львович.

— Нет, вы только послушайте, папенька, какие там есть стихи:

*Ах! Если, превращенный в прах,
И в табакерке, в заточенье,
Я в персты нежные твои попастьъ
ся мог, -
Тогда б я в сладком восхищенье...*

— И так далее, — перебил Дельвиг, который не мог вынести насмешливой улыбки, показавшейся на губах отца его друга. — Александр будет очень рад вас видеть.

— Надеюсь, — с некоторою уже сухостью произнес Сергей Львович. — Вы, барон, не пойдете с нами?

— Нет, благодарю вас... Я почитаю.

— Так имею честь вам кланяться: больше, вероятно, не увидимся.

И в сопровождении младшего сына Сергей Львович отправился далее. На Розовом поле все прочие лицеисты, действительно, оказались налицо. Играли они в лапту, и игра их была в полном разгаре.[3] Один из горожан, сутуловатый великан, забежавший за противоположную черту поля, перебежал только что обратно в город.

— Живей, Кюхельбекер! Не поддавайся, Виленька! — подбодряли его друзья-горожане.

Согнувшись в три погибели, Кюхельбекер неуклюже вымерял уже своими длинными журавлиными ногами половину вражьего стана, когда попал под неприятельскую бомбу: matka полевщиков, граф Броглио, несмотря на то что был левша, так метко угодил ему в голову мячом, что Кюхельбекер схватился за щеку и сделал козлиный прыжок. Полевщики кругом так и заликовали, потому что этим бой был решен и город перешел в их власть.

— Стой, Кюхля! Не разгибайся! — раздался вдруг повелительный голос.

Добродушный и простоватый Кюхельбекер, не оправившийся от понесенного сейчас поражения, послушно согнулся еще круче в дугу. В тот же миг товарищ, крикнувший ему, разбежался на него сзади и, едва коснувшись руками его плеч, одним махом перелетел через него.

— Ай да Пушкин! Молодец Француз! — приветствовал его выходку дружный смех.

— Ни с места, Виленька! Побереги голо-

ву! — закричал вражеский атаман Броглио. Тем же порядком, как Пушкин, но с изяществом записного эквилибриста, перенесся он через ошеломленного Кюхельбекера.

Пример двух шалунов нашел усердных подражателей. С криком: "Ниже голову, Кюхля! Ниже!" — все враги-полевщики один за другим, более или менее ловко, перепрыгнули через беднягу.

Между тем Пушкин заметил уже присутствие отца.

— Ах, папа! — радостно вскричал он, но, вспомнив тотчас, как неодобрительно мать его отнеслась к пылким излипаниям сыновней любви, не решился при других обнять отца.

Но Сергей Львович широко раскрыл уже сыну объятия, подставил для поцелуя щеку и с некоторою, как бы театральною, торжественностью прижал его к груди.

— Однако, ты все тот же сорвиголова, — заговорил он, выпуская сына из объятий. — Лежачего, ты знаешь, не бьют; *de mortuis aut bene, aut nihil* (о мертвых говорят или хорошо, или ничего), а Кюхельбекер ваш теперь тот же покойник.

— Совершенно верно, папенька, — весело отозвался Александр. -

*Покойник Клит в раю не будет:
Творил он тяжкие грехи.
Пусть Бог дела его забудет,
Как свет забыл его стихи.*

— Эпиграмма эта твоего собственного сочинения? — недоверчиво спросил Сергей Львович.

— Собственного. Илличевский еще перецеголял меня по этой части. Поди-ка сюда, Илличевский!

Тот не замедлил явиться на зов и почти-тельно поздоровался с отцом приятеля. На просьбу Сергея Львовича — сказать также одну из своих эпиграмм — он не стал долго читаться и не без самодовольства продекламировал:

*— Нет, полно, мудрецы, обманывай
вам свет
И утверждать свое, что совершенства нет
На свете в твари тленной.
Явися, Виленька, и докажи собой,
Что ты и телом и душой*

Урод пресовершенный.

— На бедного Макара все шишки валяются, — заметил Сергей Львович.

— На то он и Макар, — легкомысленно подхватил Александр. — Пуцин составил даже целый сборник эпиграмм на него: "Жертва Мому, или Лицейская антология".[4]

Наблюдавший за играющими дежурный гувернер Чириков наклонился к Пушкину и шепнул ему:

— Пожалейте хоть несчастного! Вы видите: он вне себя.

И точно: Кюхельбекер был красен, как раззадоренный индейский петух. Размахивая своими длинными, как жерди, руками, захлебываясь и отдуваясь, он хриплым басом и с заметным немецким произношением слезно жаловался столпившейся около него кучке молодежи на причиненную ему обиду:

— Разве этак можно?.. Разве мы играем теперь в чехарду?

— Военная, брат, хитрость! — смеялся в ответ Броглио. — На войне допускается всякий фортель.

— Нет, не всякий! Всему есть мера, — за-

ступилась за обиженного matka его — Комовский. — Сергей Гаврилыч — лицо незаинтересованное: пусть он решит, допускается ли такой фортель.

— И прекрасно! Пусть Сергей Гаврилыч решит.

Вся толпа хлынула к судье-губернеру. Но разбирательство сомнительного вопроса было тут же приостановлено одним плотным, широкоплечим лицеистом.

— Стойте, господа! — крикнул он, поднимая руку. — Сергей Гаврилыч, позвольте мне два слова сказать.

— Не давайте ему говорить! Пускай он говорит! — перебивали друг друга обе враждебные партии.

— Говорите, Пуцин, — сказал Чириков.

— Прежде всего, господа, — начал Пуцин, — обращу ваше внимание на то, что мы здесь не одни. Меж нас, лицеистов, должен происходить суд — и что же? Какой-то молокосос-пансионер преспокойно слушает нас, подсмеивается над нами.

Все взоры обратились на Левушку Пушкина. По смешливости своей он, действительно,

от души потешался также эпиграммами на Кюхельбекера; теперь же, сделавшись предметом общего внимания, он рад был сквозь землю провалиться. Прежде чем поднявшийся среди лицеистов ропот возрос до угрожающего протеста, пансионерик благоразумно юркнул в кусты и исчез.

— Может быть, и я здесь лишний? — спросил Сергей Львович, делая также шаг назад.

— Нет, папенька, вы-то оставайтесь! — поспешил остановить его старший сын. — Пансионеру нельзя было присутствовать при нашем самосуде. Но ваше присутствие нам даже лестно. Не правда ли, господа?

— Н-да, конечно... — нерешительно подтвердило несколько голосов.

— Это был первый пункт, — продолжал Пущин. — Второй пункт следующий: не вы ли сами, Сергей Гаврилыч, всегда твердили нам, что всякий спор нам лучше решать промеж себя, без всякого чужого посредничества?

— И повторяю опять то же, — сказал гувернер.

— Ну вот. Стало быть, отчего же нам и теперь не поладить одним, без вас?

— Сделайте одолжение, господа. Я, пожалуй, на время совсем удалюсь...

— Нет, нет, зачем! Чем более беспристрастных свидетелей, тем суд у нас будет справедливее и строже. Наконец, третий пункт: чего же требует от нас противная сторона? Каков спрос, таков и ответ.

Атаман противной стороны, Комовский, выступил вперед.

— Пускай Пушкин формальным образом извинится перед Кюхельбекером.

— Извини, Виля... — начал Пушкин, подходя к обиженному.

Миролюбивый по природе, Кюхельбекер готов был уже принять протянутую руку, когда Пушкин dokonчил свою фразу:

— В другой раз я не стану прыгать, а заставлю тебя самого прыгнуть — через ножку.

— Вот он всегда так! — воскликнул Кюхельбекер, отдергивая руку. — Разве с ним можно мириться?

— Так вот что, господа, — выступил с новым предложением Комовский, — пускай Пушкин станет также в позицию, а мы все перепрыгнем через него. Долг платежом красен.

— Вот это так: на это я согласен! — обрадовался Кюхельбекер.

— А я — нет, — сказал Пушкин. — Я, Колумб, открыл Америку, а ты, Америго Веспуччи, хочешь пожать мои лавры!

— Лавры неважные, — вступился миротворцем Пуцин, — да и не всякому же быть Колумбом. Я, господа, предлагаю среднюю меру. Теперь наш черед был в городе. Кого из нас запятнают, тот пусть и становится в позицию. От Кюхельбекера зависит попасть в Пушкина.

После некоторых еще препирательств предложение Пуцина было принято большинством голосов. Комовский с Кюхельбекером и прочими полевщиками удалились в поле, тогда как граф Броглио с Пушкиным и остальными горожанами заняли город. Сергей Львович подсел к Чирикову на скамейку и завязал с ним оживленную беседу. С первых его слов гувернер мог убедиться, что перед ним образцовый собеседник. Все последние новости дня, анекдоты, каламбуры — неудержимым потоком, без всякого видимого усилия, так и струились с уст Сергея Львовича,

точно он разматывал бесконечный клубок. С предмета на предмет он дошел и до последней политической новости — взятия Парижа. Как воочию перед глазами его внимательного слушателя развернулась вдруг живописная панорама "современного Вавилона", представшая пред союзными войсками с высоты Бельвиля и Монмартра; как воочию посыпался с этих высот на город огненный дождь гранат и бомб и заваял белый платок присланного к графу Милорадовичу парламентарера.

— Ради Бога, прекратите убийственный огонь!

— Стало быть, город сдается?

— Сдается.

— А армия?

— Армия ретируется.

— Ну, Бог с вами! Ретируйтесь.

— На следующий день с раннего утра любопытные парижане высыпали уже тысячами на улицы, на балконы и крыши, — с одушевлением продолжал рассказчик. — Никогда ведь еще не видали они этих варваров с берегов Ледовитого океана, одетых, как слышно, в звериные шкуры и лакомящихся саль-

ными свечами. Но что за диво! Вместо каких-то косолапых получудовищ, под такт благозвучного военного марша, чинно и стройно выступали по улицам здоровяки-богатыри, молодцы-гвардейцы в щегольских мундирах европейского покроя; а командовавшие ими офицеры на всякий вопрос уличных ротозеев отвечали бойко и чисто по-французски.

— Неужели это русские? — повторяли парижане на все лады. — А где же сам император Александр?

— Вот он, вот Александр! — кричали другие. — На белом коне с белым султаном! Как он милостиво кланяется, как он прекрасен... Да слушайте же, слушайте: что он говорит такое?

— Да здравствует император Александр! — в восторге гремел кругом народ.

— Да здравствует мир! — отвечал государь. — Я вступаю к вам не врагом, а с тем, чтобы возвратить вам спокойствие и свободу торговли.

— Мы давно уже ждали ваше величество! — радушно крикнул один из французов.

— Я пришел бы и ранее, — не менее веж-

ливо отвечал государь, — но ваша собственная храбрость задержала меня.

Так разглагольствовал Сергей Львович, а стоявший без дела, в ожидании своей очереди бежать в поле, старший сын его подошел ближе и подсел наконец к нему на скамейку. Прочие горожане-лицеисты точно так же невольно прислушивались к занимательному рассказу и вскоре всей толпой сгруппировались около рассказчика.

— Как жаль, право, что всех этих подробностей мы здесь не знали раньше! — вздохнул Илличевский.

— А что? — спросил Сергей Львович.

— Да мы с такой жадностью читали в газетах о взятии Парижа. А тут раз профессор Кошанский, войдя в класс, объявил нам: "Европейская драма сыграна: Наполеон отказался от престола и удален на остров Эльбу; статуя его снята с Вандомской колонны, и Людовик XVIII объявлен королем. Наш император во всем блеске своего величия!" От восторга мы всем классом крикнули "ура!". Тогда Кошанский предложил нам, поэтам лицейским, попытаться сочинить патриотическую оду "На

взятие Парижа".

— И вы сочинили?

— Да, двое из нас: я да Дельвиг.

— А ты, Александр, отчего же не написал?

— Да как-то не пишется...

— Но скоро вы про него кое-что услышите! — вмешался в разговор Пущин.

— Что же именно?

— Гм... извольте видеть... — замялся Пущин, — покуда об этом еще рано распространяться.

— Я тебя не понимаю, Пущин, — сказал Александр. — О чем это ты говоришь?

Пущин только загадочно улыбнулся.

— И не для чего тебе знать!

— Ну что ж это, господа? Какая это игра! — крикнул горожанам из-за нейтральной полосы Комовский. — Этак вас, конечно, никогда не запятнаешь.

Горожане нехотя заняли опять свои места. Очередь сдавать мяч была за Пушкиным. Стоявший рядом с ним Вальховский шепнул ему:

— Отдайся уж им в руки, Господь с ними!

— Как бы не так! — отвечал Пушкин. — Ты — Суворочка, так тебе сам Бог велит; а уж

я-то, извини, добровольно не отдамся!

— И то, Пушкин, отчего бы тебе не потешить Кюхельбекера? — заговорил тут и другой сосед, Горчаков. — Смотри, как он нахотился. Ну что тебе значит?

Пушкин ничего не ответил; но, сдав мяч, он не сейчас перебежал поле, а выждал, пока мяч достался в руки Кюхельбекеру: тогда только, не очень спешно, он пустился в путь. Неудивительно, что Кюхельбекеру удалось теперь запятнать его.

— Ага! Наконец-то! — загрохотал тот. — Ну, становись-ка в позицию, становись!

Пушкин, казалось, уже раскаивался в своем великодушии. Он, хмурясь, огляделся; но делать нечего: беспрекословно наклонил спину. Кюхельбекер отошел на десять шагов, разбежался и совершил довольно ловкий, при своей грузности, прыжок.

Но тут... тут произошло что-то непостижимое. В следующее же мгновение прыгающий лежал уже распростертым на земле, а враг его с легкостью козы перескочил через него и, смеясь, возвратился в город.

Если он рассчитывал этот раз на чье-либо

одобрение, то ошибся. Враги его громко зароптали, из друзей же только двое-трое расхотались, но и те ни одним словом не поддерживали его.

— О чем вы смеетесь, господа? — обратился к ним Суворочка-Вальховский. — По-моему, это ничуть не смешно, а очень даже печально.

Пушкина как варом обожгло.

— Почему печально? — запальчиво вскинулся он, искоса посматривая на отца и гувернера — немых свидетелей всей сцены.

— Потому что подставлять ножку хоть бы и врагу — недостойно настоящего лицеиста!

— Я и не думал подставлять ему ножки...

— Но давеча сам же ты сказал, что подставишь?

— Мало ли что! Виноват ли я, что он тяжел, как набитый мешок, и не усидел на мне?

Теперь в спор их вмешался Пущин и отвел виноватого в сторону. Что говорил он ему — нельзя было слышать; но видно было, что Пушкину куда как не хочется сдать на его доводы.

— Не урезонить! — сказал гувернеру Сер-

гей Львович. — Я его слишком хорошо знаю. Еще таким вот мальчишкой (он указал на аршин от земли) это был самый отчаянный упрямец и задира, готов был спорить до слез...

— И здесь бывали у него тоже слезы, горячие слезы, — подтвердил Чириков. — Но спасибо Пущину: он много подтянулся, умеет побороть себя. Вот увидите, что в конце концов Пущин его переубедит.

И действительно, вслед за тем Пушкин, красный как рак, с беспокойно-бегающими глазами, подошел к Кюхельбекеру и самым чистосердечным тоном предложил ему повторить опыт, обещаясь "честным словом лицеиста" не уронить его. Но для Кюхельбекера, видно, довольно было и одного опыта. Молча приняв руку недавнего врага, он наотрез уклонился от предлагаемого удовольствия.

— А теперь, господа, не прогуляться ли нам к большому пруду? — сказал Чириков, приподнимаясь со скамейки. — Вы бы, Матюшкин, побежали вперед приготовить лодку.

Матюшкин, страстный рыболов и искус-

ный гребец, был главным распорядителем водяных прогулок лицеистов. Но не успел он еще удалиться, как дело уже расстроилось. Возвратившийся внезапно Левушка Пушкин принес отцу приказ кучера Потапыча живее собираться в дорогу: лошади-де отдохнули.

Сергей Львович взглянул на часы и засуетился.

— В самом деле, давно пора, — сказал он, — жена в Питере дожидается, да и хотелось бы нынче вечером побывать с нею у одних знакомых, до переезда их на дачу. До свидания, господа! Очень рад, что познакомился.

С покровительственной миной пожав на прощанье руку гувернеру и ближайшим лицеистам, он в сопровождении обоих сыновей направился назад к лицу.

— О чем я хотел попросить вас, папенька... — вкрадчиво заговорил по-французски Левушка и запнулся.

— Вперед знаю, — благосклонно улыбнулся отец и щипнул его ласково за ухо. — Все денежки свои промотал. Так ведь?

— О нет, не промотал... Но надо, знаете, давать на чай сторожам, обзаводиться всякой

всячиной...

— Наизусть знаю! — перебил со вздохом Сергей Львович и достал из кармана бумажник. — Вот тебе пять рублей. Будет с тебя?

Леон порывисто поцеловал отцовскую руку, подававшую ему кредитную бумажку.

— О, конечно!

— Ну, а вот тебе, так и быть, еще пять в придачу: на орехи.

— Не знаю, как и благодарить вас!.. А Александру, папенька? — наивно добавил он.

Отец сдвинул брови и, нерешительно роюсь в бумажнике, через плечо оглянулся на старшего сына.

— Да тебе разве нужно?

— Нет! — коротко отрезал тот и крепко стиснул губы, точно боясь проронить лишнее слово.

— Очень рад, потому что у меня и без того, по случаю переезда, пропасть расходов, — с довольным видом сказал Сергей Львович, опуская бумажник обратно в карман.

Когда бричка, увозившая отца, скрылась из виду, Левушка обратился с вопросом к старшему брату:

— Да ведь у тебя, Александр, нет ни копейки? Ты недавно еще, я знаю, занял три рубля у Горчакова...

— А тебе что за дело?

— Да вот, возьми себе одну-то бумажку. Поделится по-братски.

— Спасибо, брат... У меня из няниных денег остались еще старый червонец да петровский рубль... Но я не хотел их трогать...

— Ну, понятное дело. Бери же, сделай милость! Мне пять ли, десять ли рублей — все одно: живо пристрою.

Оставя в руках брата одну из пятирублевок, Левушка убежал с другой, чтобы "живо ее пристроить".

Глава III

Предатели друзья

*Предатели друзья
Невинное творенье
Украдкой в город шлют
И плод уединенья
Тисненью предают...
"К Дельвигу"*

"Вестник Европы", издававшийся до 1803 года Карамзиным, потом некоторое время — Жуковским, а в 1814 году — Измайловым, был любимым журналом лицеистов. Поэтому едва только приходил с почтой новый номер этого журнала, как лицеисты просто дрались из-за него. То же было и с последним майским номером. На этот раз он ранее других очутился в руках Пушкина.

— Дай-ка мне немножко взглянуть, Пушкин, — сказал, наклоняясь над сидящим, Дельвиг, — я тебе сейчас возвращу.

Он отвернул обложку, чтобы пробежать содержание книжки.

— Ну что, ничего? — слышался сзади

другой, тихий голос Пушкина.

— Странное дело: ни того, ни другого! — ответил вполголоса же Дельви́г.

— Я ведь так и предсказывал тебе! Но ты не хотел...

— Что вы там шепчетесь? — обратился теперь к двум друзьям Пушкин.

Дельви́г как будто смутился. Пушци́н с усмешкой заглянул в глаза Пушкину.

— Мы справлялись, нет ли тут одного знакомого стихотворения, — сказал он.

Дельви́г дернул его за рукав; но было уже поздно.

— Какого стихотворения? — спросил Пушкин.

— Да твоего — "К другу стихотворцу".

— Клянусь вам, господа, я и не думал посылать его в какой бы то ни было журнал...

— А мы с Дельви́гом были уверены, что ты скромничаешь: что это был тебе запрос от редактора в восьмом номере "Вестника".

— Запрос?

— Ну да; неужели ты не заметил?

Напрасно Дельви́г, из-за спины Пушкина, поднес палец к губам. Пушци́н, будто ничего

не замечая, взял со стола восьмой номер "Вестника Европы" и тотчас отыскал требуемую страницу.

— На вот, читай сам, — сказал он. Пушкин прочел следующее:

От Издателя

Просим сочинителя присланной в "Вестник Европы" пьесы, под названием "К другу стихотворцу", как всех других сочинителей, объявить нам свое имя, ибо мы поставили себе законом не печатать тех сочинений, авторы которых не сообщили нам своего имени и адреса. Но смеем уверить, что мы не употребим во зло право издателя и не откроем тайны имени, когда автору угодно скрыть его от публики.

— Действительно, довольно странно, — задумчиво произнес Пушкин, — что другой поэт выбрал как раз то же заглавие, что и я. Но вы оба, я думаю, очень хорошо помните, что свое стихотворение, вместе с другими негодными, я бросил в огонь.

— А если бы оно, паче чаяния, спаслось? — спросил Пущин. — Ведь оно, что ни говори,

было очень и очень годно.

— Иконников-то расхвалил его.

— Ну вот. Так отчего бы ему не украсить страниц журнала?

В полминуты Пушкин изменился два раза в лице. Он вскочил со стула и, схватив под руку обоих друзей, потащил их вон из читальни.

— Послушайте, господа, — действительно приступил он к ним, остановясь в коридоре, — говорите уж начистоту: это ваши штуки?

— Знать ничего не знаем... — начал Дельвиг.

— Ведать не ведаем, — досказал Пуцин. — Стихи — может быть, твои, может быть, и чужие. Если твои, то читатели тебе только спасибо скажут; если же чужие, то тебе от них ни холодно, ни жарко.

— Но согласитесь, господа, что я не давал никому права публиковать мою фамилию...

— А ты как бы подписался?

— Да, разумеется, не полным моим именем.

— Например?

— Например, вместо фамилии Пушкин одни согласные буквы наоборот: "Н. К. Ш. П."

— Но тогда автором могли бы счесть, пожалуй, твоего дядю Василия Львовича.

— Ну, так впереди этих букв я выставил бы свое имя: Александр.

— Александр Н. К. Ш. П.? Очень хорошо. Так и будем знать.

— Что, что?

— Ничего! — отвечал Пуцин.

Так Пушкин от заговорщиков ничего и не добился. Но каждую новую книжку "Вестника Европы" он ждал уже теперь с лихорадочным нетерпением. В первом июньском номере опять-таки ничего не оказалось. В следующем же хотя и не было послания его "К другу стихотворцу", зато совершенно неожиданно появилась за подписью «Русский» новейшая ода Дельвига "На взятие Парижа".

— Слышали, слышали, господа? — раздавалось по всем комнатам и переходам лицейским: — Дельвиг печатается в "Вестнике Европы"! Каков тихоня! Недаром говорится, что в тихом омуте черти водятся.

Один Пушкин молча пожал руку своему

другу и посмотрел ему вопросительно в глаза. Но Дельви́г ответил только крепким рукопожатием и с виноватой улыбкой потупился.

Профессор русской словесности Кошанский по праву мог бы также гордиться этим первым плодом выступившей перед публиков лицейской музы; но его не было уже в то время в Царском: он занемог (как сказано выше) тяжелою болезнью, которая на полтора года удалила его из лица. Временный же заместитель Кошанского, молодой адъюнкт-профессор педагогического института в Петербурге Александр Иванович Галич, успевший в короткое время своим мягким, открытым нравом расположить к себе лицейскую молодежь, сердечно поздравил Дельви́га с первым печатным опытом.

— Почин дороже денег, — говорил он, — вы, барон, открыли дверь и другим товарищам вашим в родную литературу. Бог помочь! А чтобы достойно отпраздновать этот почин, я прошу вас и всех ваших друзей поэтов в мою хижину на хлеб-соль.

— Ваше благородие, позвольте узнать, — допрашивал, немного спустя, Пушкина ли-

дейский обер-провиантмейстер и старший дядька Леонтий Кемерский, — какое такое празднество нонче у Александра Иваныча?

— У Галича? А ты, Леонтий, почему знаешь?

— Да заказали они у меня к вечеру всякого десерту: яблоков, да мармеладу, да кондитерского печенья-с...

— Нынче именины барона Дельвига, — усмехнувшись, отвечал Пушкин.

— Ой ли? Именины-то их, помнится, приходятся на преподобного Антония Римлянина, осенью, за три дня до большого Спаса?

— Да, то именины церковные, а нынче стихотворные: день стихотворного его ангела.

— Так-с.

В тот же день, в 5 часов, вместо вечернего чая с полу-булкой, Леонтий Кемерский собственноручно преподнес Дельвигу на маленьком подносе стакан шоколаду с тарелочкой бисквитов.

— Честь имеем поздравить ваше благородие с днем стихотворного ангела-с!

Надо ли прибавлять, что добровольное угощение это обошлось неожиданному имениннику вдвое дороже заказного?

Вечер у профессора Галича прошел для лицейских стихотворцев чрезвычайно оживленно. Первым делом, разумеется, была прочитана знаменитая отныне ода Дельвига, подавшая повод к торжеству.[5] После того Илличевский должен был также продекламировать свою оду на ту же тему и исполнил это с таким уменьем, что скроенная по точному образцу Ломоносова и Державина, напыщенная ода была прослушана всеми с видимым удовольствием и вызвала дружные аплодисменты.

— Ну, а теперь твоя очередь, Кюхля, — сказал Пушкин.

— Почему же моя? — застенчиво краснея, пробасил Кюхельбекер, однако стал расстегивать куртку, чтобы опустить руку в боковой карман.

— То-то, взял небось с собой. И я знаю да же — что.

— Ну уж нет!

— А хочешь, я тебе всю пьесу твою наизусть скажу?

— Говори!

Пушкин приподнял плечи и сгорбился,

чтобы придать себе сутуловатую фигуру Кюхельбекера; после чего, подражая немецкому произношению последнего, с неестественным пафосом забасил:

*— Страх при звоне меди заставляет народ уstraшенный
Толпами стремиться в храм священный.
Зри, Боже! Число великий унылых
тебя просящих
Сохранить им цель труд многим
людям принадлежащий...[6][7]*

Все присутствующие покатывались со смеху, Кюхельбекер же, чуть не плача, вскочил на ноги, нервно застегнул опять расстегнутую пуговицу куртки и завопил:

— Это уж не по-товарищески!.. Такой чепухи я никогда не писал... Да и теперешние стихи мои совсем другие...

Он так круто повернулся к выходу, что наткнулся на стул и уронил его с грохотом. Пушкин насильно усадил разобиженного на прежнее место.

— Экой ты, Вильгельм Карлыч, недотрога, право! Настоящий Дон Кихот Ламанчский: го-

тов сражаться с баранами да с ветряными мельницами.

— А ты, Пушкин, что: баран или ветряная мельница? — спросил с кисло-сладкой улыбкой Кюхельбекер.

Пушкин, как и прочие, рассмеялся.

— Каков? Острит тоже! Нет, не шутя, Кюхельбекер, последние опыты твои не в пример лучше прежних — публично здесь заявляю: ты со дня на день совершенствуешься, и те стишки, что у тебя в кармане, я уверен, первый сорт. Покажи-ка их.

— Неохота доставать... — продолжал дуться Кюхельбекер.

— Я тебе помогу, — сказал Пушкин, живо расстегнул ему ту же пуговицу и полез уж к нему рукой за пазуху.

— Отстанешь ли ты?! — окрысился опять Кюхельбекер и так сильно толкнул озорника локтем в бок, что отбросил его на середину комнаты.

— Однако же костляв ты! Прямой Дон Кихот! — проворчал Пушкин, морщась от боли и потирая бок.

— А у вас самих, Пушкин, разве ничего не

припасено? — спросил Галич, чтобы отвлечь общее внимание от лицейского Дон Кихота.

— Нет... да и стихов, я полагаю, на сегодня довольно. Хорошего понемножку.

Разговор перешел на другую тему. Закончился «вечер» довольно поздно, и профессор-хозяин при прощании выразил уверенность, что он видит молодых гостей у себя не в последний раз. Он был с ними так радушен и мил, что все разошлись по своим камерам вполне довольными, за исключением разве одного — Кюхельбекера: никто и не вспомнил потом о хранившемся у него за пазухой стихотворном кладе! Зато, лежа уже под одеялом, он на сон грядущий доставил себе то духовное наслаждение, которого лишил приятелей: вполголоса перечел он про себя свое произведение, после чего с невольным вздохом положил его себе под изголовье. Для чего? Быть может, для того, чтобы перечесть его еще раз поутру или же в надежде, что оно навеет ему, непризнанному таланту, утешительный сон.

Пушкин, потушив свечу, также не сейчас заснул. Поворочавшись на кровати, он нако-

нец постучался в стену, отделявшую его камеру от соседней камеры Пущина. На ответный стук друга (кровать которого стояла около той же стены) он начал было:

— Я хотел спросил тебя, Пущин... Ты догадываешься, конечно, о чем?

— Очень может быть, — был ответ.

— Так скажи же мне откровенно...

— Что?

— Ну, да то, что мне хочется знать.

— Отчего же ты прямо не спросишь?

— Оттого что... Ты, стало быть, не хочешь сказать? Ну, и не нужно! — оборвал разговор Пушкин, задетый за живое, что друг его не был настолько великодушен, чтобы облегчить ему задачу.

— А я вот что тебе скажу, голубчик, — мягко и убедительно заговорил Пущин, — много еще в тебе этих ребячьих капризов: подай тебе сейчас игрушку, а не подашь, так ты готов человека насмерть разобидеть, в клочья разорвать. Одно из двух: либо я знаю, что тебе надо знать, либо не знаю. Ежели знаю да молчу, то, значит, у меня есть свои причины молчать. Если же не знаю, то на нет и суда нет.

— Ну и знай про себя, и поперхнись этим! — раздраженно крикнул Пушкин.

— Ты волнуешься совершенно напрасно, — по-прежнему миролюбиво продолжал Пуцин. — Тебе хочется выведать чужую тайну; но тайна эта не моя только, но и Дельвига; он готовит тебе сюрприз...

— Молчи же, молчи! — перебил опять Пушкин. — Я заткнул уши и все равно ничего не услышу.

Собственно говоря, ему не было уже никакой надобности затыкать уши: слово «сюрприз» настолько разоблачило перед ним скрываемую друзьями тайну, что сердце в груди у него слышно заекало. Но ему все еще как-то не верилось, чтобы они на свой страх так распорядились его литературной будущностью.

Протекли еще две томительные недели. Пришла новая книжка "Вестника Европы". Хищным коршуном накинулся опять первым на нее Пушкин. Дрожащими руками отвернул он обертку книжки, где на обороте стояло оглавление.

Вдруг кровь, как молотком, ударила ему в

голову. Он исподлобья быстро огляделся в читальне: не наблюдает ли кто за ним?

Но три-четыре товарища, случившиеся там, были погружены в чтение новых газет и журналов, а Дельвига и Пущина, на его счастье, не было налицо. Глубоко переведя дух и отвернувшись от ближайшего соседа настолько, чтобы тот не мог заглянуть к нему в книжку, он отыскал в ней то, что ему нужно было.

Да, вот оно, от слова до слова, его драгоценное духовное детище, послание "К другу стихотворцу", которое он считал навеки погибшим.

Он не читал — он пожирал глазами строку за строкой.

Сколько раз ведь он перечеркивал, переделывал каждый стих! А теперь вот эти самые стихи нашли место в большом журнале среди статей заправских, всеми признанных писателей, точно так и быть должно, и смотрят на него из книги настоящими печатными литерами: ни слова в них уже не убавишь, не прибавишь... И по всей-то матушке Руси в это самое время тысячи читателей и читательниц

перечитывают, может быть, эти рифмованные строки и — как знать? — рассуждают про себя: "Каков, однако, молодчина! Славно тоже рифмует! И интересно бы знать: кто этот новоявленный рифмотвор?"

Рифмотвор наш теперь только внимательно взгляделся в подпись. Так и есть ведь! — четким, жирным шрифтом напечатано внизу буквально так, как он сказал тогда Пушкину: "Александр Н. К. Ш. П."

— Ах, злодеи, злодеи!.. — пробормотал он про себя.

— А? Что ты говоришь? — откликнулся сосед-лицеист, поднимая голову.

— Ничего... я так...

Захлопнув книгу, Пушкин побежал отыскивать двух «злодеев». Первым попался ему Пушкин, который по насупленным бровям и сияющим глазам приятеля тотчас смекнул, в чем дело.

— Ну что, узнал нашу тайну? — спросил он, сам светло улыбаясь.

— Узнал, — отвечал Пушкин, несколько обескураженный его приветливостью. — До сих пор я считал вас обоих за добрых товари-

щей, а теперь вижу, что вы — Иуды-предатели...

— Потому что хлопочем о твоей славе? Впрочем, я тут почти ни при чем. Дельвиг спас тогда твои стихи от сожжения; мне пришла только мысль послать их, вместе со стихами Дельвига, в "Вестник Европы".

В это время подошел к ним и второй «предатель» — Дельвиг.

— От тебя-то, барон, я уж никак не ожидал такого коварства, — с оттенком упрека еще сказал ему Пушкин.

— Так, стало быть, напечатано! — воскликнул Дельвиг. — Ну, от души поздравляю тебя, мой милый! Я так рад...

— А я, может быть, вовсе не рад! Если бы я только не был убежден в том, что вы не желаете мне зла, то навсегда перессорился бы с вами. Теперь же, право, не знаю, что делать с вами...

— А я знаю! — с дружелюбным лукавством отозвался Пущин.

— Что же?

— Да расцеловать нас обоих.

Как ни крепился Пушкин, чтобы не обна-

ружить своего скрытого удовольствия, — теперь он мгновенно просветлел, расхохотался и в точности исполнил совет приятеля: звонко чмокнул по три раза сперва одного, потом другого.

— Но, пожалуйста, господа, дайте мне слово не рассказывать другим, — попросил он в заключение.

Они дали слово. Но это ни к чему не повело. На другое же утро, вместо стакана чаю, перед каждым лицеистом очутилось по чашке кофею и по «столбушке» сухарей.

— С днем стихотворного ангела-с, ваше благородие! — говорил опять Пушкину Леонтий Кемерский.

— Ай да Пушкин! Спасибо за угощение! — наперерыв кричали ему товарищи.

Пушкин с укором взглянул на двух предателей-друзей; но те с самым невинным видом покачали головой: очевидно, ни тот, ни другой не знали, кто выдал стихотворного именинника.

После кофею Пушкин тотчас же отыскал обер-провиантмейстера в его каморке и потребовал у него отчета.

— Не велено сказывать вам, сударь, — уклонился Леонтий и, как ни настаивал Пушкин, не назвал-таки нового предателя.

— А что я тебе должен за кофей? — спросил Пушкин.

— Ничего-с: все уже справлено.

— Заплачено? Кем же?

— Не велено сказывать.

— Заладил свое! Подарков я, братец, ни от тебя и ни от кого не принимаю.

— Отчего ж, коли от доброго сердца? А у Вильгельма Карлыча сердце, можно сказать, золотое...

— А! Так это Кюхельбекер!..

— Типун мне на язык! — спохватился старик дядька. — Уж сделайте такую Божескую милость, ваше благородие, не выдавайте меня, старика! Господин Кюхельбекер вовек мне сего не простит: сердце у него хошь и добрееющее, да ух! какое разгорчивое...

— Ладно, не бойся, — успокоил его Пушкин и, встретив затем Кюхельбекера, пожал ему украдкой руку со словами: "Спасибо, дружнице! Ты тоже поэт в душе и понимаешь поэта".

Тот покраснел от счастья и пробормотал:

— Ты слишком добр, Пушкин... Мне далеко до тебя... Но если бы ты только позволил мне иногда давать тебе на просмотр мои стихи...

Пушкина покорило, но нечего было делать.

— Хорошо, сделай одолжение, — сказал он.

Таков был печатный дебют великого нашего поэта. Первая литературная неудача его (описанная в первом нашем рассказе) была окончательно забыта и искуплена последним успехом. Не только товарищи, но и профессора, в особенности профессор русской словесности Галич, относились к нему с этих пор с большею внимательностью, а маленькие пансионеры даже с видимым уважением. Справедливость, впрочем, требует сказать, что младший брат поэта, пансионер Левушка, прилагал всевозможные старания к еще большему прославлению брата между своими сверстниками; между лицеистами же более всего трубил о нем не Дельвиг, не Пуцин, а новый восторженный поклонник его Кюхельбекер. Самому Пушкину сдавалось, что он как будто вдруг на вершок вырос и смелее, веселее прежнего стал глядеть теперь всем и каж-

дому в глаза.

Одна только мимолетная тучка затмила раз над ним ясный небосклон. В следующем письме к нему от отца из деревни была такая приписка:

"Брат Василий Львович неодобрительно пишет мне из Москвы, что ты напечатал какую-то вещицу в журнале Измайлова. Правда ли это? Рано пташка запела: как бы кошка не съела!"

Глава IV

Павловский праздник

*Вы помните, как наш Агамемнон
Из пленного Парижа к нам примчался.
Какой восторг тогда пред ним раздал-
ся!*

*Как был велик, как был прекрасен он...
"Была пора: наш праздник молодой..."
В царском доме пир веселый...
"Пир Петра Первого"*

Одиннадцатого июля надзиратель Чачков созвал лицеистов в рекреационный зал.

— Только что, господа, в здешний дворец прискакал курьер от нашего возлюбленного монарха, — объявил он. — Победоносная армия наша, совершив свое великое дело, возвращается из Парижа; сам же государь завтра пожалует к нам в Царское и будет отдыхать здесь от перенесенных трудов.

Легко представить себе, как заволновалась при таком радостном известии лицейская молодежь, которая, начиная с войны 1812 года, с живым участием следила по газетам за каждым, так сказать, шагом нашей армии и им-

ператора Александра.

— Одного только не забудьте, господа, — продолжал надзиратель, заметив, какое сильное впечатление произвело его сообщение на молодых людей, — государь хочет день-другой уединиться здесь, подышать на полной свободе. Поэтому обещаетесь ли вы поумерить вашу... как бы лучше выразиться? — вашу юношескую удаль и не нарушать его покоя?

— Мы уж не малые дети, Василий Васильич, — отвечал серьезно за себя и товарищей Суворочка-Вальховский, — мы очень хорошо понимаем, что государю нужен также отдых и что с нашей стороны было бы крайне бестактно соваться к нему на глаза, хотя все мы и горим желанием выказать ему нашу беспредельную преданность и любовь.

— Успеете, господа. Государя встречают теперь везде с таким восторгом, с такими затеями, что у нашего брата, простого смертного, голова бы кругом пошла. Вот и в самом близком соседстве нашем, в Павловске, августейшая мать его, Мария Федоровна, готовит, говорят, небывалый праздник.

На вопрос любопытствующих: в чем же именно будет заключаться этот праздник? — Чачков отозвался незнанием и, выразив еще раз уверенность, что господа лицеисты не забудут своего обещания, удалился.

— Где же наш ходячий листок, Франц Осипыч? — толковали меж собой лицеисты. — Когда нужно, тогда и нет его.

Но обвинение почтенного лицейского врача было преждевременно. Не успели молодые люди разойтись, как на пороге показалась полная, сановитая фигура Пешеля. Лицеисты мигом окружили его.

— Где вы это пропадаете, Франц Осипыч? — накинулись они на него. — В Павловске затевается что-то небывалое, а вы и в ус себе не дуете.

— Я-то в ус не дую? — переспросил Франц Осипович и с самодовольной усмешкой закрутил над тщательно выбритой верхней губой воображаемый ус. — Вы спросите-ка лучше: откуда я сейчас?

— Откуда?

— Оттуда же, из Павловска.

— А!

— Б! — передразнил доктор. — В Розовом павильоне там устраивается, в самом деле, нечто грандиозное.

— В Розовом павильоне! Это что такое?

— А простенький сельский домик, который окрашен розовой краской и обсажен кругом розовыми кустами.

— Да и на панелях, внутри него, нарисованы розы, — вмешался хриплым басом Кюхельбекер, который детство свое провел в Павловске, где покойный отец его был комендантом. — В окнах же павильона, знаете, золотые арфы, так что когда подходишь к нему, то еще издали кажется, будто слышишь небесную музыку:

Глагол времен, металла звон...

— Пошел! Поехал! — перебили его товарищи. — Ну и что же, доктор? Говорите, рассказывайте!

— А вот что, — с важностью докладчика начал доктор. — Через две недели павильон будет неузнаваем. Полагается пристроить к нему еще пару маленьких горниц, наружную галерею и наконец большой танцевальный зал. Работа уже закипела. Но и это еще не все.

Будет двое триумфальных ворот, будет декорация на заднем плане с изображением настоящей русской деревни. Тут же будет разыгран в лицах «пастораль»: крестьян и крестьянок будут изображать первые сюжеты императорской оперной и балетной труппы, а коров, овец да коз...

— Вторые сюжеты? — шутливо досказал Пушкин.

— Нет, любезнейший, — отвечал, улыбнувшись, Петель, — тех на сей раз возьмут с царской фермы. Главный режиссер всего праздника, придворный балетмейстер Дидло, так и объявил государыне: "Дайте мне, ваше величество, ваших коров, овец, коз; сыр от этого не будет хуже.[8] Дайте мне мужиков, баб, девушек, детей, всю святую Русь! Пусть все пляшет, играет, поет и веселится. Ваши гости совсем сделались парижанами: пусть же они снова почувствуют, что они русские!" Вместо простых мужиков да баб, впрочем, предпочли взять поддельных — оперных и балетных.

— Вот куда бы попасть! — вздохнул Пушкин.

— Я-то попаду! — похвастался граф Бро-

Глио.

— Это каким путем?

— Да уж попаду!

До позднего вечера у лицеистов только и было разговоров, что о государыне и предстоящем празднике в Розовом павильоне. Удалившись в свою камеру и улегшись в постель, Пушкин опять не утерпел, чтобы через стенку не обменяться занимавшими его мыслями с соседом и другом своим Пуциным.

— Как ты думаешь, Пуцин, — спросил он, каким образом Броглио надеется попасть в Павловск?

— Вероятно, через своего посланника: — тот, может быть, действительно выхлопочет ему разрешение у министра; а нет — так Броглио станет и на то, чтобы улизнуть туда тайком.

— А отчего бы и нам с тобой не попробовать того же?

— Ну нет, друг мой, — возразил более благоразумный Пуцин, — удрать не большая мудрость, но вернуться назад незамеченным — куда мудрено. А заметят, так донесут министру, и тот по головке не погладит.

— Но упустить такой единственный случай, согласишься, ужасно обидно!

— Обидно — правда. Но мало ли чего кому хочется? По-моему, коли уж на то пошло, то лучше действовать честно и открыто: через Чачкова просить самого министра.

— Хорошо, если выгорит.

— А не выгорит — так, значит, не судьба. Завтра же попытаем счастья.

Сказано — сделано. На следующее утро, подговоренные двумя друзьями, лицеисты гурьбой повалили к надзирателю — просить заступничества перед графом Разумовским.

— Право, затрудняюсь, господа, — с обычной мягкостью начал было отговариваться Чачков. — Ведь это одно из тех редких торжеств, где много званных, да мало избранных...

— Так мы удерем без спросу! — вырвалось сторяча у Пушкина.

— Что вы! Что вы! Перекреститесь! — не на шутку переполошился надзиратель и замахал руками. — Да за такое ваше любопытство...

— Это не простое любопытство, Василий

Васильич, — с горделивою скромностью прервал его тут князь Горчаков, — это патриотизм, очень понятное желание каждого сына отечества своими глазами видеть торжество нашего спасителя — государя. Едва ли нас за это казнят, не помилуют.

— Bravo! Bravo, Горчаков! — загалдел кругом хор товарищей. — Нет, Василий Васильич, лучше уж напрямик доложите министру, что мы такие, мол, патриоты...

— Что удерете даже без начальства? Я сделаю, господа, все, что от меня зависит...

— Ей-Богу?

— Да, да...

Что Чачков сделал все возможное — лицеисты убедились вскоре: за несколько дней до праздника, действительно, было получено из Петербурга официальное разрешение всем им присутствовать на торжестве.

Между тем 12 июля в Царское Село, как предупредил их надзиратель, прибыл уже из заграничного похода император Александр. По особо выраженному им желанию, прибытие его не сопровождалось никаким наружным блеском: все осталось как бы в буднич-

ной колее, и только императорский флаг, развевавшийся над кровлей дворца, свидетельствовал о присутствии высокого хозяина.

Лицеисты, верные обещанию, которое взял с них Чачков, избегали попадаться на глаза государю. Но вовсе его не увидеть — было для них немыслимо. И вот из-за густой чащи деревьев они тихомолком наблюдали за ним, когда он, в глубокой задумчивости, прохаживался иногда по уединенным аллеям парка. А Дельви́г, в поэтической своей рассеянности, забрел однажды слишком даже далеко и очутился лицом к лицу с императором. Он до того оторопел, что остановился как вкопанный и тогда лишь догадался сорвать с головы фуражку, когда Александр Павлович обратился к нему с милостивым вопросом. Рассказывая потом товарищам об этой встрече, хладнокровный по природе Дельви́г все еще не мог успокоиться и не умел передать в точности своего разговора с государем.

— Знаю одно: что он был со мною так ласков, — говорил он, — что, право, теперь я за него пойду хоть в огонь и в воду!

Граф Броглио между тем успел уже завя-

зять знакомство с молодым свитским офицером, прибывшим вместе с государем. От него лицеисты узнали несколько интересных подробностей о пребывании русских в Париже. Особенное впечатление произвел на них рассказ о том, как праздновалось там Светлое Христово Воскресение. После большого парада войска наши заняли площадь Людовика XVI, или Согласия. На высоком амвоне было совершено здесь православным духовенством торжественное благодарственное молебствие за низложение Наполеона и за воцарение вновь Бурбонов. Французы наравне с русскими преклонили колени, плакали и молились за освободителя всей Европы — императора Александра. По русскому обычаю, государь пред лицом всего народа похристосовался и с французскими маршалами при громе пушек, сделавших 101 выстрел. Запрудившая всю громадную площадь стотысячная толпа, как один человек, восторженно кричала: "Да здравствует Александр I! Да здравствует Людовик XVIII!"

В своем Царском Селе Александр Павлович на этот раз пробыл не более суток. В Петер-

бурге, как слышали потом лицеисты, он точно так же отменил приготовленную для него торжественную встречу. Когда же ему от имени синода, сената и государственного совета был поднесен верноподданнический адрес, то, скромный в своем величии, монарх наотрез отказался принять предложенное ему наименование Благословенного. Зато, когда он 14 июля подъехал к Казанскому собору, чтобы присутствовать на молебне, народ бросился к его коляске и огласил воздух такими единодушными криками восторга, что ему невозможно было сомневаться в безграничной благодарности народной.

С каким нетерпением ожидали лицеисты 26 июля — день, назначенный для Павловского празднества, — нетрудно себе представить. Наконец, забрезжило желанное утро. Но, Боже мой! Что ж это такое? Словно теперь и силы небесные стоворились против них. Дождь лил как из ведра, а небо было застлано такой сплошной серой пеленой, что на перемену погоды не было никакой надежды. Хотя к полудню ливень поутих, но в середине обеда зарядил снова, так что у лицеистов даже аппе-

тит отбило.

— Неужели же праздника не отменяют? — жаловались они.

— Да, в такое ненастье, извините, я вас никак не могу пустить, господа, — объявил Чачков, — до ниточки промокнете.

Но доктор Пешель явился опять добрым вестником, что праздник, по распоряжению императрицы Марии Федоровны, отложен до следующего дня.

— Слава Тебе, Господи! — вздохнули с облегченным сердцем лицеисты. — Только бы завтра не было дождя.

Опасения их, однако, не оправдались. Хотя с утра небо было еще туманно, но барометр значительно поднялся, и с половины дня погода совсем разгулялась. Барометр душевного настроения лицеистов показывал также самую ясную погоду. Ровно в пять часов, напившись чаю с полубулкой, они в парадной форме: мундирах, треуголках и ботфортах, — перешучиваясь, пересмеиваясь, выстроились в ряды, чтобы под наблюдением надзирателя Чачкова, гувернера Чирикова и старшего дядьки Кемерского тронуться в путь. Но пе-

ред самым выходом встретила задержка. Вбежавший впопыхах сторож вполголоса отрапортовал надзирателю, что "супруге его высокоблагородия с ягодой одним никак не управиться".

Чачков заметался и схватился за голову.

— Ах, Матерь Пресвятая Богородица! Не разорваться же мне... Скажи, что я не могу, что долг службы прежде всего...

— Не смею, ваше высокоблагородие, — отозвался сторож. — Барыня и так уж больно гневаться изволят, такого мне пфеферу зададут...

Надзиратель в отчаянии огляделся кругом: не выручит ли его добрый ангел из беды. Такой нашелся в лице молодого профессора Галича, очередного дежурного директора, который в это время стоял тут же и беседовал с лицеистами.

— Не могу ли я чем-нибудь пособить вам, Василий Васильич? — спросил он, подходя к растерявшемуся надзирателю.

— И то, батюшка Александр Иванович! Будьте благодетелем! — обрадовался Чачков и, взяв под руку профессора, отвел его к окошку. — У меня в доме, знаете, нынче как раз ва-

ренье варится...

— Ну, уж по этой части я круглый невежда, — сказал с усмешкой Галич.

— Да нет-с, не в том дело-с. Супруге-то моей одной, без меня, никак не управиться: почистить, знаете, ягодку, ложкой помешать варено в тазу потихонечку да полегонечку, знаете, чтобы не подгорело...

Граф Броглио, подслушавший их разговор, счел нужным вставить свое острое слово:

— Мы бы вам, Василий Васильич, потихонечку да полегонечку все очистили, и варить бы не надо было.

— Эх, граф! Вы все с вашими шуточками! — сказал Чачков. — Вот кабы вы, добрейший Александр Иваныч, заступили меня при господах лицеистах...

— С удовольствием, — отвечал Галич и, наскоро переодевшись, стал с Чириковым во главе препорученного ему отряда молодежи.

В продолжении всего пути в Павловск разговор лицеистов вращался исключительно около цели их прогулки. Кюхельбекер, который побывал уже в Розовом павильоне, должен был описать теперь внутренность пави-

льона.

— Есть там клавесин, — рассказывал он, — есть небольшая библиотека. На столе разложены последние газеты и журналы, а на особом столике в углу — альбомы, куда каждый гость может вписать что ему угодно. Все там так просто, но и так мило, так вкусно... то есть я хотел сказать, во всем такой вкус...

— Что ты съел бы и клавесин, и альбомы? — подхватил насмешливо граф Бруглио. — Нет, брат Кюхля, там есть, вероятно, еще и повкуснее вещи. Я слышал, по крайней мере, — продолжал он, облизывая свои пухлые красные губы, — что у Марии Федоровны весь штат придворный как сыр в масле катается. В каждом павильончике у нее, говорят, как в каждом сельском домике, можно требовать себе свежих сливок, масла, сыру. Не проходит почти дня, чтобы не устраивались у нее увеселительные прогулки на линейках: то на ферму, то в Славянку, и впредь высылаются всегда целые фуры с отборной провизией. По воскресным же дням во дворце обязательно званый обед, на площадке перед дворцом музыка, гулянье; ну и, разумеется, масса всякого

сброду, особенно мужичья, бабья; все они тут, как у себя дома, орут хором песни, бегают в горелки...

— Слушая вас, любезный граф, иной, пожалуй, заключил бы, что у государыни только и заботы, чтобы веселить народ и своих придворных, — серьезно заметил профессор Галич и рассказал в свою очередь в подробности, как именно распределен день у вдовствующей императрицы: как она, вставая аккуратно в 6 часов утра, садится сейчас за текущие дела, читает просьбы, письма и донесения от всех женских институтов, от воспитательного дома и других благотворительных заведений; как потом в обществе великой княжны Анны Павловны отправляется, смотря по погоде — пешком или в экипаже, гулять не гулять, а убедиться собственными глазами, все ли на своих местах и у дела; как, возвратясь домой, тут же перед дворцом принимает просителей и для каждого найдет слово утешения, одобрения; как после обеда, перед которым она снова занимается делом, у нее собирается избранный кружок и как тот или другой искусный чтец-литератор — Дмитриев

или Нелединский-Мелецкий — прочитывает какого-нибудь классика, а в это время сама Мария Федоровна со своими камер-фрейлинами, слушая их, щиплет корпию для русских раненых.

В таких разговорах наша молодежь незаметно достигла Павловского парка. Здесь было уже не до связной беседы; чем ближе подходили они к Розовому павильону, тем чаще приходилось им обгонять группы горожан и крестьян, шумно и весело спешивших к той же цели. Возбуждение, в котором находились все эти празднично разряженные люди, действовало заразительно и на лицеистов. Все ускоряя шаг, они почти что бежали.

— Вот и триумфальные ворота! — крикнул один из передовых.

В конце песчаной дорожки, извивавшейся между деревьями, высились увитые зеленью ворота с какою-то замысловатою надписью из живых цветов.

— Кто первый прочтет? — предложил Пушкин и, перегнав товарищей, пустился со всех ног к воротам.

Некоторые бросились вслед за ним. Но он

уже подбежал на 10 шагов к воротам и, обернувшись, крикнул:

— Тебя, грядущего к нам с бою,
Врата победы не вместят.

— Нельзя ли потише, молодой человек? — раздался около него внушительный старческий голос.

Теперь только Пушкин заметил невысокого, толстенького, исполненного чувства собственного достоинства старичка сановника, в треуголке с плюмажем, в раззолоченном сенаторском мундире, с двумя звездами на груди и с голубой лентой через плечо. То был, очевидно, один из главных распорядителей праздника. Около него в однообразных долгополых кафтанах скучились певчие придворной капеллы. Приставленные к воротам двое полицейских старались, довольно, впрочем, безуспешно, оттеснить на окружающий луг напиравшую отовсюду пеструю толпу зевак.

— Это Нелединский... — шепнул Пушкину подоспевший в это время Галич и затем с легким поклоном обратился к самому сановнику-поэту:

— Не взыщите с них, молодо — зелено. Позвольте узнать, кому принадлежат эти два стиха на воротах?

Нелединский-Мелецкий, не поворачивая головы, чуть-чуть прищуренными глазами снисходительно покосился на вопрошающего.

— Новейшей поэтессе нашей, госпоже Буниной, — произнес он с оттенком пренебрежения, но неизвестно к кому именно: к поэтессе или к вопрошающему.

— А сами, ваше превосходительство, без сомнения, тоже изволили сочинить кое-что для настоящего торжества? — почтительно спросил его тут, выступая вперед, Чириков.

— Кое-что — да, — более приветливо отвечал польщенный вопросом Нелединский, — кантату, что будет петься при сих самых вратах.

— И музыка вашей же композиции, осмеюсь спросить?

— Нет, Бортнянского. Каждый истинный служитель Аполлона и Мельпомены потщился принести свою лепту на алтарь отчизны: текст — Державина, Батюшкова, князя Вязем-

ского и вашего покорного слуги; музыка — Бортнянского, Кавоса, Антолини.

— Едут! Едут! — раздались тут крики, и море людей кругом бурно заколыхалось. Лицеисты, как ни упирались, были смыты с места живой волной и отброшены на ближайшую полянку. Отсюда, из-за голов соседей, они вытягивали шеи, чтобы хоть что-нибудь да увидеть.

Сперва на линейках и в открытых колясках прибывали только разные придворные чины. Разноцветные плюмажи и ленты так и пестрели; золотые и серебряные воротники, эполеты и аксельбанты так и сверкали в косых лучах вечернего солнца.

Но вот из-за купы деревьев донеслось отдаленное "ура!" — и восторженный крик громко перекатился по всей многотысячной толпе и был подхвачен лицеистами: в сопровождении великих князей, окруженный блестящей свитой, показался сам император Александр Павлович. Раскланиваясь по сторонам, едва только он приблизился к первым триумфальным воротам, как, по знаку Нелединского, хор певчих грянул приветственную

кантату.

Разнообразные фазисы празднества так непрерывно и быстро сменялись теперь один другим, что лицеисты, так сказать, почувствовать не могли.

У самого Розового павильона стояли вторые ворота, увешанные лавровыми венками. Здесь были пропеты новые куплеты. По обе стороны павильона, на лужайках, были возведены кулисы из живой зелени, а на заднем фоне виднелись: справа — высоты Монмартра с ветряными мельницами, слева — барская усадьба и ряд крестьянских изб.

Из-за сплошной толпы народа и придворных, окружавших царскую фамилию, лицеисты не имели возможности последовательно наблюдать за ходом всего представления, за пением и танцами под открытым небом. Тем не менее, общее содержание пьесы от них не ускользнуло. Спектакль состоял из 4-х картин. В первой действующими лицами были дети, во второй — юноши и девушки, в третьей — жены воинов, а в четвертой — их родители. Все они в той или другой форме выражали свою радость по случаю возвращения

близких их сердцу людей с поля сражения, воссылали молитвы к Богу за благоденствие спасителя родины и всей Европы и осыпали путь его цветами. В заключение первый тенор петербургской оперы, знаменитый Самойлов, пропел кантату, нарочно по этому случаю сочиненную Державиным:

*Ты возвратился, благодатный,
Наш кроткий ангел, луч сердец...*

Своим чудным, бархатным голосом он пел с такою задушевностью, что и сам государь, и свита, и весь народ были видимо растроганы. Пушкин вынужден был даже достать из кармана платок и стал усиленно сморкаться.

— У тебя, Пушкин, насморк? — не утерпел, чтобы не подразнить его стоявший рядом с ним Броглио.

Пушкин окинул его молниеносным взглядом.

— Ты, Броглио, иностранец, и нас, русских, понять не можешь! — с гордостью произнес он и повернулся к нему спиной.

Кстати упомянем здесь, что кантата Державина имела потом самый обширный успех,

потому что долгое время еще пелась по всей России. Воспеваемый в ней "кроткий ангел", император Александр, был тогда у всех и каждого на душе и на устах: не было почти русского дома, где бы портрет или бюст государя не был увит цветами, где бы первая молитва, первый тост не посвящались ему.

Между тем понемногу смеркалось, и Розовый павильон, куда вошли государь и придворные, засветился огнями. Лицеисты, благодаря покровительству Нелединского-Мелецкого, успели протесниться сквозь толпу на вновь возведенную вокруг павильона галерею. Вечер был теплый, и окна в танцевальном зале раскрыты настежь, почему зрители могли прекрасно видеть весь огромный зал. По всему потолку его лучеобразно были развешаны гирлянды зелени и роз. Пять больших деревянных раззолоченных люстр были изящно увиты такими же гирляндами, а на самых люстрах, по всему карнизу и над дверьми горели бесчисленные огни. В углублении зала, за трельяжем с зеленью, был скрыт струнный оркестр. При появлении двора он заиграл полонез.

Государь об руку с императрицей-матерью открыл бал. Несколько раз проходили они мимо окна, у которого стоял Пушкин, так что он мог разглядеть вблизи не только знакомые уже ему черты их, но и наряд обоих: император был в красном кавалергардском мундире; императрица — в шелковом муаровом платье с буфчиками, с короткой талией и открытыми плечами; у левого плеча ее на черном банте был приколот белый мальтийский крест; на шее сверкало алмазное ожерелье; на голове был надет ток с белым страусовым пером; на руках до самых локтей — палевые лайковые перчатки; в одной руке она держала кружевной платок и лорнет, в другой — веер. Но стоило только Пушкину взглянуть ей в лицо, как он забывал уже об ее наряде: такое беспредельное счастье, такая материнская гордость сияли в этих близоруких, но выразительных глазах, в каждой черте этого немолодого, но необычайно симпатичного, благородного лица!

За полонезом раздались пленительные звуки вальса — и пары закружились по зале, изящно свиваясь и развиваясь такими же

цветущими гирляндами, какие свесились на них сверху, с потолка и люстр. В воздушных бальных платьях, в золоте и самоцветных камнях, разрумившись от волнения и танцев, чуть ли не каждая из танцующих молодых дам и девиц казалась красавицей. Но одна между всеми, одетая довольно скромно, особенно выделялась своей классической красотой, своей неподражаемой грацией.

— Это Марья Антоновна Нарышкина, — назвал ее один из зрителей, и имя сказочной красавицы мигом облетело всю галерею.

Вдруг около входных дверей послышался жалобный детский писк.

— Что тут случилось? — с заботливостью матери спросила императрица Мария Федоровна, направляясь к дверям. — Не придавили ли ребенка?

Через расступившуюся перед нею толпу она ввела в зал несколько детей и поставила их тут же в первом ряду, а когда в паузах между танцами ливрейные камер-лакеи стали разносить гостям фрукты и конфеты, государыня-хозяйка вспомнила о своих маленьких гостях и из собственных рук щедро одели-

ла их разными сладостями; потом, взяв с углового столика хрустальную вазу с конфетами, обошла еще зрителей у окон.

— Без церемоний, мой милый! Берите хоть эту, — любезно сказала она по-французски Пушкину, когда очередь дошла до него. Обворожительно-ласковая улыбка государыни отразилась и на вспыхнувшем лице юноши. Он низко поклонился и поспешил взять указанную ему нарядную конфетку.

"Оставлю себе на память!" — обещал он сам себе. Императрица пошла далее. Тут позади Пушкина раздался плаксивый голосок:

— А мне-то, мама, ничего не досталось!

Держа за руку бедно одетую даму, стоял здесь пятилетний мальчуган и кулачком растирал себе глаза.

В светлом настроении своем Пушкин не мог видеть равнодушно этих детских слез.

— Не плачь, на! — сказал он мальчику и сунул ему свою драгоценную конфетку.

Когда на дворе совершенно стемнело, оглушительный, как бы пушечный выстрел заставил всех вздрогнуть. То был сигнальный бурлак, предвестник фейерверка. Танцы в зале

разом прекратились. Все сломя голову повалили из павильона на галерею, а оттуда рассыпались по широкому луку позади павильона — из яркого света в полную тьму! Толкотня и давка, визг и смех!

Через минуту — новый громовой взрыв. К темному ночному небу с змеиным шипеньем стремительно взвивается огненный змей. Утратив понемногу первоначальную скорость, он описывает в вышине крутую дугу и — тррах! — гулко лопается, рассыпаясь над головами внизу стоящих пунцово-красными брызгами.

— А-а-а! — будто эхом проносится по всему луку.

За первой ракетой следует вторая, за второй — третья. Не разлетелись еще, не потухли последние их искры, как раздается сухой, резкий треск, и непосредственно перед зрителями в то же мгновение вспыхивает громадное огненное колесо. С шумом водопада разбрасывая кругом дождь разноцветных огней, оно вращается около своей оси с изумительной быстротой. Но вот оно, истощив свой жар, почти так же быстро угасает. Однако оно достиг-

ло своей цели: дружные рукоплескания и возгласы выражают всеобщее одобрение.

Римские свечи и индийский дождь, жаворонки и швермеры сменяются огненными солнцами, мельницами и вензелем государя в "золотом храме". Но вот, видно, и конец: в разных местах луга одновременно загораются бенгальские огни, красные, лиловые и зеленые, от которых и окружающая зелень и павильон озаряются каким-то поистине волшебным светом.

— Как есть арабская сказка, — сказал профессор Галич, когда ему при помощи гувернера и дядьки удалось собрать разбредшееся по лугу лицейское стадо. — Вот бы вам, Пушкин, сочинить теперь нечто подходящее! От полноты души уста глаголят.

— А от пустоты желудка безмолвствуют, — отозвался Пушкин. — Одна конфеточка была, да и та сплыла!

Оказалось, что Пушкин был еще счастливее других: большинство товарищей его убралось спозаранку с галереи, чтобы не прозевать фейерверка, — и прозевало угощенье.

— Ну, да ведь это же сказка, — заметил

Пушкин, — так чего мудреного, что все по усам текло, ничего в рот не попало.

— Дома, впрочем, я сказал на всякий случай эконому, чтобы он оставил для вас, господа, какое-нибудь блюдо, — успокоил молодых людей Чириков.

— А у меня, ваша милость, коли понадобится, найдется не второе, так третье! — лукаво подмигивая, добавил обер-провиантмейстер Леонтий.

Такая перспектива настолько улыбнулась проголодавшимся лицеистам, что обратный путь в Царское они, несмотря на усталость, совершили не менее быстро, как и в Павловск.

Глава V

Дивертисмент

*Караул! Лови, лови,
Да дави его, дави...
Вот ужю! пожди немножко,
Погоди... — А шмель в окошко...
"Сказка о царе Салтане"
Хлопец, видно, промахнулся:
Прямо в лоб ему попал.
"Воевода"*

Так мирно и чинно заключился бы этот богатый впечатлениями день, если бы нежданно-негаданно в самом лице не разыгрался небольшой дивертисмент, имевший довольно крупные последствия.

При приближении к лицу у Пушкина завязался спор с графом Броглио. Первый из них утверждал, что попасть в столовую можно одинаково скоро как с парадного крыльца, так и со двора. Второй отрицал эту возможность.

— Давай побьемся об заклад! — предложил он в заключение.

— На что? — спросил Пушкин.

— Да хоть на сегодняшней ужин.

— Идет!

— Я с тобой, Пушкин, — сказал неразлучный с ним во всех таких затеях друг его Пуцин.

В то самое время, когда Броглио с начальниками и прочими товарищами входили с улицы в парадную дверь, открытую им швейцаром, два друга наши шмыгнули в калитку на двор лицейский.

— О чем ты думаешь, Пушкин? — спросил Пуцин, когда приятель его вдруг остановился посреди двора и потянул носом воздух.

— Да ты разве не слышишь запаха малины?

— Да, в самом деле, будто пахнет; но откуда?

— А вон, из квартиры Чачкова. Видишь, окошко еще не закрыто. Нынче ведь они варили варенье. Ты, Пуцин, охотник до малинового варенья?

— А как же.

— Так вот, подожди меня тут.

— Куда же ты? Ведь проиграешь Броглио ужин.

— Пускай ест себе на здоровье! Варенья уж верно не подадут.

Более рассудительный Пуштин хотел было задержать ветреного друга; но тот был уже у заветного окна.

Квартира надзирателя помещалась в нижнем этаже, так что туда было легко заглянуть со двора; а недавно выплывший из-за парка серп молодого месяца освещал внутренность комнаты с открытым окном ровно настолько, что Пушкин одним взглядом убедился в отсутствии там живой души. Гимнастические игры на Розовом поле не пропали Для него даром. С ловкостью гимнаста он одним прыжком очутился на высоком подоконнике, а другим — уже в комнате.

Воздух там был пропитан ароматом малинового и еще какого-то другого варенья. На столе красовалась целая батарея заманчивых банок, и в одну из них, как нарочно, была опущена десертная ложка. Пушкин не устоял против искушения. Взяв ложку, он не спеша стал смаковать варенье то из одной, то из другой банки.

— Что ты там делаешь, Пушкин? — слы-

шался из-за окошка нетерпеливый голос Пушкина.

— Да выбор, братец, очень уж труден, — отвечал тот. — Ты какое варенье предпочитаешь: малиновое, вишневое или из черной смородины?

— Все равно, брат... Смотри, еще поймают тебя с поличным.

— Не таковский, не дамся! Нам, как ты думаешь, одной банки довольно будет?

— Ну да, конечно.

— Так на вот вишневое: вкус, знаешь, тоньше. Как, однако, прилипается! — прибавил он, обсасывая кончики пальцев.

В это время за спиной его распахнулась дверь, и в комнату проник легкий свет из коридора, что был рядом. В тот же миг раздался отчаянный женский вопль:

— Разбойники! Воры!

Одного брошенного назад взгляда было достаточно Пушкину, чтобы успокоиться насчет собственной безопасности. Стоявшая на пороге с засученными до локтей рукавами дородная барыня так четко выделялась темным силуэтом на светлом фоне освещенного коридора.

дора, что он тотчас признал в ней домовитую хозяйку, госпожу Чачкову. Самого же его, Пушкина, она, за полумраком в комнате, едва ли могла распознать, тем более что за короткое время пребывания своего с мужем в лице она не успела узнать поименно всех лицейцев.

Не дав ей очнуться, Пушкин шагнул через подоконник — и был таков, а Пуцин, с банкой варенья в руках, подымался уже в это время в камеру, чтобы спрятать добычу.

Минуты три спустя в столовую к лицейцам, недождавшимся еще своего ужина, влетел надзиратель Чачков. Он был, против обыкновения, мрачен и в крайнем возбуждении.

— Кого-то, господа, нет между вами, — сказал он, пересчитав глазами присутствующих.

Ответ дал ему своим появлением в дверях сам отсутствовавший.

— А! Господин Пуцин! Признаться, не ожидал я от вас такого... такой... как бы деликатнее выразиться...

— Позвольте спросить, Василий Васильич, — учтиво и несколько небрежно вме-

шался тут Пушкин, выходя из-за стола, — дело в банке с вареньем?

— А вы что про нее знаете?

— Да, во всяком случае, более Пущина, потому что сам был за нею у вас на квартире.

— Вот что! Да, от вас этого можно ожидать. Но я считал вас всегда вежливым молодым человеком, вы же не только взяли без спросу у супруги моей банку сваренного ею варенья, но даже не дали себе труда поклониться ей! Это мне, признаться, крайне прискорбно!..
Благородная дама...

— Да ведь поклонись я, супруга ваша могла бы еще пуще обидеться: "Благодарю, дескать, сударыня, за угощенье!"

— А вот подите, потолкуйте с нею! — упавшим голосом прошептал бедный супруг. — Как бы то ни было, голубчик, положи руку на сердце скажите: провинились вы нынче или нет?

— Положи руку на сердце — провинился.

Чачков заметно просветлел.

— Вот это я называю по-рыцарски: честно и прямо! — воскликнул он. — Ну, и за провинность свою заслужили вы какую ни на есть

кару?

— Полагаю.

— Великолепно-с! Так вот-с, дорогой мой, извольте же сами продиктовать нам: чего вы заслужили, чтобы, понимаете, ни единое существо в поднебесной не могло утверждать, будто я даю вам, лицеистам, поблажку?

Пушкин прекрасно понял, кого Чачков разумел под "единым существом в поднебесной"; понял, что добровольно принятое им на себя наказание сослужит добряку надзирателю великую службу.

— Да пошлите меня до утра в карцер — и дело с концом, — сказал он.

Слегка озабоченные еще черты Чачкова окончательно прояснились. Он схватил обеими руками руки Пушкина и крепко потряс их.

— Вы — славный молодой человек! Я лично провожу вас. Эй, Прокофьев! Посвети-ка нам. А вот кстати и мой любезный коллега, — прибавил он, столкнувшись на пороге с экономом лицейским (иначе: надзирателем по хозяйственной части) Золотаревым, за которым два служителя несли ужин лицеистам. — Сделайте одолжение, Матвей Александрия,

доставьте вот этому молодому человеку в карцер его порцию.

— Не трудитесь, Матвей Александрыч, — предупредил тут Пушкин, — отдайте мою порцию Броглио.

— Проиграли ему, знать, пари? — спросил Пушкина на ходу Чачков, ласково трепля его по плечу.

— Проиграл. Да варенье ваше меня отчасти вознаградило.

— Шалун! Ну что, небось мастерица варить супруга у меня, а?

— Мастерица — да; только посоветуйте ей вишни варить на сахаре; для такого нежного плода патока, уверяю вас, не годится.

На этом разговор их прервался: догонявшие их быстрые шаги и гулкий голос Золотарева: "Василий Васильич! А, Василий Васильич!" заставили обоих оглянуться.

Как корабль с распущенными парусами, летел к ним экононом с развевающимися фалдами длиннополого вицмундира. Выхоленное лунообразное лицо его приняло тот же лиловато-багровый цвет, которым, обыкновенно, отличался только мясистый нос его; воловьи,

на выкате, глаза налились кровью и готовы были, кажется, выскочить из орбит; даже лучшее украшение его видного лица — густейшие, в виде котлет, бакенбарды, всегда так тщательно расчесанные, были в непривычном беспорядке: в одном из них запутались мелкие кусочки чего-то съестного.

— Помилуйте, Василий Васильич! — пыхтел эконоом, задыхаясь от волнения и дико вращая кругом кровавыми глазами. — Это какой-то бунт... Всех бы их в кутузку!..

— В чем дело-с, дражайший коллега? — спросил с участием Чачков. — Виноват: у вас в бороде что-то засело. Если не ошибаюсь — начинка пирога?

— Чтоб им ни на этом, ни на том свете... — фыркнул Золотарев, отряхываясь, как мокрый пудель. — Воротились, вишь, ночью, как добрые люди сладким сном почивают... Ничего бы им не подать... Нашла на меня еще дурь — подать им вчерашнего пирога с печенкой. А барчуки наши, вишь, брезгают, говорят: печенка протухла...

— Да, может, она и точно была не первой уж свежести? — деликатно заметил надзира-

тель. — Ведь время-то нынче жаркое: живо придаст ароматец.

— Как же без аромату? Сами посудите! Да мало ли на свете таких еще любителей, которым и рябчик не в рябчик, коли без изрядного душка!

— Однако печенка-то ваша была не от рябчиков?

— Чего захотели! Не по вкусу — ну и не кушай: прислуга либо собаки на дворе слопают. А то нешто это резон в рожу тебе швырять?

Чачков с трудом сохранил серьезный вид; Пушкин закусил губу, чтобы не прыснуть со смеху.

— К вам, Василий Васильич, как к первому нашему начальнику ныне, обращаюсь с убедительной просьбой, — ожесточенно продолжал Золотарев. — Немедля составьте протокол о случившемся и отрапортуйте его сиятельству господину министру...

— Все потихонечку-полегонечку, почтеннейший мой, — старался угомонить его надзиратель. — Стоит ли беспокоить графа из-за такого пустяка?

— Из-за пустяка! Нет-с, милостивый госу-

дарь, пирог сам по себе, может, и пустяк, но коли он обращен в смертоносное орудие...

Пушкин не мог уже удержаться от давившего его хохота.

— Вот-вот, извольте видеть! — еще пуще закипятился экономом. — Господин Пушкин тоже зубоскалит! Нет, я вас всенижайше умоляю, сударь мой, формально отписать все как есть...

Чачков взял расходившегося «коллегу» за округлую его талию.

— Написать не трудно-с, — мягко заговорил он, — но, донося одно, мы не вправе умолчать и о другом: что при предшественнике вашем, Леонтии Карловиче Эйлере, внуке знаменитого нашего астронома, воспитанники не могли нахвалиться продовольствием; в короткое же время вашего управления хозяйством — это второй уже случай...

— Да уж это по вашей канцелярской части расписать дело так, чтобы ни сучка, ни задоринки, — возразил тоном ниже Золотарев. — Мне главное: чтобы нам дали наконец заправского главу, который забрал бы этих сорванцов в ежовые рукавицы. А первых зачин-

щиков, графа Броглио да Пушкина, я просил бы вас ныне же заключить под замок.

— Бросьте уж их! — сказал Чачков. — У обоих большие, знаете, связи... Пушкин вот кстати отсидит за всех. Отсидите, голубчик?

— С удовольствием! — был ответ.

— Слышите: "с удовольствием". Примерный друг и товарищ! На, а в рапорте нашем его сиятельству Алексею Кирилловичу мы только глухо отпишем, что так, мол, и так: без постоянного директора с молодежью нашей просто сладу нет.

Таким образом, ни Броглио, ни Пушкин на этот раз не разделили одиночного заключения Пушкина. Но заключение это пошло ему впрок. Когда на следующее утро надзиратель Чачков с дежурным профессором Галичем сидели в правлении за сочинением рапорта министру, сторож Прокофьев вбежал к ним с докладом, что "в карцере неладно". Те были перетревожились, но успокоились, когда выяснилось, что заключенный там поэт от нечего делать измарал целую стену карандашом.

— Что тут поделаешь с ними! — воскликнул Чачков. — Вы, Александр Иваныч, всегда

горой стоите за господ лицеистов. Я сам стараюсь с ними ладить; но что прикажете делать, если они и в карцере не унимаются: портят казенное добро?

— Да, верно, ему не на чем было писать, — сообразил Галич.

— Они, действительно, просили у меня вчера принести им чернила да бумаги, — доложил Прокофьев.

— А ты небось отказался исполнить его просьбу?

— Не посмел, ваше высокоблагородие...

— Ну, так... А поэту, Василий Васильич, без письменных материалов все равно, что нашему брату без воздуха, — житья нет.

— Говорят-с... Однако писанье писанью тоже рознь. Как ни люблю я Пушкина, но готов голову прозакладывать, что намарал он опять какой-нибудь пасквиль.

— Это мы сейчас, если угодно, узнаем, да кстати уясним и казенный ущерб.

Так Пушкин совершенно неожиданно удостоился в карцере визита двух начальников.

— Образцовая стенная живопись! — с безобидной иронией заговорил Чачков, любуясь

стенной, испещренной каракулями, во многих местах зачеркнутыми и перечеркнутыми.

— Да, в своем роде иероглифы, — подтвердил Галич и принялся по складам разбирать написанное:

*Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар, и млад, летят на
дерзновенных,
Сердца их мщеньем возжжены.
Вострепещи, тиран!
Уж близок час паденья!
Ты в каждом ратнике узришь бо-
гатыря.
Их цель: иль победить, иль пасть
в пылу сраженья
За веру, за Царя.*

Молодой профессор окинул надзирателя торжествующим взглядом; потом каким-то особенно добрым, почти нежным тоном спросил Пушкина, переминавшегося тут же с карандашом в руке:

— Это вас, мой друг, вчерашний праздник вдохновил?

— Да, — отвечал Пушкин со смущенной улыбкой.

— Посмотрим, что дальше, — сказал Галич и продолжал разбирать вслух:

*В Париже росс! Где факел мще-
нья?*

Поникни, Галлия, главой!

*Но что я зрю? Герой с улыбкой
примиренья*

Грядет с оливой золотой;

*Еще военный гром грохочет в от-
даленье,*

*Москва в унынии, как степь в пол-
нощной мгле, —*

*А он несет врагу не гибель, а спа-
сенье*

И благотворный мир земле.

Достойный внук Екатерины!..

На этом стихи обрывались.

— Ну, что вы теперь скажете, Василий Васильич? — спросил Галич. — На что это более похоже: на жалкий пасквиль или на торжественную оду?

Василий Васильевич преклонил голову и развел руками.

— Честь и слава молодому таланту, — согласился он. — В этих строфах веет, можно сказать, что-то державинское...

— И пушкинское! — с ударением добавил Галич; потом, оборотясь к молодому поэту, дружески положил ему руку на плечо и сказал: — Продолжайте так же — и новая ода ваша, вы увидите, станет краеугольным камнем вашей будущей известности. А чтобы вам не пачкать еще казенных стен, Василий Васильич, конечно, уж не откажет вам в чернилах и бумаге. Или вы, Василий Васильич, может быть, теперь же выпустите узника?

— Скатертью дорога! — с отменного учтивостью указал надзиратель Пушкину на выход. — Не знаю вот только, Александр Иванович, как быть мне с этой измаранной стеной? — прибавил он вполголоса.

— Взять да выбелить.

— Легко сказать-с! Надо будет испросить у его сиятельства Алексея Кирилловича сверхсметный кредит...

— А без этого нельзя?

— Невозможно-с: экстренный расход.

Галич нетерпеливо повел плечом.

— Так выбелите хоть на мой счет!

— Нет, уж я сам заплачу, Василий Васильич, — вмешался стоявший в дверях Пуш-

КИН.

— Ах, вы еще здесь, дорогой мой? Вы сами заплатите? И пречудесно-с: из-за грошового дела не стоило бы поднимать столб пыли.

Однако пыль, и самая вредоносная, была уже поднята пирогами эконома Золотарева. Лицеистам существенного вреда она не причинила, зато самому Золотареву да «коллеге» его, Чачкову, от нее, увы! не поздоровилось. Некоторое время до графа Разумовского уже стали доходить из Царского слухи о распущенности лицейского быта и упадке лицейского хозяйства вследствие непрерывных пререканий конференции профессоров. Пирог золотаревские дали ближайший повод к ревизии лицейских порядков, а результатом этой ревизии было увольнение от службы обоих надзирателей: по учебной и по хозяйственной части. 13 сентября 1814 года обязанности директора лицея, впредь до выбора постоянного директора, были поручены директору лицейского благородного пансиона, профессору немецкого языка Гауеншильду. Надзирателем по учебной части, по предложению военного министра Аракчеева, был опре-

делен старый служака и рубака, отставной подполковник Фролов. Но так как последний, пробыв целый век в строю, мог с успехом глядеть только за наружной дисциплиной, то в помощь ему, для наблюдения за «нравственным» воспитанием будущих "государственных людей", был дан профессор "нравственных наук" Куницын. Наконец, надзирателем по хозяйственной части, или, проще, экономом, был назначен константинопольский уроженец, старичок Камараш.

Этим не ограничились последствия памятного всем лицеистам дня 27 июля. Две строфы, сочиненные Пушкиным в карцере, выросли вскоре в целую оду: "Воспоминания в Царском Селе", и оде этой, как верно предугадал профессор Галич, суждено было сделаться краеугольным камнем литературной известности начинающего поэта.

Глава VI

Два дня у Державина

Первый день

*Он был уже летами стар,
Но млад и жив душой незлобной:
Имел он песен дивный дар
И голос, шуму вод подобный.
Поэма "Цыганы"*

В то самое время, когда в Царскосельском лицее дописывались стихи, которые должны были положить основание славе Пушкина, — в Новгородской губернии, в селе своем Званке, мирно "дотаскивал остальные деньки" (по собственному его выражению) патриарх русских поэтов Державин, не слыхавший даже о существовании начинающего поэта и, конечно, не подозревавший, что сам же он вскоре признает его своим достойным преемником.

В начале августа Державин со своими многочисленными домочадцами едва уселся за обеденный стол, как с улицы донесся «мали-

новый» звон валдайских колокольчиков. Молодежь бросилась из-за стола к окнам. К колокольчикам явственно присоединился теперь стук колес и лошадиных копыт. Из-под скатерти стола юркнула хорошенькая, мохнатая, белой шерсти собачонка и с пронзительным лаем закружилась по комнате.

— Кого Бог несет? — повертывая голову, спросил хозяин.

— Иван Афанасьич! Дмитревский! — отвечал ему хор голосов, и глухой грохот перекладной под самыми окнами разом замолк: тележка остановилась у крыльца.

— Иван Афанасьич! — радостно повторил Державин и, положив на стол салфетку, с непривычной для его 73 лет живостью приподнялся со стула. — Ждал-ждал и ждать перестал... Паша, голубушка! Где ты?

Любимая племянница его, Прасковья Николаевна Львова, чрезвычайно милостивая брюнетка, поспешила подать ему руку.

— Ужели, Гаврила Романыч, ты в этом костюме и примешь столичного гостя? — спросила мужа хозяйка, Дарья Алексеевна (вторая жена Державина), представительная, высокая

и стройная дама.

— А чем же костюм не столичный? — добродушно усмехнулся Гаврила Романович, оглядывая себя. — И в столице по твоим званным четвергам неохотно расстаюсь с ним.

Костюм же состоял из зеленого шелкового халата, подпоясанного таким же шнурком с кистями, из вязаного белого колпака и вышитых бисером туфель. Постороннему человеку ни за что и в голову бы не пришло, что перед ним бывший статс-секретарь Великой Екатерины, затем сенатор, государственный казначей и, наконец, министр юстиции. Правда, он уже давно удалился от государственных дел и в редкие минуты вдохновения предавался главной задаче своей жизни — стихотворству.

Но и поэта было трудно признать в этом гладко выбритом, благодушно улыбающемся старике, которого — не будь он так высок и широкоплеч — в его бабьем колпаке скорее можно было бы принять за почтенную старушку.

— Замолчишь ли ты?! — прикрикнула и топнула ногой Дарья Алексеевна на собачку,

которая, как в истерическом припадке, вертелась около своего хвоста и заливалась самым высоким, раздирающим уши фальцетом.

— Оставь ее, милая! Надо же и ей душу отвести! — вступился муж и под руку с племянницей вышел в переднюю, а оттуда на крыльцо. Свитой за ними высыпали туда все прочие, сидевшие за столом.

Иван Афанасьевич Дмитревский, знаменитый в свое время актер Императорского театра в Петербурге, уже несколько лет перед тем, по старческой дряхлости, покинул сцену. Тем не менее как актеры, так и литераторы, и даже столичная знать, продолжали по-прежнему дорожить его сценической опытностью и во всех спорных случаях по театральной части обращались к его суду. Державину, которому на старости лет вздумалось также испытать свои силы в драме, такой советчик, как Дмитревский, был сущим кладом, и он не раз зазывал его на лето к себе в Званку. Но только теперь Дмитревский наконец приехал.

Когда Державин выбрался на крыльцо, дорогой гость его сошел уже с тележки и, поддерживаемый краснощеким быстроглазым

казачком, с усилием стал подниматься по ступеням. Один из племянников хозяина, подпрапорщик Измайловского полка Семен Васильевич Капнист, живой и ловкий юноша, одним прыжком соскочил вниз и подхватил старика под другую руку.

— Спасибо, душа моя... — прошамкал слабым голосом Дмитревский, суюкая от недостатка зубов и произнося букву «ш» как «с»: "дуса моя".

— Молодец он у меня! — похвалил юношу с крыльца дядя. — С тех пор, как секретарь мой Лиза[9] замуж пошла, он у меня и по письменной, и по всякой иной части. Здорово, Иван Афанасьич! Наконец-то вспомнили старого приятеля!

Приятель очутился в его дружеских объятиях. Толпившиеся около них молодые люди тихо перешептывались:

— Стар, ух как стар стал! Прямой Мафусаил! Дядя перед ним молодец молодцом...

Гость Мафусаил, щурясь от света, которого не переносило его ослабевшее зрение, со сторбленной спиной, с трясущейся головой, стал здороваться со всеми окружающими, по-

очередно подходившими к нему.

— Дарье Алексеевне мое нижайшее! И вы тут, любезнейший! И вы! — говорил он, пожимая руки направо и налево.[10]

Между тем задорная собачонка, выскочившая также на крыльцо, не переставала ожесточенно тьявкать на гостя.

— И ты тут, Таечка! Да, и ты! А я слона-то, вишь, и не заметил! — приветствовал ее Дмитревский и, с трудом нагнувшись к Тайке (сокращение от Горностайка), хотел ее погладить. Но та, огрызаясь, увернулась и цапнула его за панталоны. Молодой Капнист оттолкнул ее ногою.

— Вот злючка! Не узнала разве?

— Дай-ка ее сюда, Сеня! Не обижай ее! — сказал дядя и, приняв от него собачку, упрятал ее за пазуху. Место это, как видно, было для нее насиженное, потому что она, высунув свою хорошенькую мохнатую головку из-за отворота халата, вполголоса еще немножко поворчала, похлопала глазками на гостя и затем уткнулась опять розовой мордочкой в халат.[11]

— Ну, что у вас там, Иван Лфанасьич, в Пи-

тере? Что нового?.. — полюбопытствовал хозяин, но тут же спохватился: — Виноват: соловья баснями не кормят! Пойдемте-ка откушаем вместе, благо, мы сами еще за трапезой. А вы, чай, с дороги как волк проголодались?

— Да Ивану Афанасьичу, может, нужно еще наперед почиститься, отмыться от пыли? — заметила Дарья Алексеевна.

— Оно, точно, сударыня, не мешало бы... — отозвался Иван Афанасьич.

— Я вас сейчас проведу к себе, — услужливо вызвался молодой Капнист и, мигнув казачку, чтобы тот взял барина своего под другую руку, бережно повел почтенного старца к себе.

Полчаса спустя Дмитревский, умытый, приглаженный, с подвязанной под подбородком салфеткой, сидел среди многочисленной хозяйской семьи за сытным деревенским обедом. В промежутках он рассказывал о недавнем Павловском празднике и о том глубоком впечатлении, какое произвела на всех сочиненная на этот случай Державиным кантата: "Ты возвратился, благодатный..."

— У меня не то еще было в предмете, — за-

говорил Державин. — Хотелось мне сочинить подобающее похвальное слово государю-победителю, и вот племянница целое лето, вишь, должна была читать мне тут похвальные слова разным великим мужам, дабы, знаете, настроить на надлежащий тон мою ржавую лиру. Похвала Марку Аврелию всего более пришлась мне по душе, потому что действие в оной перемешано с повествованием. Однако ж старость не радость: слушаешь, бывало, развесишь уши — глядь, и задремал! Так и не удосужился написать свою похвалу.

— Упустя лето, в лес по малину не ходят, — заметил Дмитревский, — а мы с вами, ваше высокопревосходительство, что ни говори, маленько-таки состарились.

— Так-то так, — со вздохом согласился Державин. — Затем-то в последние годы и взялся за драму. Вот где мое истинное призвание! Четыре трагедии мои вам достаточно известны; [12] равномерно и две музыкальные драмы. [13] Но все это были цветочки, теперь пойдут ягодки. Одна у меня уже в деле; вот это так опера: "Иоанн Грозный, или Покорение Казани". Богатейшая, сударь, тема и наисо-

временная; господа французы, что пожаловали к нам в 12-м году без спросу и убрались не солоно хлебавши, не те же ли кровожадные татарские орды времен Грозного? Бонапартишко их — не злой ли волшебник, мнивший обойти нас обманными чарами?

Заговорив о своей новой опере, старик поэт заметно одушевился. Дмитриевский, не переставая жевать, исподлобья оглядел окружающих: те украдкой обменивались сострадательными взглядами и тихо шушукали между собой. Не могло быть сомнения — они, подобно ему, относились к новейшему драматическому опыту старого лирика с некоторым недоверием; они хорошо знали также, что эти опыты, со слов Мерзлякова, назывались во всем петербургском обществе "развалинами Державина".

— Опера, м-да... — промычал Дмитриевский. — Ну, текст, положим, будет; но где же, скажите, найти для него у нас, на Руси, музыканта-композитора? Опера — чисто итальянское произрастение...

— И вздор-с! — перебил Державин. — Итальянцы просто-напросто пересадили ее к себе

из Греции, ибо древняя греческая трагедия с певучими речитативами — не что иное, сударь мой, как теперешняя опера с разнотонной музыкой в первобытном ее виде-с. Но в итальянщине сей — дивная смесь великого с малым, прекрасного с нелепым. По своей необузданной южной натуре всякий соучастник итальянской оперы лезет из кожи, чтобы отличиться: автор — исполинским воображением, актер — смешною надутостью и уродливым кривляньем, певец — чрезмерной вытяжкой голоса, музыкант — непонятными прыжками перстов, дабы при громком рукоплескании заставить выпучить глаза и протянуть уши того же вкуса людей, каковы они сами. Они уподобляются тем канатным прыгунам, которые руки свои принуждают ходить, а ноги — вкладывать в ножны шпагу, думая, что это чрезвычайно хорошо! От таковых-то усилий и несообразностей с прямым вкусом в их операх вся нелепица. Вместо приятного зрелища — игрище, вместо восхитительной гармонии — козлоглашение.

— Так как же вы сами, ваше высокопревосходительство, решаетесь ставить оперы? —

спросил Дмитревский.

— Как-с? — подхватил с возрастающим огнем Державин. — Да что такое, позвольте узнать, опера? Это есть перечень, сокращение всего зримого мира. Скажу более: это есть живое царство поэзии, образчик или тень той небесной улады, которая ни оку не видится, ни уху не слышится... Ради своей чудесности опера почерпает свое содержание из языческой мифологии, из древней и средней истории. Лица ее — боги, герои, рыцари, богатыри, феи, волшебники и волшебницы. В ней снисходят на землю небеса, летают гении, являются привидения, чудовища, ходят деревья, поют человеческим голосом птицы, раздается эхо. Словом, это — мир, в коем взор объемлет-ся блеском, слух гармонией, ум непонятностью, и всю сию чудесность видишь искусством сотворенною, притом в кратком, как бы сгущенном виде. Тут только познаешь все величие и владычество человека над вселенной! Подлинно, после великолепной оперы находишься в некоем сладостном упоении, как бы после волшебного сна... Это — первый шаг к блаженству....[14]

Никто уже не улыбался. Никто не отрывал глаз от расходившегося маститого поэта, который своею по старинному напыщенной, но образною и искреннею речью возбудил во всех невольное желание испытать самим описываемое им «блаженство». Один Дмитриевский только, чтобы не отстать в еде от других, продолжал двигать челюстями: при отсутствии зубов разжевывание пищи представляло для него немаловажный труд. Теперь, благополучно покончив с этим делом, он обтер губы салфеткой и обратился к хозяину:

— А позвольте спросить, Гаврила Романых: где же вы видели у нас такие оперы?

— Где-с? Да... Аблесимова «Мельник» — раз; ну... — Гаврила Романович запнулся.

— Раз — и обочлись?

— Да ведь я говорю не о тех операх, что есть...

— А о тех, что будут?

— Ну да... Вот погодите, любезнейший, дайте мне только справиться с моим "Грозным"... — Эй, Михалыч!

Михалыч, или, точнее, Евстафий Михайло-

вич Абрамов, из крепостных Гаврилы Романовича, был у него не то мажордомом, не то вторым секретарем и допускался также к барскому столу. За безграничную преданность и примерную расторопность Державин очень ценил его. Единственной крупной слабостью Михалыча были крепкие напитки, и потому Дарья Алексеевна очень неохотно сажала его за один стол с гостями; но муж всегда отстаивал его:

— Ничего, душечка! Делай, будто ничего не замечаешь.

Сегодня Абрамов успел уже не в меру воспользоваться обилием на столе разных наливков и настоек по случаю именитого гостя. Когда он приподнялся, чтобы идти на зов хозяйна, то покачнулся и должен был ухватиться руками за край стола. Дарье Алексеевне это было крайне неприятно. Она даже покраснела и замахала рукой:

— Сиди уж, сиди...

— Да я, друг мой, хотел послать его только в кабинет за рукописью... — почел нужным объяснить Гаврила Романович.

— А он, ты думаешь, так и отыскал бы? —

возразила супруга. — Садись же — не слышишь? — строго повторила она Михалычу.

Тот покорно, с виноватым видом, опустился на свое место.

— А помните ли, дяденька, как вы сочинили для меня и сестер, когда мы еще были маленькими, что-то вроде оперы — шутку с хорами: "Кутерьма от Кондратьев"? — весело заговорила красавица племянница, Прасковья Николаевна. — У нас в доме, Иван Афанасьич, надо вам знать, было в то время ровно три Кондратья, — продолжала она, обращаясь к гостю, — один — лакей, другой — садовник, третий — музыкант. Оттого часто происходила преуморительная путаница...

— Как не знать, милая барышня, — отвечал Дмитревский, вдруг оживляясь. — Сам даже на домашней сцене орудовал в этой пьесе; о сю пору, кажись, в лицах представить мог бы...

— Правда?

— Ах, Иван Афанасьич, представьте! — раздались кругом голоса.

Доедали как раз последнее блюдо. Голод всех, в том числе и старца актера, был утолен,

а рюмка-другая крепкой домашней наливки помолодила его на двадцать лет.

— Отвяжи-ка салфетку! — приказал он казачку, стоявшему позади его стула, и когда тот исполнил приказание, он отодвинулся от стола вместе со стулом, встал, выпрямился во весь рост и заговорил.

Все с изумлением, можно сказать, с оцепенением уставились на него. Ветеран Императорского театра много лет уже не выходил перед публикой; только однажды, 4 года тому назад, 30 августа 1812 года, в достопамятный день, когда получено было в Петербурге известие о славном Бородинском бое, он выступил в патриотической пьесе Висковатова «Ополчение». И вдруг сегодня, как тень умершего из могилы, перед присутствующими восстал опять прежний великий актер.

— Хорошо, слушайте, — заговорил он женским голосом Миловидовой в державинской шутке. — Ты, Варенька, скажи первому Кондратью, камердинеру, который, за отсутствием управителя, надзирает за кухнею, чтобы приготовил между прочим кур с шампиньонами: дяденька это блюдо очень любит. Ты,

Веринька, второму Кондратью, садовнику, вели припасти вяз с повелицей. Дубу и лавру здесь нет; неравно нам вздумается отставному служивому поднести, по древним обычаям, свойственный ему венок. А ты, Пашенька, скажи третьему Кондратью, музыканту, чтоб он приготовил для огромности хоров рог с барабаном. Смотрите же, не забудьте, а я пойду одеваться.

При этих словах Дмитревский повернулся, будто уходит, обдернул себе с жеманством сюртук, будто поправляет женское платье, и тем же голосом продолжал, будто обращаясь к трем Кондратьям:

— Приготовили ль, друзья мои, что вам приказывали дети?

— Все готово, сударыня, все готово... — отвечал он сам себе разными голосами трех Кондратьев.

— Где ж?

— Вот здесь, — отвечал он от лица первого Кондратья, камердинера, подавая со стола салфетку.

— Да что это?

— Тур[15] с панталонами.

— Как? Тебе приказывали кур с шампиньонами!

— Мне так послышалось.

— Какой вздор! — Дмитревский-Миловидова обернулся к воображаемому Кондратью-сатовнику. — У тебя что?

(В руках его очутился салатник.)

— Мох с тюльпаном.

— Какая чепуха! Тебе приказан рог с барабаном.

— Я не музыкант.

— У тебя что? — был, наконец, последний вопрос его к невидимке Кондратью-музыканту. — Вяз с повелицей?

— Нет! Бас со скрипичей, — был ответ — и бутылка с рюмкой изобразили требуемые музыкальные инструменты.

— Ха-ха-ха-ха! Сумасшедшие! Вот каково там, где много Кондратьев! Смех от них и горе! Тому прикажи, того спроси — и увидишь хоть Кондратья, да не Кондратья! Федот, да не тот...

Войдя совершенно в роль, бывалый актер даже не пришепетывал; и голос и мимика его принадлежали именно тем лицам, которых

он изображал. Когда он кончил, комната огласилась единодушными восторженными криками, а Державин, сидевший еще за столом, снял с головы колпак и отдал другу-актеру такой глубокий поклон, что коснулся лбом стола.

Но вслед за тем поднялась общая суматоха. За необычным оживлением у дряхлого старца актера последовал внезапный же упадок сил. Как мертвец побледнев, он закатил глаза, схватился за грудь и наверное грохнулся бы на пол, если бы подоспевшие молодые люди не подхватили его под мышки, не усадили в кресло. Всех более, казалось, перепугалась виновница всего, Прасковья Николаевна. Она суетилась около гостя, как около родного, и, налив ему стакан воды, почти насильно заставляла его пить.

— Спасибо вам, дуса моя... — лепетал он, отпивая глоток за глотком. — Разгорячили вы меня, старого, и, боюсь, пролежу я теперь сутки в постели...

Сначала хозяева думали уложить его сейчас же в постель. Но, когда он немного оправился, решено было перебраться в соседнюю

гостиную.

— Туда нам и кофе подадут, — сказала хозяйка, — там вы отдохнете в кресле.

— Да и я кстати маленько вздремну с вами, — добавил хозяин, — такое уж у меня положение:

*Тут кофе два глотка, всхрапну
минут пяток,
Там в шахматы, в шары иль из лука
стрелами,
Пернатый к потолку лаптой мечу
леток
И тешусь разными играми.*

Гость слабо улыбнулся:

— Ой ли?

— То есть, было времечко... Ну, а нынче, понятно, только бостон да пасьянс. На закате дней в чем нашему брату упражняться, как не в терпении — в пасьянс?

Дмитревский помнил впоследствии, как бы в каком-то тумане, что его перенесли в кресле в гостиную и что он там, не дождав-шись даже кофе, крепко заснул. Во сне долетали до его слуха звуки клавесина, и, когда он наконец очнулся, звуки эти не прекратились.

На дворе совершенно уже смерклось; а гостиная, где отдыхал он по-прежнему в кресле, освещалась мягким полусветом покрытой абажуром лампы. В отдалении за клавесином сидела Прасковья Николаевна и играла одну из душевных пьес Баха, любимого композитора хозяина. Сам же хозяин, с своей Тайкой за пазухой, в мягких туфлях, неслышно расхаживал по комнате из угла в угол, опустив голову, отвесив губу, и одной рукой поглаживал Тайку, а другой бил по воздуху такт.

Не желая прерывать его размышлений, Иван Афанасьевич тихомолком окинул взор остальных присутствующих. За столом, на котором горела лампа, сидела хозяйка, взявшая какой-то шарф, вероятно для мужа, а около нее — другая племянница, вышивавшая бисером кушак, как оказалось после, также для дяди. На столе были разложены в известном порядке карты: Гаврила Романович, очевидно, раскладывал пасьянс, когда искусная игра Прасковьи Николаевны согнала его с места. Прочие домочадцы расположились небольшими группами там и сям в тени, слушая также музыку и изредка перешепты-

ваясь.

Дмитревский по-прежнему не шевелился и предался тихим старческим мечтам. Но вот нежные звуки клавесина стали крепнуть, расти, учащаться, — и Гаврила Романович сбился с такта и ускорил шаг; колпак его сдвинулся набекрень, губы крепко сжались, тусклые глаза разгорелись; дойдя опять до выходной двери, он не повернул уже назад, а вдруг исчез.

Музыка разом смолкла; музыкантша, а за нею и все молодые слушатели встrepенулись, заговорили:

— Ну, завтра к утрешнему кофею дяденька, наверно, принесет новые стихи!

Они не совсем ошиблись: «дяденька» действительно занялся стихами, хотя не новыми, а старыми, требовавшими отделки. Когда все сошлись опять к ужину в столовую, он также явился туда с довольной улыбкой, держа в руках объемистую тетрадь.

— Екатеринина Муза заговорила? — спросил его Дмитревский.

— Нет, ко мне теперь она уж редко заглядывает, — отвечал старик поэт:

Холо дна старость — дух, у лиры — глас
отъемлет,

Екатерины Муза дремлет...

Положив тетрадь на стол около своего прибора, он то и дело с нежностью поглядывал на нее; когда же, с боем 11-ти часов, все разом поднялись и стали прощаться на ночь, он вручил тетрадь гостю со словами:

— Прочтите, любезнейший, и занотуйте, что нужно...

Дело это для Дмитревского было не ново. Продремав давеча часа два в своем кресле в гостиной, он так освежился, что не нуждался уже в ночном отдыхе. Лежа в постели, он принялся со скучающим видом перелистывать державинского «Грозного», причем где писал карандашом на полях, где просто ставил вопросительный или восклицательный знак, пока не дошел до последней страницы. Тут он от души зевнул и загасил свечу.

Глава VII

Два дня у Державина

Второй день

*Там русский дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мед я пил...
Пролог к "Руслану и Людмиле"*

Старость не знает долгого сна. Не было еще шести часов утра, как Дмитревский уже проснулся. Или, быть может, его разбудил смутный говор, долетавший к нему сквозь тонкую стенку из смежной горницы. Он прислушался и явственно различил голоса хозяйна и его мажордома Михалыча. Гаврила Романович давал последнему какие-то наставления по хозяйству.

— Да гуся-то фаршированного смотри не забудь, — говорил он. — Иван Афанасьич у нас, сам знаешь, какой знаток по кухонной части.

— Как не знать-с, — отвечал Михалыч. — Анисовки нонче, сударь, отменно уродились; так с свежей капустой такой фарш дадут... А

на счет февереку-то как прикажете?

— Ну, это — по части молодого барина, Семена Васильича: с ним и столкуйся.

Далее Дмитревский разговора их не слышал: в дверь к нему осторожно заглянул его казачок. Убедившись, что барин не спит, он вошел с вычищенными сапогами и платьем.

— Будете одеваться, сударь?

— Да, пора.

Оканчивая уже туалет, Иван Афанасьевич случайно увидел в окошко живую группу: на ступеньках крыльца сидел Гаврила Романович в неизменных своих колпаке да халате, а вокруг него толпилось человек двадцать босноногих деревенских ребятишек.

— Каждое утро, вишь, у них здесь тоже, сказывали мне, — пояснил казачок, — молитвы учат да ссоры ребячьи разбирают.

— Поддай-ка шляпу да вон тетрадку, — сказал барин и, опираясь на казачка, вышел также на крыльцо.

Державин сидел к нему спиной и не заметил его прихода.

— Ну вот так-то; на сегодня и будет с вас, други мои, — говорил он и, взяв в руки стояв-

шую рядом на ступеньке корзиночку с медовыми пряниками, стал раздавать их детям.

Те наперерыв выхватывали их из его рук.

— А мне-то! Мне, дяденька!

— Отчего же нынче, дяденька, не крендели, а пряники? Нешто нынче праздник? — сыпались вопросы.

— И какой еще праздник-то! Приятеля за-кадычного из Питера чествую, — отвечал "дяденька".

— Вон этого самого?

Державин обернулся.

— А! Иван Афанасьич! Вы здесь? Ну, как почивать изволили?

— Благодарю вас, — отвечал тот. — Да я вам, ваше высокопревосходительство, не мешаю ли?

— Нет, мы с ребятами как раз покончили. Вот что, детушки: ступайте по домам да скажите парням да девчатам, отцам и матерям, что, мол, всем им от меня тут угощение будет. Поняли?

— Как не понять! Не в первый раз...

— Ну, пошли. С Богом!

Весело горланя, дети врассыпную броси-

лись прочь от крыльца. Тут между тем Гаври-
ла Романович увидал свою заветную тетрадь
в руках друга-актера.

— Ага! Прочли? — спросил он, и в глазах
его забегал беспокойный огонек.

— Прочел-с... Очень хорошо... — невнятно
пробормотал Дмитревский и, не глядя на Дер-
жавина, подал ему тетрадь.

Сидевшая за пазухой Гаврилы Романовича
Тайка ошибочно поняла движение гостя и
сердито на него заворчала.

— Ну, ну, ну! Не тронет он меня, — успоко-
ил ее хозяин и дрожащими пальцами стал пе-
ребирать листы тетради. — Много, кажись, за-
мечаний...

— Ваше высокопревосходительство, — от-
вечал Дмитревский, — будьте совершенно
спокойны, — эти замечания я делаю не для
вас; но, вы знаете, на театре всегда бывают
прощельги, которые готовы за все приди-
раться к авторам. От них-то я и хочу уберечь
вас.

— Бывают, ох, бывают! — вздохнул Держа-
вин и указал себе на шею. — Вон где они си-
дят у меня!.. Ну, да Господь теперь с ними!

Милости просим на балкон: кофей, верно, уж ждет нас. Вы ведь там, кажись, еще не были?

— Нет-с.

— Ну вот, пойдете, посмотрите при утреннем освещении, каков вид-то!

Целым рядом комнат прошли они на противоположную сторону дома и вышли на балкон. Солнечное утро пахнуло им навстречу; оба старика поздоровались с суетившейся около дымящегося самовара Прасковьей Николаевной, такой же свежей и розовой, как солнечное утро.

— Она у меня ведь ранняя пташка, — сказал Гаврила Романович, — прочие неженки, извольте видеть, еще сладко дрыхнут, а она уж все для нас приготовила.

— Можно, дяденька, налить вам и Ивану Афанасьичу? — спросила племянница и взяла кофейник.

— Наливай, душенька, наливай, а мы вот с ним покуда оглядимся.

— Что, вас никак смущают сии смертоносные орудия? — с усмешкой спросил он, видя, что гость в недоумении остановился перед одной из небольших чугунных пушек, постав-

ленных на балюстраде балкона. — Вот нынче вечером узнаете их назначение, — загадочно добавил он, — а покамест полюбуйтесь-ка картиной природы. Ну что, как находите, сударь мой?

Прислонившись к одному из столбов, на которых лежала крыша балкона, Дмитревский засмотрелся на расстилавшуюся внизу панораму. Перед каменной лестницей балкона, среди клумб цветов, бил фонтан, начиная от которого уступами шел довольно крутой спуск к Волхову. Голубая лента реки красиво извивалась между желтеющими нивами, зеленеющими лугами, а плывшие по ней барки и лодки приятно оживляли этот мирный сельский вид. У берега, прямо против усадьбы, были привязаны к плоту большая крытая лодка и маленький ботик.

— Это моя флотилия, — самодовольно объяснил Гаврила Романович, — на «Гаврииле» мы ездим всей семьей к соседям...

— На "Гаврииле"?

— Да, вон — на той лодке: она окрещена так в честь моего ангела-хранителя.

— А имя ботику, как вы полагаете, — ка-

кое? — слышался со стороны стола звонкий голосок молодой хозяйки.

— Пашенька? — спросил наугад гость, лукаво улыбнувшись.

— И не угадали! — засмеялась она в ответ. — У дяди есть еще большая любимица.

— Тайка?

— Ну да!

— Так-с.

Державин только погрозил пальцем племяннице, а потом показал Дмитревскому в сторону, где за плетнем темнела кудрявая купа деревьев.

— А там мой сад фруктовый. Сам сажаю, и, не поверите, какая улада собирать потом плоды рук своих!

— Но та беседка, вон, что на холме, дяде еще милее, — заметила Прасковья Николаевна, указывая в свою очередь на видневшуюся в отдалении, на высоте, беседку, — там он по целым часам беседует со своей Музой...

— Из-за нее забывает и жену, и весь остальной мир! — внезапно раздался позади говорящих другой женский голос.

В дверях балкона стояла сама супруга ста-

рика поэта, Дарья Алексеевна. После обычных взаимных приветствий она пригласила гостя за стол и продолжала:

— Видите направо флигель? Это ткацкая, где ткутся у меня сукна да полотна. А спросите-ка Гаврилу Романыча, когда он в последний раз был там?

— И не дай Бог мне, душенька, без спросу вторгаться в твою область! — добродушно отозвался муж. — Ведь и ты не тревожишь же моей Музы?

Понемногу на балконе собралось все остальное заспавшееся общество. Веселый неумолчный говор и смех огласили воздух.

— Только не по-заморскому болтайте, детки! — заметил Гаврила Романович, когда слышалось несколько французских фраз. — Смотрите, чтобы с вами не случилось того, что друг мой Шишков, Александр Семеныч, проделал с девицей Турсуковой.

— Что ж он сделал с нею, дяденька?

— Что? А вот что. Был у этой девицы роскошный рисовальный альбом, вывезенный из Парижа; были в нем рисунки разных светил живописи, а подписи-то все были

французские, даже русских художников.

— Какой позор! — сказал Александр Семеныч. — Русский художник рисует для русской девицы — и стыдится подписаться русскими буквами; совсем исковеркал свое бедное имя!

Как на грех подвернулся тут шутник-племянник (на манер вот моего Сени).

— Да не угодно ли, — говорит, — дядя, перо и чернил?

— Давай! — сказал Александр Семеныч; взял перо, обмакнул в чернила да и переправил все как есть подписи на русский лад; а на первой, заглавной странице настрочил собственный куплетец:

*Без белил ты, девка, бела,
Без румян ты, девка, ала;
Ты честь, хвала отцу, матери,
Сухота сердцу молодецкому.*

Внизу же, как подобает, расчеркнулся:

"Александр Шишков".

Анекдот хозяина еще более развеселил молодых мужчин. Барышни, напротив, надули губки.

— А что же сказала девица на такую

непрошеную любезность? — спросила одна из барышень. — Поблагодарила?

— От радости слов не нашла: расплакалась, а альбом отправила опять в Париж — вывезть помарки; но стихи Александра Семеныча не похерила-таки, сохранила!

— Теперь, однако ж, и Александру Семенычу икается, — вступился за обиженную девицу Дмитревский.

— Что так?

— Да так-с... Задевают уж больно его с «Беседой» молодые «карамзинисты»: сочинили стихотворный пасквиль...

Тут кстати будет сказать несколько слов по поводу упомянутой Дмитревским «Беседы» — литературного общества, к которому принадлежал и Державин.

Когда в конце прошлого столетия начинающий еще писатель Карамзин стал печатать свои "Письма русского путешественника", чисто разговорный язык этих писем (помимо их любопытного содержания) возбудил к автору их симпатии большинства читателей, особенно молодого поколения. Зато приверженцы старинного слога ополчились против него, и

глава их, академик Шишков, выпустил свое знаменитое "Рассуждение о старом и новом слоге". Ближайший друг Карамзина, известный также в свое время стихотворец Дмитриев, уговаривал его написать возражение. Карамзин, который, между тем был сделан историографом (31 октября 1803 г.) и порвал уже всякую связь с текущей литературой, долго отнекивался. Наконец, вынужденный уступить, он написал обширную статью против Шишкова и прочел ее своему приятелю.

— Одобряешь? — спросил он его.

— И весьма! — был ответ.

— Ну вот, — сказал Карамзин, — я исполнил твою волю. Теперь позволь мне исполнить свою...

И с этими словами он бросил тетрадь в камин.

Но друзья его не утомонились. Молодой талантливый писатель Дашков в брошюре своей "О легчайшем способе отвечать на критику" разобрал «Рассуждение» Шишкова, как говорится, по косточкам и доказал незнание им основных правил русского и славянского языков. Вслед за ним и прочие молодые литера-

торы в журналах и отдельных брошюрах осыпали Шишкова градом насмешек. Тот бросился за советом к своему сотоварищу по старинному слогу, Державину: что ему делать?

— Да махнуть рукой, — отвечал Гаврила Романович совершенно в том же примирительном духе, как отвечал Дмитриеву Карамзин. — Мудрость в середине крайностей. Дунь на искру — разгорится, сказал Иисус Сирах, а плюнь — так погаснет.

Шишков на вид смирился, не стал препираться с врагами печатно. Но по его почину шишковисты (как назывались тогда последователи старинного слога) начали собираться друг у друга для "противоборства нашествию иноплеменных". Большая часть «шишковистов» были литературные посредственности, о которых в наше время даже никто и не говорит. Но были между ними и выдающиеся таланты: Державин, Крылов, Гнедич, князь Шаховской (Гнедич, впрочем, впоследствии вышел из их кружка). Державин, у которого был прекрасный барский дом в Петербурге, с колоннами по бокам и статуями четырех богинь над главным фасадом, отвел у себя для

этих сборищ большой зал в два света, а на хоры поставил орган. Так образовалось литературное общество, сначала названное «Ликеем», потом «Атенеум» и наконец "Беседой, или Обществом любителей российской словесности". Устав нового общества был представлен министром народного просвещения графом Разумовским на высочайшее утверждение, и первое публичное чтение «Беседы» состоялось 11 марта 1811 года. Ожидали даже, что будет государь. Для приветствия его Державин сочинил гимн "Сретение Орфея Солнца", который Бортнянский положил на музыку. О новом обществе шло в высшем кругу уже так много толков, что на первое заседание стеклась вся столичная знать, числом не менее 200 человек. Но государь чем-то был задержан и не приехал. С тех пор собрания «Беседы» вошли в моду, и весь цвет Петербурга — блестящие мундиры и бальные платья разукрасили державинский зал. «Беседа» гремела и торжествовала, особенно с тех пор, как Шишков, один из четырех председателей ее (другими тремя были: Державин, А. С. Хвостов и Захаров), сделался президентом Российской

академии, а попечителями четырех отделов «Беседы» были назначены четыре министра, в том числе прежний недруг Шишкова, Ив. Ив. Дмитриев, а Карамзин, родоначальник молодой партии, был избран в почетные члены "Беседы".

И вдруг теперь, когда он, Гаврила Романович, правая рука Шишкова, удалился только на лето в деревню, чтобы набраться к осени свежих сил, близкий приятель и гость его, Иван Афанасьевич Дмитревский, сам состоявший почетным членом «Беседы», позволяет себе во всеуслышание, при его домашних, говорить о каком-то пасквиле на Шишкова!

— Да автор-то пасквиля не известен? — спросил Державин, нахмутив брови.

— Называют Дашкова.

— Опять этот Дашков!

— А вы, Иван Афанасьич, не помните тех стихов? — неосторожно спросил один из молодых людей.

— Как не помнить. Не совсем еще память отшибло.

— Скажите их нам!

— Да вот, как дядюшка ваш...

— Позвольте, дядя, сказать их?

— Да ведь они, верно, злы и непристойны?

— Злы — да, несомненно; непристойны — нет.

— Что ж, пожалуй, говорите, — нехотя разрешил Гаврила Романович.

Дмитревский поднял глаза к стропилам балкона и начал каким-то замогильным голосом, но с обычным своим искусством:

*Мятеся сонм, но вдруг, три-
кратно
Прокашлявши, встает Шиш-
ков, —
Шишков, от чьих речей зевают,
Кого читатели не знают,
Но знает бедный Глазунов...[16]
[17]*

*Встает — в молчании глубоком,
Благоговеют все пред ним.
Вращая всюду мрачным оком, —
В церковном слоге и высоком,
Гласит к сочленам он своим:
"Воспряньте, други, от покоя!
Настал бо лютый распри час!
На то сию «Беседу» строя,
В едину купу собрал вас..."*

Несколько раз хозяин порывался перебить декламатора, но тот упорно глядел в потолок. Дойдя до последнего стиха, он, будто спросонья, захлопал глазами, недоумевая огляделся.

— Что, не заснули еще, господа? А меня уж, признаться, совсем в сон клонит... — добавил он, зевая в руку.

— Зевота ужасно заразительна! — засмеялась одна из барышень, также закрывая рот рукою.

— Особенно когда речь идет о "Беседе", — подхватил Капнист, громко уже зевая.

Кругом раздались общие зевки, общий смех.

— И вовсе не смешно, а неприлично! — с неудовольствием заметил Державин.

— Но согласитесь, дяденька, — сказал племянник, — что чтения «Беседы» крайне сухи, и только басни Крылова несколько разгоняют скуку.

— Чтения наши, друг мой, служат не ребячьей забаве, а родной словесности: они насквозь пропитаны русским духом...

— Да Карамзин-то, который написал "Марфу Посадницу", который пишет теперь "Исто-

рию государства Российского", — разве менее русский, чем мы с вами? И не сами ли вы, дядя, предложили его в почетные члены "Беседы"?..

— Вот пристал! — отмахнулся дядя. — Ты меня, любезный, чего доброго, еще в карамзинскую веру совратить хочешь?

— Да не мешало бы, дядя...

— Что?! Вот не было печали...

Дарья Алексеевна, видя, что спор их начинает принимать слишком острый характер, озаботилась дать разговору другое направление. Подойдя к перилам балкона, она крикнула вниз, к реке:

— Девчонка! А, девчонка!

Дмитревский машинально оглянулся. На плоту у берега реки стояла 70-летняя старушка с подобранным подолом и удила рыбу, никакой другой «девчонки» кругом не было видно. Но что окрик хозяйки относился именно к ней, подтвердилось тем, что старуха, наскоро оправив подол и свернув лесу на удилище, откликнулась в ответ:

— Сейчас, сударыня!

— Почему вы ее называете девчонкой? —

удивился Дмитревский.

— Да так, знаете, по старой привычке, — отвечала Дарья Алексеевна. — Анисью Сидоровну дали мне еще в приданое, и она у меня здесь, в Званке, теперь то же, что у Гаврилы Романыча его Михалыч.

Когда Анисья Сидоровна поднялась по коридору к балкону, барыня приказала ей распорядиться достать из огорода арбуз, "да поспелее".

— Гаврила-то Романыч у нас ведь, кроме арбузов, никаких фруктов не уважает, — пояснила она гостю.

До обеда Иван Афанасьевич удалился в отведенный ему покой, чтобы отдохнуть часок. Когда он вышел затем в гостиную, то застал уже там несколько соседей-помещиков, за которыми было нарочно послано в честь редкого столичного гостя. Ожидали еще из села Грузина, отстоящего от Званки всего на 18 верст, всесильного тогда военного министра, графа Аракчеева; но оказалось, что тот был вызван в Павловск по случаю описанного нами выше царского праздника и в имение свое еще не возвратился.

— Знал бы, так не переодевался бы! — сказал Державин, с сожалением оглядывая на себе коричневый фрак, короткие брюки и сапожки, которые заменили теперь столь милые ему халат и туфли, и поправляя на голове парик с косичкой, заступивший место столь удобного колпака.

Несмотря, однако, на отсутствие именитого соседа, а может быть, именно благодаря его отсутствию, обед прошел чрезвычайно оживленно. Предложенный хозяином первый тост за императора Александра и августейшую мать его Марию Федоровну был единодушно подхвачен всеми.

На этот раз Гаврила Романович отказался, в виде исключения, даже от короткого послеобеденного сна.

— Теперь, государи мои, покорнейше прошу следовать за мною на вольный воздух, — предложил он гостям и, весело посвистывая, вышел впереди всех.

Неразлучная с ним Тайка с пронзительным лаем выбежала вслед за ним и от радости, что может погулять, запрыгала и закружилась у его ног.

Все общество длинной вереницей потянулось к тому холму с беседкой, где старик поэт (как рассказывала поутру Дмитревскому Прасковья Николаевна) всего чаще вдохновлялся. Последним поплелся своей дрожащей походкой, поддерживаемый казачком, старец актер.

У подножия холма шумела уже толпа разряженных крестьянских парней и девушек; в стороне чинно стояла кучка деревенских хозяев-мужиков и баб. Когда все общество «господ» расположилось в беседке и по зеленому скату холма приблизился мажордом Михалыч в сопровождении двух дворовых, которые несли за спиной туго набитые мешки, Гаврила Романович поднялся на ноги, обнажил голову и, указывая на Дмитревского, сказал собравшемуся внизу народу такую речь:

— Вот старый друг и приятель мой из Питера привез добрую весточку, что наш царь-батюшка благополучно вернулся из чужих краев восвояси. Матушка-царица устроила ему пир горой, какого не было, говорят, и не будет. Возрадуемся же и мы, верноподданные, насколько средств и уменья наших хватит.

Вали!

Последнее слово относилось к двум дворовым, которые не замедлили развязать принесенные ими мешки и высыпать под гору что там было. По всему скату покатались, запрыгали краснощекие яблоки, сорванные, как видно, только что с дерев барского фруктового сада. То-то потеха для мужской деревенской молодежи! С криком и смехом, толкаясь и валясь друг на дружку, парни брали каждое яблоко с бою. Девушки скромно отстранились. Между тем Михалыч мигнул двум другим дворовым, и те поднесли сошедшему вниз барину один — корзину с разными лакомствами и принадлежностями сельского женского туалета, а другой — бутыль полугара и серебряный стаканчик.

— Подойдите-ка сюда, красные, да и вы, молодушки и старушки, — кивнул Гаврила Романович девушкам и бабам.

Подталкивая друг друга, хихикая и закрываясь рукавами, они стояли на месте, не решаясь подойти.

— Чего закобянились? Аль не понимаете барской ласки? — проворчал на них Миха-

лыч.

Тогда одна за другой, не без робости и жеманства, стали подходить они к барину. Отдав короткий поклон, каждая поскорее отходила опять от него, унося с собой либо полный передник орехов и пеструю ленту, либо пригоршню пряников, леденцов и пестрый платочек.

После прекрасного пола настал черед непрекрасному: каждый бородатый крестьянин получал из собственных рук барина полный до краев стаканчик "зелена вина". Зажмурясь от удовольствия и кряхнув, каждый обтирал рукой мокрые усы и со словами: "Доброго тебе здоровья, барин" — уступал место следующему.

— И любят же они Гаврилу Романыча: по глазам видно! — отнесся Дмитревский к стоявшему около него молодому Капнисту.

— Как им его не любить! — отвечал тот. — Они у него как у Христа за пазухой: скотский ли падеж у них, неурожай или пожар, он купит им и корову, и лошадь, даст хлеба, выстроит новую избу.

Наибольшее удовольствие, казалось, испы-

тывал сам Гаврила Романович.

— Конец первого действия — и занавес опускается! — весело объявил он гостям, окончив раздачу. — Теперь пойдут у них хороводы и игрища. Кому любо — пусть посмотрит, а мы, старички, примемся за бостон. Не так ли, Иван Афанасьич?

— Как прикажете, ваше высокопревосходительство!

— Оставьте-ка теперь в покое мой чин! А то не угодно ли, может, в шашки-шахматы или просто стариной тряхнуть — тарабара про комара? Прошу, господа, за мной!

Подпевая, он бодро направился опять во главе гостей обратно к дому. Здесь в кабинете были уже расставлены ломберные столы; за одним из них поместился вместе с хозяином Дмитревский. В открытые окна неслись к ним нескончаемые хороводные песни. Немного погодя из гостиной раздались веселые звуки клавесина: молодые «господа» также затеяли танцы. Наконец и эти звуки были заглушены духовой музыкой под самыми окнами.

— Каково наострились-то? — похвалился

хозяин. — А ведь из своих же крепостных!

Но картежникам за музыкальным шумом нельзя было уже расслышать собственных слов, и один из них встал, чтоб притворить окна и дверь.

— Что, разве громко? — будто удивился Гаврила Романович:

*Они немножечко дерут,
как говорит друг мой Иван Андре-
ич (Крылов):*

*Зато уж в рот хмельного не бе-
рут,*

И все с прекрасным поведением...

С наступлением сумерек балкон засветился пестрыми фонарями, а с лодки, выехавшей на середину Волхова, стали взлетать к темному небу разноцветные ракеты, отражавшиеся в подвижном зеркале реки.

— Не то, понятно, что у вас, в Павловске, — говорил хозяин Дмитревскому, стоявшему вместе с ним у окна, — а все же ведь изрядно, а? И все-то дело рук молодца-племянника, Сени!

Подбежавший к барину Михалыч шепнул ему что-то на ухо.

— Пали! — сказал тот и предупредил гостя: — Вы только не очень пугайтесь.

Вслед за тем с балкона грянуло шесть подряд оглушительных пушечных выстрелов, и в то же время весь скат к реке, усадьба с окружающими ее деревьями и группы пировавших под ними крестьян были ярко залиты бенгальскими огнями. Нескончаемые крики пирующих послужили красноречивым ответом на этот финал праздника.

— Помните стихи мои? — спросил Державин Дмитревского:

*Из жерл чугунных гром по праздни-
кам ревет;
Под звездной молнией, под свет-
лыми древами
Толпа крестьян, их жен — вино и
пиво пьет,
Поет и пляшет под гудками...*

Воспоминание о первых двух днях пребывания в Званке так глубоко врезалось в память старика актера, что, возвратясь в Петербург, он, по старческой болтливости, не раз передавал до мельчайших подробностей все испытанное им внуку своему, бывшему гу-

вернеру лицейскому, Иконникову, а от последнего, как мы скоро увидим, узнали то же и наши лицеисты в Царском Селе, куда мы теперь и попросим читателей.

Глава VIII

Убежище лицеистов

*Вот он, приют гостеприимный...
Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство...
"Из письма к Я. Н. Толстому"
Наставникам, хранившим юность на-
шу,
Всем честно, и мертвым, и живым,
К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.
"19 октября"*

Второй день уже Пушкин лежал в лазарете. Был ли он тогда действительно болен? Об этом не сохранилось достоверных сведений. Несомненно одно, что добрейший доктор Пешель, начинавший также ценить назревавший талант молодого лицеиста, по первому его требованию охотно отводил ему больничную койку, на которой Пушкин имел полный досуг предаваться своей стихотворной страсти. Здесь-то возникли многие из лучших строф его лицейских стихотворений.

— Что-то опять стряпает Пушкин? — говорил шепотом горячий поклонник его, Кюхельбекер, сидевшему в классе рядом с ним Дельвигу. — Если б только подглядеть в его поэтическую кухню...

— И испортить ему всю стряпню, — хладнокровно досказал Дельвиг. — Ты очень хорошо знаешь, Кюхля, что Пушкин терпеть не может, когда ему мешают.

— Знаю, дружище, знаю, и потому сам уж к нему без спросу ни ногой. Но что бы тебе, Тося, спуститься к нему в лазарет и осторожно выпытать, не прочтет ли он нам хоть того, что у него готово? На тебя-то, закадычного друга, он не рассердится.

Дельвиг пожал плечами.

— Пожалуй, узнаем.

Результат визита Дельвига к своему «закадычному» другу был неожиданно благоприятный: все записные лицейские поэты, в том числе и Кюхельбекер, получили негласное приглашение в лазарет. Новый надзиратель, подполковник Фролов, который с первого же дня вступления в должность своим солдатски-резким обращением с воспитанниками

успел поставить между собой и ими непреступную стену формализма, отнюдь не должен был знать об этом сборище в "не показанном" для того месте. Поэтому один только дежурный гувернер Чириков, верный и испытанный покровитель лицейской Музы, был посвящен в тайну. Под его-то прикрытием, собравшись после 5-часового вечернего чая на обычную прогулку, приглашенные отделились от остальных товарищей и завернули в лазарет.

— Извините, господа, что я вас принимаю в таком, не совсем салонном, облачении, — развязно встретил их хозяин-Пушкин, запахивая на груди свой больничный халат. — Прошу садиться.

Гости, пошучивая также, расположились кругом на чем попало: на кровати, на столе, на табуретах.

Всем было очень любопытно прослушать новейшее произведение первенствующего собрата. Но ни у кого нетерпение не выразилось так явственно, как у Кюхельбекера. Присев было на край кровати, он тотчас вскочил опять на ноги, потому что и сам Пушкин со

своими стихами в руках остался стоять посреди комнаты.

— Позволь мне, Пушкин, стать около тебя, — проговорил он заискивающим голосом. — Ты ведь знаешь, я немножко тут на ухо от золотухи...

— Хорошо! — сказал Пушкин. — Только ты все же не стеклянный. Отойди-ка от света.

— Ах, прости, пожалуйста!

— Так и быть, прощаю. Пьеса моя, господа, носит название "Пирующие студенты". По заглавию вы уже, конечно, догадываетесь, что студенты эти — мы.

— Эге! Вот оно что! — обрадовался Кюхельбекер и стал потирать руки. — Но когда же мы, однако, пировали?

— А ты, видно, прозевал? Поздравляю! Пирушки наши, Сергей Гаврилыч, как вы знаете, происходят у профессора Галича и в действительности самые трезвые, — продолжал Пушкин, обращаясь к гувернеру, — чай да булочное печенье, но в стихах позволителен некоторый полет фантазии, *licentia poetica* (поэтическая вольность).

— Ну ладно, читай! — нетерпеливо переби-

ли его товарищи.

— *Друзья! Досужный час настал,
Все тихо, все в покое... —*

начал поэт. Все кругом притаилось; можно было, кажется, расслышать полет мухи, если бы в то время года водились мухи. Но вот автор предлагает избрать президента «пирующих». Кого-то он назовет? -

*Апостол неги и прохлад,
Мой добрый Галич, vale!..
Главу венками убери —
Будь нашим президентом...*

— Браво! Браво! — раздались вокруг одобрительные голоса.

— Дайте же ему читать, господа! — умоляющим тоном промолвил Кюхельбекер.

Пушкин продолжал:

— *Дай руку, Дельвиг! Что ты
спишь?
Проснись, ленивец сонный!
Ты не под кафедрой сидишь,
Латынью усыпленный.
Взгляни: здесь круг твоих друзей...*

При первом же обращении Пушкина к сво-

ему другу-поэту взоры всех присутствующих устремились на Дельвига, на бледных щеках которого вспыхнула даже легкая краска. Но вскоре оказалось, что автор никого из приятелей-поэтов не обошел, и, когда он называл того или другого, остальные, кивая, подмигивая или просто улыбаясь, оборачивались к называемому. Сейчас за Дельвигом упоминался известный мастер на экспромты и эпиграммы, Илличевский:

*Остряк любезный! По рукам!
Полней бокал досуга!
И вылей сотню эпиграмм
На недруга и друга!*

За Илличевским следовал князь Горчаков, "красавец молодой, сиятельный повеса", а за Горчаковым — Пущин. Когда Пушкин начал только:

*— Товарищ милый, друг прямой,
Тряхнем рукою руку... —*

и машинально протянул к нему руку, — Пущин, в порыве дружбы, схватил ее да так потряхнул, что у Пушкина суставы хрустнули, и он невольно вскрикнул.

— Да разве в самом деле больно? — всполошился Пуцин и принялся растирать пальцы друга.

— Эй, фельдшер! Свинцовой примочки! — крикнул шутливо Илличевский.

— Шпанскую мушку! — подхватил кто-то другой. Среди общей веселости Пушкин закончил куплет, посвященный Пуцину:

— *Нередко и бранимся...*
И тотчас помиримся.

— Да как с тобой не помиришься, голубчик? — вполголоса заметил Пуцин.

Едва замолкший смех опять возобновился, когда очередь дошла до Яковлева:

А ты, который с детских лет
Одним весельем дышишь,
Забавный, право, ты поэт,
Хоть плохо басни пишешь...

— Да я никогда и не рассчитывал, господа, угоняться за вами, — скромно отнесся Яковлев к трем светилам лицейским: Пушкину, Дельвигу и Илличевскому.

— Ну что ж это, право! Совсем слушать не дают! — заворчал опять Кюхельбекер, кото-

рый, как видно, уже смутно чуял, что и на его пай перепадет стишок.

Но ему пришлось несколько потерпеть: ранее его были упомянуты еще двое: Малиновский -

*...повеса из повес,
На шалости рожденный,
Удалый хват, головорез,
Приятель неизменный... —*

и Корсаков, "певец, любимый Аполлоном", воспевающий "властителя сердец" "гитары тихим звоном".

"Неужели он меня одного забыл? — мелькнуло в голове Кюхельбекера, когда по интонации голоса чтеца можно было уже заключить, что чтение подходит к концу. — За что ж такая немилость?"

*— Где вы, товарищи, где я?
Скажите, Вакха ради.. —
начал Пушкин последний куплет. —
Вы дремлете, мои друзья,
Склонившись на тетради...
Писатель за свои грехи!
Ты с виду всех трезвее;*

*Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне уснуть скорее.*

Эффект от заключительной эпиграммы вышел полный. Кюхельбекер, почти помирившийся уже с мыслью, что он забыт, был ошеломлен, как ударом кулака в лоб; остальные же слушатели, забыв уже про автора, как по уговору, всей гурьбой кинулись к Вильгельму и, наперерыв прижимая его к груди, приговаривали:

— Вильгельм! Прочти свои стихи -
Чтоб нам уснуть скорее!

Теснимый со всех сторон, Вильгельм рычал, как медведь, неуклюже отбиваясь. Когда же, благодаря заступничеству Пушкина, он высвободился наконец от непрошенных объятий, то Пушкин должен был, по настоятельной его просьбе, вторично прочесть стихи сначала, причем Кюхельбекер, по своему природному добродушию, сам уже с другими смеялся над усыпительностью своих стихов.

— С Дельвига ты начал, мною кончил, стало быть, он — альфа, а я — омега лицейских "снотворцев", — самодовольно сострил он.

— С тою только существенною разли-

цею, — пояснил остролов Илличевский, — что ты «снотворствуешь» в действительном залоге, а Дельвиг в страдательном, ты усыпляешь, а он засыпает.

По поводу приведенного выше стихотворения "Пирующие студенты" кстати будет здесь подтвердить еще раз то, что говорил Пушкин Чирикову о собраниях у профессора Галича: как свидетельствуют участники этих собраний, «пирушки», описываемые во многих лицейских стихах Пушкина, происходили исключительно в пылком воображении молодого поэта, подобно тому как он свою "монастырскую келью" в лицее "для красоты слога" очерчивает в послании "К сестре" так:

*Стул ветхий, необитый
И шаткая постель,
Сосуд, водой налитый,
Соломенна свирель...*

От солдатской «муштровки» надзирателя Фролова лицеистам необходимо было какое-нибудь убежище, где бы можно было им поразмять члены, перевести дух; и вот таким-то убежищем служила уютная комнатка гостеприимного Галича. За стаканом чая да

трубкой действительно запрещенного табаку они могли тут по душе наговориться — о чем? Да прежде всего, разумеется, о своих литературных делах. В одном из своих посланий к Галичу Пушкин пишет:

*Смотри, тебе в награду
Наш Дельвиг, наш поэт,
Несет свою балладу
И стансы винограду...
И все к тебе нагрянем —
И снова каждый день
Стихами, прозой станем
Мы гнать печали тень.*

Но чтением друг другу собственных своих юношеских опытов далеко не исчерпывались эти беседы лицеистов. Зачитываясь вновь выходящими журналами, всевозможными историческими и даже философскими книгами из лицейской библиотеки, они, под свежим впечатлением прочитанного, имели неодолимую потребность обмениваться возбужденными в них новыми мыслями, изощряться в «празднословии» и «праздномыслии» (собственные выражения Пушкина).

Меж ими все рождало споры

*И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые...*

"Евгений Онегин"

Одно, впрочем, из таких сборищ у Галича, особенно бурное, имело преимущественно учебный характер. Дело в том, что общий шестилетний курс лицейский разделялся на два трехгодичных — младшего и старшего возраста. Между тем 19 октября 1814 года истекло уже первое трехлетие пребывания Пушкина и его товарищей в лицее, и для перехода в старший курс им предстояло теперь сдать по всем предметам полный экзамен, который, в довершение всего, должен был происходить еще публично. Хотя для облегчения лицейстов экзамен этот был отложен до января 1815 года, тем не менее они трепетали не на шутку.

— Помилуйте, Александр Иваныч! На вас вся надежда! — пристали они к Галичу, как только собрались опять у него.

— То-то! Взялись за ум, да поздно! — подтрунил над ними молодой профессор. — О чем же вы, господа, раньше-то думали?

— Гром не грянет — мужик не перекрестится, — заметил Горчаков. — А впрочем, на Бога надейся, да сам не плошай, говорит другая пословица.

— Ну да! Тебе-то, Горчаков, хорошо толковать, — возразил Пушкин. — Тебя, да Вальховского, да, пожалуй, зубрилу Кюхельбекера хоть сейчас проэкзаменуй — не срежетесь. Зато мы, прочие, провалимся... до центра земли!

— А кто же виноват в этом, друг мой? — спросил Галич.

— Да уж, разумеется, не мы.

— Не вы? Так уж не мы ли, ваши наставники?

— А то кто же? Зачем нас порядком не приструнили?

— Так, так. С больной головы да на здоровую...

— Нет, господа, — вмешался Пущин, — виновато во всем наше беспутное междуцарствие: нет твердой руки над нами — и все

вновь расползлось.

— А новый надзиратель ваш, Фролов? — спросил Галич. — Кажется, человек твердый!

— Да, как камень! Но мы все-таки, как бы то ни было, не совсем уж дети или пешки; а он как нами помыкает:

— Руки по швам! Цыц! Молчать!

— Позвольте объяснить вам, Степан Степаных... — начнешь, бывало, только.

— Что-о-о-с? Вы еще объясняться? Молокососы!

— Извините, Степан Степаных, молокосами нас даже профессора не называют.

— Молчать, говорят вам! Марш в карцер! Еще рассуждать вздумали!..

Рассуждать, конечно, перестанешь, но — и слушаться тоже.

— Вот это напрасно, — сказал Галич, — он, так ли, сяк ли, ваш первый начальник, потому что Гауеншильд хотя и числится за директора, но так занят своим пансионом, что ему не до вас. А что Степан Степаных ввел у нас некоторый порядок — этого, я думаю, вы не станете отрицать. Новый эконо, Камараш, кормит вас ведь лучше Золотарева?

— Лучше. Но ведь это новая метла, Александр Иванович...

— Все равно; на продовольствие вам пока, стало быть, жаловаться нельзя. Затем, по предложению же Фролова, у вас введено теперь фехтование, введены танцы. То и другое как упражнение в телесной ловкости вовсе не лишнее. Далее: он хлопочет уже о том, чтобы сделать для вас обязательным и верховую езду, то есть то самое, что до сих пор было только привилегией графа Броглио. Словом, он не знает покоя, стараясь сделать из лица образцовое, по его понятиям, заведение.

— По его понятиям — да! — подхватил Пушкин. — Он, может быть, и сделал для нас то, другое, но все это не выкупает тех стеснений, которые мы от него выносим. Воспитанник закрытого учебного заведения, согласитесь, должен чувствовать там себя более или менее как дома; лицей и был для нас до сих пор как бы родным домом; но, по милости Фролова, он скоро, кажется, совсем нам опостылит.

— Эх, господа! — сказал Галич. — Немножечко обкарнали вас крылышки, чтобы да-

леко не залетали, так вы уж и судьбу свою клянете. Чтобы верно судить о предмете, надо сравнивать его всегда с другими однородными. Слышали вы про иезуитский коллегиум в Петербурге?

— Как не слышать! — отвечал Пушкин. — Меня самого даже родители предполагали сперва пристроить туда; но тут как раз открылся лицей — и меня отдали сюда.

— Благодарите же Бога, что не попали к иезуитам!

— А что же? Ведь коллегиум их считается в Петербурге чуть ли не самым аристократическим заведением?

— Многие аристократы, точно, отдают туда своих детей. Но почему? Потому, что коллегиум в моде, а в моде потому, что все предметы, даже русская словесность, преподаются там по-французски; французский же язык нынче для нас дороже своего отечественного! Наконец, древние языки, а также и математика, как слышно, идут там довольно успешно. Зато родная речь и православный Закон Божий в полном загоне.

— Потому, верно, что начальство учили-

ца — католические патеры?

— Да. На устах ведь у этих господ христианское милосердие, а на деле — неумолимая строгость.

— На языке мед, а под языком лед?

— Буквально. За малейший проступок воспитанники лишаются свободы и пищи, подвергаются телесному наказанию. Но это еще не все. Они шагу ступить не могут, чтобы обо всем не узнало сейчас их начальство.

— Какими же путями?

— А во-первых, в дверях дортуаров у них, конечно, проделаны такие же решетки, как и у вас здесь, в лицее. Но, по природному благодушию русского человека, гувернеры ваши нимало не стесняют вас своим надзором. Питомцы же иезуитов ни на минуту не могут быть уверены, что из-за решетки не следит за ними зоркий глаз, чуткое ухо дежурного патера. Они не могут быть даже уверены в собственных своих товарищах: выбранные начальством из их же среды аудиторы переспрашивают уроки и непокорных выдают головою. А несколько человек из них, без ведома остальных, играют роль шпионов и донос-

чиков, по иезуитскому правилу: цель оправдывает средства...

— Но это Бог знает что такое! Это не жизнь, а ад! — ужасались лицеисты.

— И я чуть было не угодил туда... — проговорил, с дрожью в теле, Пушкин.

— Зато стали бы тихим, аки агнец, и мудрым, аки змий! — с горькой усмешкой заметил Галич.

— И как это еще терпят у нас подобное заведение?

— Пока терпели; но дни господ иезуитов, я слышал, уже сочтены.[18] Так вот, друзья мои, и извольте-ка сравнить положение тех воспитанников с вашим. Телесных наказаний у вас не допускается уже по самому уставу лицея. Свобода ваша ничем почти не стеснена. Вы видаетесь с вашими родными когда угодно; гуляете по парку и между публикой у музыки без опасения, что кто-нибудь вас подслушает; вы бываете даже в городе на домашних спектаклях у графа Толстого; собираетесь вот у меня для литературных бесед; наконец, можете посвящать страсти вашей к поэзии все ваше досужное время...

— И даже недосужное! — подхватил весельчак Илличевский. — Недавно, знаете, на уроке алгебры у профессора Карцова вышел презабавный анекдот. Пушкин, как обыкновенно, уселся на задней скамейке, чтобы удобнее, знаете, было писать стихи. Вдруг Яков Иваныч вызывает его к доске. Он очнулся, как со сна, идет к доске, берет мелок в руки да и стоит с разинутым ртом.

— Чего вы ждете? Пишите же! — говорит ему Яков Иваныч.

Стал он писать формулы, пишет себе да пишет, исписал всю доску. Профессор смотрит и молчит, только тихо, про себя, посмеивается.

— Что же у вас вышло? — спрашивает он наконец. — Чему равняется x ?

Пушкин сам тоже смеется.

— Нулю! — говорит он.

— Хорошо! — говорит Яков Иваныч. — У вас, Пушкин, в моем классе все кончается нулем. Садитесь на свое место и пишите стихи.

Анекдот Илличевского имел полный успех: все весело захохотали, начиная с Галича и кончая самим Пушкиным.

— Да ведь математика — Ахиллесова пята моя, — заговорил Пушкин. — Другое дело, например, не менее серьезный предмет — логика. Потому ли, что Куницын читает ее так занимательно, потому ли, что он лично так расположен ко мне, или же естественная логика дается мне легче искусственной — математической, — только к логике я готовлюсь всегда очень охотно.

— Хотя и не имеешь собственных записок! — смеясь, добавил Илличевский.

— На что мне они, коли я могу взять их всегда у любого из вас? — был легкомысленный ответ.

(Надо заметить, что в то время в лицее не было еще печатных руководств и лицеисты переписывали для себя тетради профессоров.)

— На меня, Пушкин, вам тоже, я думаю, нельзя жаловаться, чтобы я чересчур прижимал вас? — спросил Галич.

— О нет! Вы-то, Александр Иванович, очень снисходительны...

— Так кто же чересчур взыскателен? Кайданов?

— Нет, историю я тоже люблю и, обыкно-

венно, знаю урок.

— Так не де Будри же? Ведь недаром товарищи вас прозвали даже Французом.

— Нет, с Давидом Иванычем мы большие приятели, — отвечал Пушкин. — Но зато с немцем Гауеншильдом воюем не на жизнь, а на смерть.

— Только-то, значит? Нравом он, пожалуй, действительно, тяжел, но у него есть и свои достоинства: он хорошо знает свой предмет, он начитан. И из-за него-то одного вы, Пушкин, готовы разлюбить наш дорогой лицей?

— Вы забываете, Александр Иваныч, нового нашего надзирателя Фролова.

— Гм... да, хотя и он, как сказано, служит по мере сил и умения. Ну что ж, и на солнце есть пятна, так как же земному учреждению, лицейю, быть без них? По примеру древней Руси, земля наша велика и обильна, но порядка в ней нет. Однако вам-то, господа поэты, это только на руку: на невозделанной тучной ниве вашей рядом с сорными травами расцветают и пышные розаны — цветы истинной поэзии.

— Все это совершенно справедливо, Алек-

сандр Иваныч, — согласился деловым тоном Пущин, — но в данную минуту нам нужны не цветы, а плоды, или, вернее, горькие корни науки; по милости безначалия учение у нас, надо сознаться, шло это время довольно-таки плохо, и если вы, профессора, нас не выручите на экзамене, то мы вас поневоле уже не выручим.

— Да, видно, придется вас на сей раз хоть за виски вытянуть из воды! — сказал Галич.

— Хоть за виски! Сделайте божескую милость! — взмолились хором лицеисты.

— Постараюсь.

Молодой профессор сдержал свое обещание, и лицеисты, от первого до последнего, вышли сухи из воды.

Глава IX

Державин в лицее

*И славный старец наш, царей певец избранный,
Крылатым Гением и Грацией венчанный,
В слезах обнял меня дрожащею рукой
И счастье мне предрек, незнаемое мной.
"К Жуковскому"*

Наступило Рождество; но, вместо двухнедельного отдыха от классных занятий, лицеистов ждала теперь усиленная «долбня»: во время самых праздников, 4 января, предстоял им уже первый экзамен, а четыре дня спустя — второй. Правда, благодаря в особенности содействию Галича, задача им была значительно облегчена: секретно каждому из них было объявлено, какой билет, из чего и кого спросят. Но так как испытание должно было происходить публично и присутствующей публике предоставлялось право также предлагать воспитанникам вопросы, то им надо было быть готовыми на всякие случай-

ности. С утра до вечера шла «долбня» вперегонку, и даже в свободные часы, в рекреацию и за столом, только и было речи, что о научных премудростях.

Но вот от правления лица разослали приглашения присутствовать на экзамене родителям воспитанников и разным высокопоставленным лицам. В числе последних был и Державин. Понятно, что для лицейских стихотворцев ожидаемая встреча с "маститым бардом российским" отодвинула на задний план даже ближайшую злобу дня — экзамен. Поэты нового поколения, Батюшков и Жуковский, звучностью и плавностью стихов превосходившие напыщенного старика Державина, были им, правда, доступнее его и милее; но Державин стоял тогда на самой высоте своей авторской славы, и перед этим колосом отечественной поэзии вместе со всей образованной Россией безотчетно благоговели и юноши-лицейсты.

— Братцы! Видел ли кто-нибудь из вас Державина? — переспрашивали они друг друга.

Оказалось, что никто из них не только в глаза его не видал, но не имел и ясного поня-

тия о нем, как о человеке. Любопытство их в этом отношении вполне удовлетворил бывший гувернер лицейский Иконников, который хотя и жил теперь в Петербурге, но сохранил к своим прежним питомцам неизменную привязанность, и на рождественских праздниках, по обыкновению, "по образу пещего хождения", то есть пешком, опять навестил их в Царском Селе. Все, что рассказал ему его дед, актер Дмитревский, о пребывании своем в Званке у Державина, он передал теперь дословно лицеистам. Те, понятно, не проронили ни одного слова.

— Так Державин, стало быть, человек как человек! — с облегчением заметил Илличевский. — А мы, Александр Николаич, признаться, таки побаивались: он представлялся нам каким-то полубогом. Начальство же выдает ему нас головою.

— Как так? — спросил Иконников.

— Да так-с: всем нам задали сочинить рассуждение на одну из двух тем — "О причинах, охлаждающих любовь к отечеству" и "О цели человеческой жизни". Настрочили мы как умели и отправили наши писания в Питер, к

министру, чтобы он сам выбрал лучшее для прочтения на экзамене. На наше счастье, впрочем, взяли у каждого из нас также и лучшее, что написано нами без заказа. Я охотнее всего, конечно, дал бы свою новую комическую оперу...

— Комическую оперу? Вот куда у вас уж пошло!

— Да-с... вольный перевод, знаете, из Сегюра... Но потому-то именно, что не совсем свое, пришлось послать оригинальную мелочь: "Осенний вечер". Надеюсь, что и этой мелочью лицом в грязь не шлепнусь.

Так лицейские поэты, еще за две недели до экзамена, были празднично настроены ожидаемой встречей с Державиным. Тут возвратились и рукописи их от графа Разумовского. Увы! Илического надежда обманула; по собственному его выражению, он "шлепнулся лицом в грязь": оба произведения его — и заказное, и оригинальное — были забракованы. Из прозаических сочинений на заданную тему граф отдал предпочтение рассуждению Яковлева "О причинах, охлаждающих любовь к отечеству"; из стихотворных же выбор его

пал на пушкинские "Воспоминания в Царском Селе".

Молодой автор, втайне ликуя, перед товарищами, разумеется, старался не показать и виду. Но сердце в нем все же невольно замирало. До сих пор он сам ведь был так доволен своими стихами; а теперь, при мысли о Державине, который должен был произнести над ним последний приговор, — как неблагозвучны, как бессодержательны представлялись ему даже целые строфы! Ну, да чему быть, того не миновать: от своей судьбы не уйдешь!

Наконец настал и первый роковой день — 4 января 1815 года. Но мы не станем утомлять читателей подробностями экзамена. Предоставленная профессорами лицеистам льгота — отвечать на вперед заданные им вопросы — привела к желанному результату, судя уже по той хвалебной заметке, которая затем появилась в журнале "Сын Отечества":

"Испытание сие, удовлетворив ожиданиям публики, свидетельствует, с каким отеческим старанием начальство печется о образовании вверенного ему юношества".

Прибавим только от себя, что первыми оба

раза были вызываемы князь Горчаков и Вальховский, которые, несмотря на то что сам министр спрашивал их вразбивку по всему курсу, отвечали бойко, как по книжке, без запинки. После такого блестящего начала ни один уже из посторонних посетителей не воспользовался предоставленным им правом предлагать вопросы и прочим лицеистам, которые, таким образом, понятно, "удовлетворили ожиданиям публики". Если и были некоторые прорухи, то их совсем скрасил финал того и другого дня. Первый день испытания увенчался небольшою, но многосодержательною и цветистою речью профессора "нравственных наук" Куницына и «нравоучительным» рассуждением лицеиста Яковлева, прочтенным самим автором.

Второй день заключился еще более эффектно... Но мы забегаем вперед.

С утра уже этого второго дня лицейские стихотворцы были в сильном возбуждении: Державин, по старческой дряхлости отсутствовавший 4 января, обещал непременно быть сегодня, 8 числа, чтобы высказаться насчет их литературных дарований. С отцом

своим, Сергеем Львовичем, прибывшим также еще до начала экзамена, Пушкин мимоходом только поздоровался: все его мысли были устремлены на одного Державина.

— Я чувствую себя, точно молодой рекрут перед первым боем, — признался он Дельви-гу. — А тебе, барон, не жутко?

— Довольно с тебя, — отвечал тот, — что я проснулся нынче даже ранее звонка, что дал себе слово... ну да, дал себе слово поцеловать руку, написавшую "Водопад"!

— Вот как! А он ее тебе, ты воображаешь, так и подставит?

— Нет, я выжду его нарочно на лестнице, возьму да и поцелую.

— Посмотрим!

Дельвиг не шутил. Чтобы не пропустить случая, он еще до съезда большей части гостей вышел на парадную лестницу и стал дожидаться там на нижнем повороте. Пушкин остался на верхней площадке. Ждать им пришлось довольно долго. Наконец стеклянная дверь внизу снова стукнула, и швейцар стал торопливо снимать медвежью шубу с высоко-го, сторбленного старца. Перевесившись че-

рез перила, Пушкин видел сверху, как Дельви́г живо соскользнул по перилам до нижней площадки. В то же время донесся оттуда дребезжащий голос Державина, спрашивавшего что-то у швейцара.

Но что это с бароном? Он в двух шагах от великого старца поворотился вдруг налево кругом и без оглядки взлетел опять вверх по ступеням.

— Отчего ж ты не поцеловал у него руки? — спросил Пушкин.

Дельви́г только усмехнулся.

— Да говори же: в чем дело?

— Ты, Пушкин, разве не слышал, что он спросил у швейцара?

— Нет.

— Ну, и не спрашивай лучше. Меня как водой окатило. Он поэт в душе, но прозаик на деле.

Испытание из разных предметов, не имевших никакого отношения к "российской словесности", длилось несколько часов и не могло не утомить Державина. Сидя за экзаменационным столом рядом с графом Разумовским, он подпер голову рукой и, совершенно

безучастный ко всему окружающему, как бы задремал с полузакрытыми веками. Но взоры Пушкина невольно как-то все тянуло в его сторону. Гаврила Романович был на этот раз, разумеется, в "полном параде": в парике с косичкой и в позолоченном мундире, украшенном двумя звездами. Но, взглядываясь в его могучую, словно согнувшуюся под собственной тяжестью фигуру, Пушкин живо представлял его себе в излюбленном им домашнем костюме: колпаке и халате, с Тайкой за пазухой.

"Это — старый спящий лев, — думалось ему, — все-то он на свете перевидал, ничем его не удивишь. Но почует он только сквозь сон запах свежины — родной поэзии — и встряхнет гривой, воспрянет от сна".

И точно: уже с первых вопросов по русскому языку, которым завершался экзамен, "старый лев" приосанился и сбросил с себя тяготившую на нем лень.[19] Да, впрочем, и не диво: что бы ни разбирали, какие бы темы ни задавались, — везде и во всем выдвигали вперед его же, Державина. Оду его «Бог» разобрали, можно сказать, по ниточкам и в заключе-

ние пришли к выводу, что по полету фантазии, по образности выражений и по глубине религиозного чувства — ничего подобного нет ни в русской, ни в одной из иностранных литератур.

— М-да, осенил меня Господь, — заговорил польщенный "бард российский", и в тусклых глазах его, как из-под пепла, затлился былой огонь. — Стоял я (как теперь помню) у заутрени на Светлый праздник... Заронила в душу искра Божия... Разгорелось сердце... Брызнули градом слезы от восторга... И вот, пришед домой, с чувством, исполненным несказанной благодарности, написал я то, что мне сердце подсказало, — начальные строфы моей лучшей оды.

— Да ведь все они у вас, Гаврила Романыч, одинаково превосходны, — любезно заметил ему сосед-министр.

— Недурны-с, ваше сиятельство; могу сказать без излишней скромности: доселе лучших нету. Но они тоже — прах, забудутся однажды, как многое иное. Трагедии же мои, наперекор моим зоилам, предрекаю вам, будут вечно жить!

На лбу "старого льва" вырезалась грозная складка, и он окинул окружающих царственным взглядом. На тонких губах Разумовского зазмеилась снисходительная усмешка.

— Потомство вас, ваше высокопревосходительство, конечно, лучше современников оценит... — сказал он.

— Потомство? Разве что потомство.

"Бедный! — подумал Пушкин, вспомнивший рассказ Иконникова о неудачных драматических опытах великого лирика. — Ну, зачем ты выдаешь себя головою, зачем показываешь себя нараспашку перед людьми, которые недостойны подвязать тебе подвязки?"

Графу Разумовскому, по-видимому, также стало жаль старика.

— Не перейти ли нам теперь, Гаврила Романыч, к оценке первого лепета лицейской Музы? — сказал он. — Дабы не докучать вам многословием, мы остановили выбор на единой, по нашему мнению, наиболее зрелой вещице, скомпонованной по образцу и плану бессмертных творений русского Орфея — певца Фелицы.

При этих словах министр почтительно

преклонил голову перед "певцом Фелицы". Слегка омраченные черты последнего опять прояснились.

— Посмакуем, — произнес он, пожевывая губами, точно вперед смакуя уже предлагаемый ему на пробу литературный плод.

— Пожалуйте-ка сюда, Пушкин! — вызвал молодого автора профессор словесности Галич.

Эту решительную в жизни его минуту Пушкин предвидел уже с самого утра, и нервы его были напряжены до последней крайности. В волнении, словно увлекаемый неодолимой силой, рванулся он к зеленому столу с пергаментным листом стихов в руках.

— Старые знакомые! — благосклонно встретил его граф Разумовский. — Станьте тут, поближе к Гавриле Романьчу.

Пушкин послушался и взглянул прямо в лицо Державину, который сидел не далее как на аршин от него. Волнение, охватившее юношу, не скрылось, видно, и от старика поэта, потому что, как бы для ободрения его, тот задал ему вопрос:

— Что у вас приготовлено: переводное или

свое?

— Свое... — отвечал Пушкин, и сам не узнал своего голоса: вместо звучного баритона из уст его вылетела какая-то звонкая фистула.

— Хвалю, — сказал Державин, — в юности переводить небезопасно: легко заразиться подражательностью. На старости лет, как выдохнетесь, поспеете заняться этим. Теперь же пишите что на ум взбредет, но только свое. Пишите, но не печатайте! Что прибыли отдавать себя на суд площадных критиканов? Не количество, дружок мой, а качество стихов венчает поэта. Недаром и мне, бывалому стихотвору, говаривали приятели:

*Писания свои прилежно вычищай:
Ведь из чистилища лишь идут в
рай.*

— Я прилежно тоже очищаю... — пролепетал Пушкин.

— А вот увидим. Какой у вас сюжетец?

— "Воспоминания в Царском Селе", — прочел с листа своего Пушкин.

— Возвращение государя императора из

победоносного странствия, — пояснил со своей стороны Галич.

— Сюжет высокий и достойный воспевания, — одобрил Державин и тихо вздохнул. — Во времена оны и мы, грешные, пели Фелицу, пели отрока царевича Хлора.[20] Теперь мы одряхлели, а с нами и Муза российская век свой доживает; из новых патрициев парнасских некому, кажись заменить нас: деланности — сколько хочешь, искренности — ни следа!..

Последнюю фразу он пробормотал едва внятно, как бы про себя. На минуту он словно забыл даже, где он; потом, очнувшись вдруг от грустного раздумья, он поднял потускневший взор на безмолвно стоявшего перед ним лицеиста.

— Ну, что ж? Читайте.

Пушкин вздрогнул и сделал над собой усилие, чтобы сосредоточить все внимание на своей рукописи. Первое слово: «нощи», попавшее ему тут на глаза, вовсе уж некстати напомнило ему слышанное им как-то от Пуци-на критическое замечание:

— Нельзя ли, брат, без этой славянщины?

Кто, например, в наше время говорит: "Доброй ночи!"

— Да ведь это не проза, пойми, а стихи! — обидчиво оправдывался он тогда. Но теперь он понял всю меткость замечания друга, и Бог знает, что дал бы, если бы тогда послушался доброго совета.

"Ну, да делать нечего! Державин сам славянофил, не осудит!"

Все это промелькнуло у него в голове мгновенно, и он, переведя дух, стал читать:

*Навис покров угрюмой ночи
На своде дремлющих небес;
В безмолвной тишине почили дол
и рощи,
В седом тумане дальний лес;
Чуть слышится ручей, бегущий в
сень дубравы,
Чуть дышит ветерок, уснувший
на листьях,
И тихая луна, как лебедь велича-
вый,
Плывет в серебристых облаках.*

Идиллически-мирное содержание началь-ных строк, их несомненная благозвучность возвратили молодому автору необходимое

присутствие духа. Чтение его стало смелее и выразительнее, особенно когда он коснулся в стихах Екатерины Великой:

*Здесь каждый шаг в душе рождает
Воспоминанья прежних лет;
Возрев вокруг себя, со вздохом
росс вещает:
"Исчезло все, Великой нет!"*

Не отрывая взора от рукописи, он, по внезапному движению Державина в креслах, понял, что память о Фелице затронула певца ее за живое. Но вот после картинного описания Катульского памятника он рядом с именами Орлова, Румянцева и Суворова упоминает и их певцов:

*Державин и Петров героям песнь
бряцали
Струнами громозвучных лир.*

Он знал, он инстинктивно чувствовал, что Державин в упор смотрит на него, и под магнетическим действием этого взгляда им овладел какой-то небывалый экстаз. Он ощущал не испытанное до сих пор, невыразимое на-

слаждение читать истинному поэту эти, вылившиеся у него самого от полноты патриотического чувства стихи, между которыми два куплета, написанные им еще летом на стенах карцера, занимали, конечно, не последнее место.

Но впечатление от его стихов на его слушателя было едва ли менее сильное. Если б он взглянул теперь на Гаврилу Романовича, то не узнал бы его. Все неподвижно-усталое тело старца поэта задвигалось в кресле; отдыхавшие на столе руки его задергало; отяжелевшая голова его судорожно затряслась; мутные, словно заспанные глаза разгорелись и метали молнии. Угасающий гений почувствовал живительное дыхание вновь нарождающегося гения.

И граф Разумовский, и профессор, и лицеисты не могли отвести глаз от двух поэтов: юноши и старца, восторженно читающего и восторженно слушающего. При последнем обращении Пушкина к "певцу во стане русских воинов", Жуковскому, всем невольно представилось, будто он обращается вместе с тем и к Державину, и к самому себе:

*О скальд России вдохновенный,
Воспевший ратных грозный
строй,
В кругу друзей твоих, с душой вос-
пламененной,
Взгреми на арфе золотой!
Да снова стройный глас героям в
честь прольется,
И струны трепетны посыплют
огнь в сердца,
И ратник молодой вскипит и со-
дрогнется
При звуках бранного певца.*

"Я не в силах описать состояния души моей, — рассказывает Пушкин в своих «Записках». — Когда я дошел до стиха, где упоминаю имя Державина, голос мой отрочески зазвенел, а сердце забилося с упоительным восторгом... Не помню, как я кончил свое чтение; не помню, куда убежал. Державин был в восхищении: он меня требовал, хотел меня обнять... Меня искали, но не нашли..."

Так и не слышал он знаменательных слов растроганного Державина: "Нет, я не умер!" Так и не видел, что тот взял с собой на память оригинал прочитанных стихов, найденный

впоследствии, после его смерти, между его бумагами.

Зато вечером, прощаясь с отцом, Пушкин узнал от него, что на обеде у графа Разумовского, где в числе прочих были также Сергей Львович и Державин, толки о молодом таланте долго не прекращались.

— Я бы желал, однако ж, образовать сына вашего в прозе, — заметил, между прочим, Разумовский Сергею Львовичу.

— Ваше сиятельство! — с жаром вступился Державин. — Оставьте его поэтом.

— Так вот мы как нынче, сыночек мой! — шутливо закончил Сергей Львович и потрепал сына по плечу. — Каюсь откровенно, что до сегодняшнего дня мало верил я в твое поэтическое призвание, да и ты, дружок, не очень-то домогался заслужить родительскую ласку и любовь...

Та непритворная нежность, которая звучала сквозь легкий упрек отца, была так непривычна неизбалованному на этот счет юноше, что он, под живым еще впечатлением одержанного успеха, как говорится, растаял.

— Я понимаю, папенька, что я виноват пе-

ред вами, перед маменькой... — порывисто заговорил он, избегая глядеть на отца. — Но вы знаете тоже мою горячую натуру... Я дурил, потому что то было в моей африканской крови... А вы и маменька не хотели этого знать; сперва наказывали меня, потом совсем от меня отступились... Ну, я и замкнулся в себе, ожесточился... Спасибо вам теперь за ваше доброе слово: я его никогда не забуду!

Он припал губами к руке отца. Тот с чувством обнял его.

— Мир полный и ненарушимый на веки веков, аминь! — торжественно заявил Сергей Львович. — А теперь, милый мой, скажи-ка: в каком положении твои финансы?

— Ах, папенька! Не говорите теперь об этой прозе...

— Ну, не будем говорить, а будем действовать, — впадая опять в свой шуточный тон, отозвался отец и бывшую уже у него, как оказалось, наготове в сжатой руке небольшую пачку ассигнаций сунул в задний карман сына. — Не вырони только!

За примирением с отцом следовало и примирение с матерью: через несколько дней На-

дежда Осиповна вместе с дочерью прикатила в Царское и после долгих лет так искренно обласкала старшего сына, что тот достал платок и, под видом, что сморкается, украдкой отер себе глаза.

— А кстати, Александр, — весело заметила мать, чтобы скрыть свое собственное умиление, — ты, кажется, уже не теряешь платков?

— А прежде я разве терял их, маменька? — спросил он в ответ.

— Ужели ты забыл? Когда ты был маленьким и ходил еще в курточке, я просто не могла напасть на тебя платков! Что оставалось мне делать? Я пришила тебе платок на грудь, вместо аксельбанта, и объявила, что жалую тебя моим бессменным адъютантом...

— И честь эта меня живо вылечила! — смеясь, подхватил Александр.

— Но теперь, маменька, вы, я думаю, и без всякого аксельбанта охотно примете его к себе в адъютанты? — вмешалась сестра его, влажными глазами глядя на обоих.

Вместо ответа Надежда Осиповна снова притянула к себе сына и крепко поцеловала. С этого времени она в обращении с ним стала

выказывать почти такое же уважение, как и дочь ее, которая, разговаривая, с каким-то робким благоговением заглядывалась всегда на брата поэта. О своих собственных поэтических опытах Ольга Сергеевна тем менее уже смела теперь перед ним заикнуться.

Лицеист Корсаков, бывший и поэтом, и музыкантом, положил вскоре на музыку две песни Пушкина, которые потом часто пелись хором всеми лицеистами. Не только товарищи, но и лицейское начальство не сомневалось уже в истинном таланте Пушкина, с тех пор как Державин публично признал его своим преемником. А что Гаврила Романович высказался так решительно не под минутным лишь впечатлением, видно уже из отзыва, который слышал от него о Пушкине, почти год спустя, начинающий в то время писатель Сергей Тимофеевич Аксаков. Зимой 1816 года Аксаков не раз навещал в Петербурге Державина и зачитал его, т. е., обладая особым даром прочитывать стихи, он довел старика поэта до такого экзальтированно-нервного состояния, что тот даже слег в постель. И вот однажды на вопрос Аксакова,

не помешал ли он, Державин, писавший что-то грифелем на аспидной доске, ответил:

— О нет! Я всегда что-нибудь мараю, перебираю старое, чищу и глажу, а нового не пишу ничего. Мое время прошло. Теперь ваше время. Теперь многие пишут славные стихи, такие гладкие, что относительно версификации уж ничего не остается желать. Скоро явится свету второй Державин: это Пушкин, который уже в лице перещеголял всех писателей.

Так судил тогда про Пушкина сам Державин. Когда же не стало ни того, ни другого, первый критик наш Белинский так определил значение их обоих:

"Державинская поэзия, в сравнении с пушкинскою, это — заря предрассветная, когда бывает ни ночь, ни день, ни полночь, ни утро, но едва начинается борьба тьмы со светом: брезжит неверный сумрак, обманчивый полусвет; вдали на небе как будто белеет полоса света и в то же время догорают, готовые погаснуть, ночные звезды, а все предметы являются в неестественной величине и ложном виде. Пушкинская поэзия, в сравнении с дер-

жавинскою, это — роскошный, полный сияния и блеска полдень летнего дня: все предметы земли озарены светом неба и являются в своем собственном, ясном виде, и самая даль только делает их более поэтическими и прекрасными, а не ложными и безобразными... Словом, поэзия Державина есть безвременно явившаяся, а потому и неудачная поэзия пушкинская, а поэзия пушкинская есть вовремя явившаяся и вполне достигшая своей определенности, роскошно и благоуханно развившаяся поэзия державинская..."

Глава X

Жуковский

*...Мирный, благосклонный,
Он посещал беседы наши. С ним
Делились мы и чистыми мечтами
И песнями (он вдохновен был свыше
И с высоты взирал на жизнь).
"Он между нами жил..."*

В начале июня 1815 года лицеистов постигла чувствительная утрата: им пришлось навсегда распрощаться с так полюбившимся им молодым профессором Галичем. Профессор Кошанский, которого временно замещал Галич, оправился от своей продолжительной болезни, и последний поневоле должен был опять уступить ему его кафедру. Утрату эту особенно близко приняли к сердцу поэты лицейские, и двое из них, Пушкин и Дельвиг, гуляя вместе по часам в тенистых аллеях дворцового парка, не раз с грустью вспоминали о товарищеских литературных вечерах в уютной комнатке Галича. На одной из таких прогулок судьба послала им, в том же июне ме-

сяце, неожиданного утешителя, который, для Пушкина по крайней мере, скоро вполне заменил Галича.

Два друга наши, утомившись от ходьбы, только что расположились отдохнуть на любимом своем месте — полуострове большого пруда, как со стороны дворца к ним приблизился молодой человек, лет тридцати с небольшим, в легком дорожном плаще и пуховой шляпе. Мягкая трава заглушала звук его шагов, и лицеисты тогда лишь заметили, что они не одни, когда он, подойдя сзади к Пушкину, внезапно закрыл ему руками глаза.

— Друг или враг?

Дельвиг с недоумением смотрел на незнакомца: он его видел в первый раз. Но простое и вместе с тем умное лицо неизвестного расположило Дельвига тотчас в его пользу.

— Друг! — отвечал Пушкин и сорвал с глаз загадочные руки. — Ах, это вы, Василий Андреич?

— Как видишь, не ошибся: друг. Позволишь обнять себя?

После дружеского объятия Пушкин счел

нужным отрекомендовать друг другу еще не знакомых между собой двух приятелей своих:

— Лирик лицейский — барон Дельви́г! "Певец во стане русских воинов" — Жуковский!

После рекомендации и обмена несколькими любезностями все трое уселись под деревом на скамье.

— Скажи-ка мне, Александр... — начал Жуковский. — Но я, право, не знаю, смею ли еще говорить тебе "ты"?

— Помилуйте, Василий Андреич!

— Да ведь ты уж не мальчик; ты, в некотором роде, отважный мореплаватель: пустился в бурное море журнальное на всех парусах.

— Но откуда вы знаете? Я, кажется, не выставляю своей фамилии...

— Слухом земля полнится.

Жуковский не преувеличивал: уже в 1815 году Пушкин участвовал в трех журналах: в "Сыне Отечества", "Трудах Общества любителей российской словесности" и "Российском музее, или Журнале европейских новостей". Последний с 1815 года издавался прежним издателем "Вестника Европы", Измайловым, который завербовал к себе, в числе дру-

гих постоянных сотрудников-лицеистов, и Пушкина. В одном 1815 году в Измайловском «Музеуме» появилось 17 стихотворений Пушкина. Из них, впрочем, только под одним он поставил свое полное имя: Александр Пушкин, именно — под выдержавшими цензуру Державина "Воспоминаниями в Царском Селе". Под остальными же он подписывался сокращенно, как в первый раз: Александр Н. К. Ш. П., или Александр Н. — П., или просто цифрами, соответствовавшими буквам в алфавите — 1... 14 — 16 (что значило: А... Н — П.), 1... 16 — 14 (т. е. А... П — Н.), 1... 17 — 14 (т. е. А... Р — Н.).

— Еще бы не слышать о тебе, Пушкин! — сказал Дельвиг. — После того как Державин посвятил тебя в рыцари пера, кто-кто только не перебивал здесь у тебя с поклоном! Все "генералы от литературы": Дмитриев, Батюшков, Дашков, граф Хвостов...

Жуковский только усмехнулся.

— Нет, уж Хвостова, пожалуйста, не ставьте с прочими «генералами» на одну доску. На вид он, действительно, роскошный павлин, но голосом... тот же павлин! Про себя, видно,

он и сложил свой прелестный стих:

*Павлиным гласом петь толико
не способно,
Как розами клопу запахнуть
неудобно.
Оба лицеиста расхохотались.*

— Надо бы записать, Пушкин, — сказал Дельвиг. — Для «Смеси» нашего "Лицейского мудреца" это будет находка. Но говорят ведь, Василий Андреич, будто великий наш Державин дружит с этим Хвостовым?

— Дружит больше по старой памяти; но тому от него тоже порядком-таки достаётся.

— В самом деле?

— Вы, значит, не слышали, как Державин недавно, в заседании «Беседы», отделал его? Нет? Вот послушайте. Желая подольститься к нему, председателю своему, Хвостов при всем собрании окликнул его сзади: "Пиндар Романович!" — намекая на последние переводы его из Пиндара.

Державин показал вид, что не слышит. Тогда Хвостов повторил еще громче: "Пиндар Романович!" — Державин и на этот раз не оглянулся, но отвечал нараспев известным

экспромтом:

*Хвосты есть у лисиц, хвосты есть
у волков,
Хвосты есть у кнутов, — так бе-
регись, Хвостов![21]
[22]*

Анекдот, понятно, рассмешил опять друзей-лицеистов. Но Пушкин счел своим нравственным долгом заступиться за бедного графа Хвостова.

— Извините меня, Василий Андреич, — сказал он, — но я глубоко благодарен Хвостову уже за то, что он изо всех наших отечественных поэтов первый сделал мне честь поздравить меня с успехом.

*— А ты небось и не догадался,
что
Умысел другой тут был:
Хозяин музыку любил.*

Поздравить-то он тебя поздравил, но, верно, при этом случае поймал за руки, припер в угол и давай душить своими одами: не любо — не слушай, а петь павлином — не мешай?

— Верно! — засмеялся Пушкин. — Как вы сейчас догадались?

— Как не догадаться, коли сам на себе испытал: он никому ведь проходу не дает. Впрочем, надо отдать ему справедливость: у него есть такие перлы, которые хоть мертвого в гробу рассмешат. Так, у него сума надувается от вздохов; осел лезет на рябину и лапами хватает за дерево...

— Премило! Но он говорил мне, однако, что стихи его бойко раскупаются...

— Еще бы, когда он сам рассылает для этого в книжные лавки своих лакеев.

— Так это не выдумка?

— Нет, суцая правда. Во весь век ему удался, кажется, единственный стих:

Потомства не страшись: его ты не увидишь!

Но мой новый родственник и старый приятель Воейков[23] и этого стиха ему не подарил: "Граф, очевидно, обмолвился, — говорит он, — он хотел сказать, конечно: "Потомства не страшись: оно тебя не увидит". Кстати о Воейкове. В своей новейшей сатире "Дом сумасшедших" он так обрисовал Хвостова:

— Ты ль, Хвостов? — к нему во-
шедши,
Вскрикнул я. — Тебе ль здесь
быть?
Ты — дурак, не сумасшедший,
Не с чего тебе сходить!
— В Буало я смысл убавил,
Лафонтена я убил
И Расина обесславил! —
Быстро он проговорил.

— Зло! — сказал Пушкин. — И многих Во-
ейков засадил этак в желтый дом?

— Да всю нашу пишущую братию: Карам-
зина, Батюшкова, Кутузова, Шаликова — и,
разумеется, меня, грешного, тоже:

*Вот Жуковский: в саван длинный
Скутан, лапочки крестом,
Ноги вытянувши чинно,
Черта дразнит языком;
Видеть ведьм воображает,
То глазком им подмигнет,
То кадит и отпевает,
И трезвонит, и ревет.*

Цитируя этот куплет про самого себя с со-
ответствующими интонацией и телодвиже-
ниями, Жуковский потешался едким остро-

умием сатирика с тем же простодушием, как и его два юных собеседника.

— Поддел он меня очень ловко, — прибавил он. — Замогильные страсти и заоблачные выси — моя родная сфера.

— Но ведь чем ближе к небу, Василий Андреич, тем холоднее, — заметил Дельви́г.

— Так, но и воздух там неизмеримо чище: ни копоти от этих коптителей неба, ни смраду от их будничных дрязг.

— Однако прожить-то между ними все же и вам, и нам придется.

По светлому лбу поэта-романтика промелькнула мимолетная тень.

— Придется, милый мой, ох, придется! — промолвил он. — Ведь вот мне 33-й год пошел, а все еще с небес на землю толком не спустился: не имею твердой почвы под собой. Тургенев Александр Иванович, общий наш друг и заступник, напряг все пружины, чтобы пристроить меня при дворе Марии Федоровны. Еду теперь на зов. Но что из этого еще выйдет — одному Богу известно!

— Александр Иванович сам рассказывал мне, как он читал Марии Федоровне ваше

патриотическое послание к государю, — подхватил Пушкин. — Все слушавшие чтение: и императрица, и великие князья — были тронуты до слез и повторяли: "Прекрасно! Превосходно!" Государю в Вену послали сейчас список ваших стихов, а вам ведь, кажется, государыня пожаловала перстень?

— Вот этот самый, — сказал Жуковский, показывая на указательном пальце правой руки драгоценный перстень. — Я с ним никогда не расстаюсь... Государыня была слишком снисходительна ко мне. Гравер Уткин, что прославился и в Париже, должен был, по ее желанию, сделать виньетку для моих стихов, и 1200 экземпляров их на веленовой бумаге также отданы в мою пользу. Тем не менее...

Жуковский замолк и в грустной задумчивости загляделся вдаль, на ту сторону пруда, где, отражаясь в зеркале вод, тихо и величаво плавала семья белых лебедей.

— Тем не менее?.. — переспросил Пушкин.

— Мне страшно от чего-то...

— Но если Тургенев открыл вам настежь все двери...

— То-то, что я не выношу сквозного вет-

ра, — отшутился Жуковский и круто переменял разговор. — А что, Александр, скажи-ка, не пишешь ли ты теперь чего нового?

— О! Если бы вы знали, Василий Андреич, какие у него теперь планы в голове... — с непривычною живостью отвечал за друга своего Дельвиг.

— Перестань! Ну, стоит ли толковать... — остановил его, смутясь, Пушкин.

— Какие планы? — любопытствовал Жуковский. — Меня это очень интересует.

— Ну, не ломайся, Пушкин, расскажи! — продолжал Дельвиг.

— Да что же я расскажу?..

— Хоть про «Фатаму» свою, что ли.

— И то, расскажи-ка, Александр, — поддержал Жуковский.

"Поломавшись" еще немного для вида, Пушкин начал:

— "Фатама, или Разум человеческий" — восточная сказка-поэма. Вкратце идея такая:

"Жили два старика: муж с женой; жили счастливо, как лучше быть нельзя. Одного только не послал им Аллах для полного счастья — детей. И вот является им добрая фея.

Они молят ее умилосердить Всевышнего — дать им сына.

— Желание ваше исполнится, — говорит фея.

— Но умника-разумника, какого в мире еще не бывало! — добавляют старики.

— Будь по-вашему, — говорит фея, — в самый день рождения он будет уже возмужалым...

Старики слов не находят, как благодарить фею.

— Не хвалите утра ранее вечера, — говорит им она. — Природа не терпит нарушения ее законов; что она теряет на одном, то берет себе на другом. Сын ваш, родясь возмужалым, с году на год будет слабеть умом и телом, пока не пройдет обратно всех возрастов жизни, от возмужалости до младенчества.

И точно: Аллах дал старикам сына, который был так учен, что только выглянул на свет Божий, как первым делом спросил по-латыни:

— Ubi sum? (Где я?)

Но с году на год, со дня на день ученость его испарялась как дым, пока, наконец, на ру-

как родителей не очутился беспомощный, бессмысленный младенец.

Мораль сказки: насильственное нарушение естественного порядка вещей не ведет к добру".

Жуковский внимательно выслушал сказку.

— Оригинально, — похвалил он, — из этого материала можно многое сделать.

— Что в моих силах — я постараюсь сделать. Если бы вы знали, Василий Андреич, сколько я для этого одних книг перечитал!

— Да, читать нашему брату, писателю, надо много, — раздумчиво заговорил Жуковский. — Но читать надо с толком. Один немецкий ученый, Миллер, очень верно заметил: "Lesen ist nichts; lesen und denken — etwas; lesen, denken und fühlen — die Vollkommenheit" (Чтение — ничто; чтение осмысленное — кое-что; чтение же осмысленное и перечувствованное — совершенство). Я, друг мой, говорю это тебе не в укор, — поспешил добавить Жуковский, видя, что щеки начинающего поэта покрылись краской. — Я сам только с летами научился читать как следует.

— А сами вы что теперь пишете, Василий Андреич? Можно любопытствовать? — спросил Дельвиг.

— В эту минуту меня особенно занимает одна древняя новгородская легенда. По странной случайности она имеет некоторое сходство с Вальтер-Скоттовой "Девой озера", которая вам, вероятно, известна.

— Как же.

— Если желаете, я передам вам содержание моей легенды.

— Сделайте милость!

Жуковский был прекрасный рассказчик, и переданная им, хотя только в общих чертах, древненовгородская легенда произвела на обоих слушателей сильное впечатление.

— Вот это так поэма! — воскликнул Пушкин. — «Фатама» моя после нее какая-то ребяческая выдумка.

Жуковский обнял его и заглянул ему дружелюбно в глаза.

— Хочешь, поменяемся?

— Что вы, Василий Андреич! Как это можно... — пробормотал Пушкин.

— Так ты, может быть, написал уж много?

— Не то что много... несколько строф...

— В таком случае я добровольно отказываюсь от твоей «Фатамы»: с Богом доканчивай ее. Мою же легенду я дарю тебе: делай с ней что хочешь.

— Нет, это слишком великодушно!.. Может быть, я с нею не слажу; может быть, при других темах и вовсе не примусь за нее...

— Ну так вот что: я даю тебе пять лет срока. Не воспользуешься этим временем, я возвращу себе мое авторское право![24]

Солнце уже спряталось за вершушки парка, когда Жуковский стал прощаться с лицейскими поэтами.

— Но в столице, в большом свете, вы нас, бедных заключенников, пожалуй, совсем забудете? — сказал Пушкин, и в голосе его прозвучала такая чувствительная нота, что Жуковский крепко его обнял и поцеловал.

— Друзей не забывают, — сказал он, — а ты мне друг по Аполлону.

Не прошло и двух недель, как он, действительно, опять навестил в Царском своего молодого друга.

— Видишь, не забыл, — сказал он, — а вот

тебе и залог моей верной дружбы.

Он подал ему книжку своих стихотворений. В послании своем к Жуковскому, полтора года спустя, Пушкин вспоминает то глубокое впечатление, какое произвел на него этот неожиданный подарок:

И ты, природою на песни обреченный!

Не ты ль мне руку дал в завет любви священной?

Могу ль забыть я час, когда перед тобой

Безмолвный я стоял, и молнией струей

Душа к возвышенной душе твоей летела

И, тайно съединясь, в восторгах пламенела..

Когда же Жуковский вскоре затем приехал в третий раз, то Пушкин с увлечением продекламировал ему наизусть несколько стихотворений из подаренного ему сборника. Каждое новое свое стихотворение, до отдачи в печать, Жуковский с этого времени обязательно читал ему. У Пушкина была такая счастливая память, что, прослушав внимательно совер-

шенно не знакомые ему стихи, он мог повторить их почти без запинки. Если случалось, что он забывал ту или другую строфу, прочитанную ему накануне, то Жуковский почитал уже такую строфу настолько слабою, что переделывал ее заново. Такое значение придавал этот искушенный опытом поэт изящному вкусу 16-летнего юноши! Он обращался с ним совершенно как с равным и вскоре настоял на том, чтобы Пушкин также говорил ему "ты".

Пушкин в свою очередь усердно зачитывался поэзией Жуковского и, упиваясь ее музыкальностью, поучался по ней таинству гармонии человеческой речи. Как высоко ценил он это качество стихов своего учителя, красноречивее всего свидетельствует пятистишие его: "К портрету Жуковского", которое по чарующему благозвучию не уступит лучшим строфам самого Жуковского:

*Его стихов пленительная сла-
дость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе
младость,*

*Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.*

Как всякий молодой орленок, пробующий свои крылья, Пушкин начал с подражания полету больших орлов. Сперва он подражал Державину, Батюшкову и французским лирикам; теперь он подчинился влиянию Жуковского, а впоследствии, по выходе из лицея, поддался Байрону. Но повредила ли сколько-нибудь такая подражательность в первый период жизни самобытности его гения?

Лучшим ответом на этот вопрос может служить опять следующее картинное сравнение Белинского:

"Кто может разложить химически воду Волги, чтоб узнать в ней воды Оки и Камы? Приняв в себя столько рек, и больших, и малых, Волга пышно катит свои собственные волны, и все, зная о ее бесчисленных похищениях, не могут указать ни на одно из них, плывя по ее широкому раздолью. Муза Пушкина была вскормлена и воспитана творениями предшествовавших поэтов. Скажем более: она приняла их в себя, как свое законное достояние, — и возвратила их миру в новом,

преображенном виде".

Глава XI

"Беседчики" и "арзамасцы"

*Вы, рыцари парнасских гор,
Старайтесь не смешить народа
Нескромным шумом ваших ссор;
Бранитесь — только осторожно.
"Руслан и Людмила"*

В начале октября Жуковский снова наведался к молодому другу своему в Царское Село. С первых же слов, по убитому виду, по минорному тону дорогого гостя, Пушкин понял, что ему не по себе.

— Ты, верно, нездоров, Василий Андреевич? — участливо спросил он.

Жуковский грустно улыбнулся.

— Хандрю. Бывают, дружок, такие минуты в жизни. Жестокая сухость залезет тебе в душу, давит тебя изнутри — и не годен ты ни на что... ни на дело, ни на безделье.

— А неизменная утешительница твоя — поэзия?

— И та от меня отворотилась! Не знаю, когда она опять на меня взглянет. Я думал, не

бродит ли она теперь по аллеям здешнего парка, и нарочно за этим прибыл сюда.

Тяжелое настроение старшего друга подействовало подавляющим образом и на Пушкина. На шутку его он отвечал только слабой улыбкой.

— Нет, и у нас здесь теперь не разгуляешься. Птицы и дачники улетели, зелень увяла; холодно, сыро, пусто кругом...

— Совсем как у меня на душе... Слышал ты, Александр, про представление новой пьесы Шаховского: "Липецкие воды"? — заговорил вдруг Жуковский изменившимся голосом и нервно взял Пушкина за руку.

— Ах, вот что! — догадался Пушкин. — В газетах был, действительно, намек на то, что будто Шаховской позволил себе вывести тебя в своей пьесе...

— Да, под видом «балладника» Фиялкина. Я, как ты знаешь, не обидчивого десятка. Не я первый, не я последний; и Карамзин, столп нашей молодой литературы, был однажды осмеян тем же Шаховским в его "Новом Стерне". Я нарочно даже взял с друзьями ложу на первое представление "Липецких вод", чтобы

от души посмеяться. Остроте меткой и даже резкой отчего не посмеяться? Но если острота бьет только на дурной вкус толпы, если она и плоска и дерзка, тогда как-то совестно за самого автора и не до смеха. Если же после того в торжественном заседании «Беседы» Шишков (президент академии и муж ученый) вместе с Буниной венчают автора лавровым венком, величают его современным Аристофаном и избранная публика им рукоплещет, — тогда не глядел бы на свет Божий, просто краснеешь за своих ближних, за весь род людской...

— Неужели это правда! Неужели они увенчали его еще лаврами? — негодуя, воскликнул Пушкин и вскочил даже с места. — И ты это так спустишь Шаховскому, не бросишь ему в лицо перчатки в форме эпиграммы, что ли?

— Карамзин в свое время смолчал — и я смолчу. И без меня на Парнасе довольно шуму, друзья вступились за меня. Дашков напечатал "к новому Аристофану" жестокое письмо; Блудов написал презабавную сатиру, а Вяземский разразился фейерверком эпиграмм.

Около меня дерутся за меня; а я молчу. Да лучше бы, когда бы и все молчали... Я благодарен этому глупому случаю: он более познакомил меня с самим собой. Я знаю теперь, что люблю поэзию для нее самой, а не для почестей, и что комары парнасские меня не укусят никогда слишком больно.

Приведенный разговор происходил в лицейской приемной.

— Экой ты, право, чудак, Кюхля! Чего ты опять пятишься? — послышался с площадки лестницы голос Дельвига, и вслед затем в приемную, спотыкаясь, влетел Кюхельбекер, которого Дельвиг насильно втолкнул туда перед собой.

— А, здравствуйте, господа! — приветствовал обоих Жуковский, успевший за лето перезнакомиться со всеми стихотворцами. — В чем дело, любезный барон?

— Да вот наш Вильгельм Карлыч на коленях умолял меня сейчас...

— Вовсе не на коленях... — перебил неоправившийся еще от замешательства Кюхельбекер. — Но никто здесь, кроме Гауеншильда, и не знает хорошенько немецкого

языка, а к нему-то за советом я уж ни за что не обращусь...

В руках у него оказался бумажный сверток, который он, в душевном волнении, мял немилосердно.

— У вас, вероятно, приготовлены немецкие стихи, — догадался Жуковский, — и вы хотите знать мое мнение. Правда?

— Правда-с... — прошептал, все еще заминаясь, Кюхельбекер. — Но вы, Василий Андреевич, ради самого Бога, не будьте слишком строги, не смейтесь надо мной... Я переводил, как умел...

— Так это у вас перевод с русского?

— Да-с, Кирши Данилова древнерусская былина: "Сорок калик с каликою". Я думал, что жаль, если такое сокровище народной поэзии пропадет для других наций...

— Очень жаль, — подтвердил Жуковский, протягивая руку за стихами, которые автор все еще не решался вручить ему.

— Нет, нет! Прежде обещайтесь не читать здесь, при этих зубоскалах! — вскричал Кюхельбекер и спрятал сверток за спину.

Но это ему ни к чему не послужило. Под-

кравшийся к нему в это самое время сзади Илличевский выдернул у него листок из рук и почтительно преподнес Жуковскому.

— Имею честь представить и представиться!

— Это что же такое? — среди общей веселости с недоумением спросил Жуковский; в руках у него кроме стихов очутилась вдруг еще какая-то картинка, которую лицейский карикатурист Илличевский, очевидно, еще раньше приготовил и очень ловко подсунул ему теперь вместе со стихами.

— А портреты автора и его вдохновителя, как иллюстрация к тексту, — серьезно отвечал Илличевский.

Даже Жуковский, взглянув на удачную карикатуру, не мог удержаться от улыбки; Пушкин же и Дельвиг просто покатывались со смеху.

— Это совершенство! Это прелесть что такое!

Кюхельбекер готов был разобидеться, но Жуковский возвратил уже рисунок живописцу, а стихи упрятал в свой боковой карман со словами:

— Мы с вами, Вильгельм Карлыч, терпим одинаковую участь: обоим нам за стихи наши от завистников достается; но не будем отчаиваться. В следующий же приезд сообщу вам мое откровенное мнение о настоящем вашем опыте.

— А когда вы будете к нам опять, Василий Андреич? — спросил Илличевский. — Я надеюсь, что в воскресенье, 24 числа, вы, во всяком случае, нас не забудете?

— А что у вас здесь тогда?

— Да 19-го — годовщина открытия нашего лица, в ближайшее же воскресенье после того у нас всегда спектакль...

— А Илличевский у нас — первый лицедей, — пояснил Пушкин.

— Поневоле станешь хоть лицедеем, когда ты с Кюхельбекером выбили у меня из рук мое парнасское оружие — гусиное перо. Лучше быть первым в селе, чем последним в городе.

— О! Если вы такой первостатейный актер, то я непременно буду, — любезно сказал Жуковский и совсем повеселевшим взором оглядел столпившуюся около него молодежь. —

Приятно на вас смотреть, друзья мои! Приехал я сюда со слабой надеждой отдохнуть у вас душою — и не ошибся в расчете: всю навеянную на меня «беседчиками» пыль с души как ветром сдуло.

— А кстати, Василий Андреич, какую это сатиру, говорил ты давеча, сочинил друг твой Блюдов на "беседчиков"? — спросил Пушкин.

— Полное название ее: "Видение в некоторой ограде, изданное обществом ученых людей". «Ограда», понятно, означает «Беседу». Один список с сатиры нарочно послан к герою ее — князю Шаховскому, при письме будто бы от имени нескольких арзамасских литераторов.

— Арзамасских?

— Да. Блюдов — помещик Арзамасского уезда, недавно побывал на родине и для рассказа своего воспользовался одним анекдотом, который случился на месте. Только героем он сделал Шаховского и скромный номер арзамасского трактира обратил в великолепный зал "Беседы".

— Но в чем же соль сатиры? Расскажите, Василий Андреич! — пристали к Жуковскому

лицейсты.

— В письме, к которому была приложена эта сатира, объяснено, что несколько арзамасских литераторов собрались раз в местном трактире, — начал Жуковский. — Вдруг вошедший половой докладывает им, что рядом в номере остановился какой-то проезжий — должно полагать, ясновидящий: бредит с открытыми глазами. Заинтригованные литераторы подкрались к дверям таинственного соседа и заглянули в щелку. Что же они увидели там? По номеру взад и вперед шагал, размахивая руками, безобразный толстяк и нараспев декламировал какие-то бессмысленные, напыщенные фразы...

— А ведь Шаховской, говорят, очень толст? — прервал рассказчика Илличевский.

— Настолько же толст, насколько Шишков тощ: оба дополняют друг друга. Итак, — продолжал Жуковский, — он декламировал без передышки, а окончив свою речь, начинал ее опять сызнава. Таким образом, подслушивавшие арзамасцы имели возможность записать все «видение» от слова до слова. Имен своих они, однако, по скромности не выставили,

ибо скромность — отличительная черта арзамасцев.

— А содержание "видения"? — спросил один из слушателей.

— Дословно, к сожалению, я не сумею передать вам его. Вкратце же оно такое: в магнетическом сне своем Шаховской повествует, как он однажды, после заседания «Беседы» в Державинском зале, по рассеянности забыл выйти с другими. Свечи задули, дверь замкнули на два замка, и очутился он вдруг один-одинешенек в опустевшем и темном зале. Ветер за окнами заунывно выл, и думы, одна другой мрачнее, нахлынули на злополучного драматурга. Прислонясь к оконнице буйной головой, он стал громко каяться в собственных своих прегрешениях... Жаль, право, что я не захватил с собой этой образцовой исповеди! Когда-нибудь доставлю ее вам.

— Да вот 24 числа, когда будет у нас спектакль, — сказал Илличевский.

— Непременно, если не забуду.

Описывать самое празднество лицейской годовщины в 1815 году мы не станем. Приведем только краткий, но характеристичный

отчет о нем, сохранившийся в письме Илличевского к Фуссу, другу его по гимназии, где он обучался до лицаея:

"26 октября 1815 г. (Царское Село — вечное Царское Село).

Я получил письмо твое в такое время, когда я не имел ни на час свободного времени, ибо оно было посвящено целому обществу, скажу яснее, в такое время, когда мы приготавливались праздновать день открытия лицаея (правильнее бы было: день закрытия нас в лицае), что делается, обыкновенно, всякий год в первое воскресенье после 19 октября, и нынешний год также октября 24 числа. Этот праздник описать тебе недолго: начался театром; мы играли «Стряпчего» Пателена и "Ссору двух соседей". Обе пьесы — комедии. В первой представлял я Вильгельма, купца, торгующего сукнами, которого плут-стряпчий подрядился во всю пьесу обманывать; во второй — Вспышкина, записного писаря, охотника и одного из ссорящихся соседей. Не хочу хвастать перед другом, но скажу, что мною зрители остались довольны. За театром последовал маленький бал и потчевание гостей

всякими лакомствами, что называется в свете угощением".

Что касается Пушкина, то он исполнял только незначительную роль в первой пьесе.

"Отзвонил — и с колокольни долой": сорвал с себя парик, смыл с лица следы пудры и угля, придававшие ему требуемый пьесою старческий вид, переоделся в лицейский мундир и как раз к началу антракта поспел в «партер», где со сцены еще заметил Жуковского.

Тот сидел в стороне, прислонясь к колонне, но был уже не один: перед ним торчал великан Кюхельбекер. Наклонясь к сидящему со своей вышины и приложив раковиной руку к одному уху (потому что, как уже сказано, он был несколько глух), Кюхельбекер благоговейно прислушивался к тому, что говорил ему Жуковский. Чело последнего было ясно, взор светел; от прежнего меланхолического настроения, очевидно, не осталось и тени.

— Барометр парнасский, кажется, не показывает уже на дождь? — было первое приветствие Пушкина.

— На дождь-то — нет, но на грозу и бу-

рю, — был веселый ответ.

— Вот как!

— Да, на Парнасе у нас теперь жаркий бой: ключья перьев так и летят, чернила так и брызжут.

— Между вами, карамзинистами, и стариками — шишковистами?

— Да, или, точнее, между «арзамасцами» и «беседчиками». Ведь намедни ты слышал уж от меня о шутке Блудова? Ну, так из тех, что участвовали в шутке, сложился теперь плотный кружок: «Арзамас» — и горе "Беседе"!

— Эх, Пушкин! Ну зачем ты помешал нам? — попрекнул Кюхельбекер. — Василий Андреич только что начал объяснять мне...

— Что немецкие вирши твои бесподобны? — насмешливо досказал Пушкин.

— Они в самом деле очень сносны, — серьезно отозвался Жуковский, — и я уже обещал Вильгельму Карлычу пристроить их в каком-нибудь немецком журнале.

Кюхельбекер весь покраснелся и скромно потупился.

— Василий Андреич, конечно, чересчур добр... — пробормотал он. — Но мнение его

меня очень ободрило... Мне хотелось бы теперь написать немецкую же статью о русской литературе, и я просил Василия Андревича дать мне некоторые указания...

— И представь себе, — подхватил с улыбкой Жуковский, — Вильгельм Карлыч оказывается тайным приверженцем «старого» слова...

— Ну как тебе не стыдно, Кюхля! — воскликнул Пушкин.

— Нет, у него есть свои резоны, — примирительно вступился Жуковский. — Глава старейшей партии, Шишков, не номинально только президент Российской академии: он и муж глубокоученный, государственный, да и незаурядный писатель. Но, как у всякого смертного, у него есть свой конек, свой предмет помешательства. Это — славянщина. Целые годы изучая всевозможные языки, он в конце концов пришел к какому выводу? Что древнейший в мире язык — славянский и что все прочие языки — только наречия славянского. Раз став на эту точку, он готов всякое иностранное слово хоть за волосы притянуть к славянскому.

— Например? — спросил с некоторым уже задором Кюхельбекер.

— Например... Хоть слово *ястреб*. Шишков производит его от "яству терebить".

— И преостроумно!

— Не спорю. Но едва ли верно, потому что латинское *Astur* разве не тот же ястреб, только позаимствованный нами у древних римлян?

— Ну, это еще вопрос!

— Даже вопроса не может быть, — усмеялся Пушкин. — Очевидно, римляне исковеркали наше славянское слово!

— Нет, и славяне, и римляне, может быть, взяли его из древнего санскритского...

— Вот это, пожалуй, всего вернее, — согласился Жуковский. — Но тут вы, Вильгельм Карлыч, уж отступили несколько от Шишкова. А мало ли у нас совсем иностранных слов? Не имея никакой возможности приурочить их к славянщине, шишковисты изгоняют их вовсе из родной речи и заменяют словами собственного изобретения. Так: проза у них — говор, номер — число, швейцар — вестник, калоши — мокроступы, бильярд — шарокат,

кий — шаропих.

— Да чем же эти новые слова хуже иностранных? — возразил Кюхельбекер.

— Особенно шаропих! — рассмеялся Пушкин. — Прелестно!

— Да и между «беседчиками» начинается уже раскол, — продолжал Жуковский. — Державин не соглашается на предложение Шишкова — соединить «Беседу» с академией; Крылов прямо осмеял своих друзей-«беседчиков» в басне «Квартет»:

А вы, друзья, как ни садитесь, -

Все в музыканты не годитесь...

Но мы, «арзамасцы», решились теперь окончательно доконать их. В позапрошлый четверг, 14 октября, по приглашению Уварова, мы собрались у него на первый «арзамасский вечер». В прошлый четверг — на второй у Блудова.[25] Председателем нашим всего ближе было бы выбрать самого создателя нового слога, Карамзина. Но он живет в Москве и мог бы участвовать в собраниях наших только наездом (а мы думаем собираться каждый четверг). Главное же, что он — олимпиец, и не в его характере вздорить с кем бы то

ни было. Но мы, его ученики, не добравшиеся еще до вершин Олимпа, постоим и за него, и за себя. Новорожденный «Арзамас» — пародия дряхлой «Беседы», и насколько заседания «Беседы» напыщенно-важны и непроходимоскучны, настолько же заседания «Арзамаса» задушевно-веселы и непринужденно-шутливы. Арзамасская критика должна ехать верхом на галиматье. Это — наш девиз. Отрешась на время заседаний «Арзамаса» от своего светского звания, каждый из нас принял условную кличку из моих баллад, которые так не пришлись по вкусу «беседчикам». Блюдов у нас — Кассандра, Уваров — Старушка, Батюшков — Ахилл, впрочем и Попенька за его птичий нос; Дашков — Чу! Чурка или просто Дашенька; Тургенев — Эолова арфа...

— Это за что же? — спросил Пушкин.

— За вечное бурчанье его ненасытного брюха.

— Не в бровь, а прямо в глаз! А тебя самого как прозвали, Василий Андреич?

— Светланой. Похож, видно, на красную девицу.

— А кто же у вас председатель? — спросил

Кюхельбекер. — Не вы ли?

— Нет, председатель у нас очередной; я же взял на себя более скромную, но не менее ответственную роль — секретаря. Достоительно оформить протокол наших заседаний — задача, я вам скажу! То-то речи, то-то перлы высшего сумасбродства! Но зато и польза велика: нет на свете средства полезнее смеха — он удивительно как способствует сварению желудка.

— Но о чем же у вас речи?

— Да вот, прежде всего, по образцу французской академии наук, каждый вновь принятый член у нас должен сказать надгробное похвальное слово своему предшественнику. Но так как мы, первые учредители, не имели предшественников, то мы для наших надгробных речей берем заимообразно и напрокат живых покойников «Беседы». Мне выпала счастливая доля отпевать современного Тредьяковского — Хлыстова.

— Графа Хвостова?

— Да. И, признаюсь, редко я бывал так в ударе! Да и не диво: настольной книгой в заседании, неисчерпаемым кладезем вдохнове-

ния служат мне его собственные притчи.

*Наш граф, сказать ему мы можем не в укор,
Танцует как Вольтер и пишет
как Дюпор.[26]
[27]*

— Вот бы подслушать вас! — сказал Пушкин.

— А что ж? Рано или поздно, ты попадешь тоже, вероятно, к нам.

— Кто? Я? — спросил Пушкин и от радостного волнения весь так и вспыхнул.

— Ну, понятно; кому ж из нас, как не тебе, быть там, — убежденно сказал Кюхельбекер. — От души, брат, вперед тебя поздравляю!

Пробасил он так громко, что кругом по зрительной зале пронеслось дружное шиканье: "ш-ш-ш!" — потому что антракт сейчас кончился, ширмы на сцене, заменявшие занавес, раздвинулись, и представление возобновилось.

Зато по окончании последней пьесы, когда сцена была убрана вон и заиграла музыка для танцев, около Жуковского столпились все ли-

дейские стихотворцы. Он должен был повторить им все то, что рассказал перед тем Пушкину и Кюхельбекеру об «Арзамасе»; но наибольший фурор произвел двумя притчами «арзамасскими», сочиненными по образцу притч графа Хвостова. Начало одной из них, «Обжорство», было такое:

*Один француз
Жевал арбуз...
Другая, «Дождь», начиналась так:
Однажды
Шел дождик дважды...*

— Это чудо что такое! — потешались лицеисты.

— Но заслуга вся за Хвостовым, — сказал Жуковский. — Он вдохновляет нас, и мы, в благодарность ему, сочинили следующую благозвучную надпись к его портрету:

Се — росска Флакка зрак![28] Се тот, кто, как и он,

Выспрь быстро, как птиц царь, порх вверх на Геликон;

Се лик од, притч творца, муз читателя Хлыстова,

Кой поле испестрил российска красна сло-

ва.

— Помилуйте! Господа! Дамы сидят без кавалеров, а вы болтаете как ни в чем не бывало! — завопил, подбегая к товарищам-поэтам, граф Броглио, распорядитель танцев.

Делать было нечего — пришлось волей-неволей принять участие в танцах. Но и танцуя, редкий из кавалеров-стихотворцев не занимал свою даму беседой об «Арзамасе»; точно так же многие еще дни после того главной темой разговоров лицеистов между собою был тот же «Арзамас». Большинство лицеистов, надо сказать правду, видело в новом литературном обществе одну потешную сторону и интересовалось только арзамасскими «шалостями», т. е. баснями и притчами, сочиненными в подражание графу Хвостову. Наибольшим успехом пользовалась у них басня "Кончина коровы", которую мы и приводим здесь целиком:

*У мужика корова,
Когда была здорова,
И ест, и пьет,
И долг природе свой день каждый
отдает,*

Иль, говоря по-русски:
Давать и творогу, и сливок на за-
куски
Ничуть не устают.
Корова не заморска птица,
Но делать молоко ужасна масте-
рица.
В коровушке своей души не знал
мужик,
То есть до молока охотник он ве-
лик;
Ведь у людей все внутренние ча-
сти
Корыстолюбия во власти.
Но вдруг
Коровушку мою сразил недуг:
Ей не взлюбился луг,
Стал лоб нахмурен;
Она худа, бледна,
И цвет в лице стал дурен,
И голова дурна.
Бывало, светлый глаз: днесь без
светильни плошка;
Корова-здоровяк — ни дать ни
взять
Ободранная кошка!
Мужик ревет не час, не два, не
пять,

Ревет он целы сутки;
Для мужика
Без молока
Приходит не до шутки.
Но — как ни плачь, но как скоти-
нушки ни жаль —
Ее отправь хоть в гошпиталь.
На вопль хозяина сбежались из де-
ревни
Матроны древни;
Весь бабий факультет
К больной приходит на совет.
Та говорит: "В корове сперлись
спазмы,
Ее бы в ванну посадить";
Другая: "Может быть, в коровуш-
ке миазмы;
Не худо прилепить
Ей шпанску муху
К уху";
А третья: "Поверьте мне, легко
В корове разлилось, быть может,
молоко";
Четвертая: "Чтобы помочь боль-
ной здоровью,
Привейте оспу ей коровью".
Тут мысль был класть всяк лих
И лезет в Эскулапы.

*Корова между тем, крестом сло-
живши лапы,
Вздохнула раз-другой, — и нет ее в
живых.
Такие ж и у нас бывают штуки,
И каждый, щедрый на совет,
Доит корову в обе руки,
А все корове пользы нет.*

Неудивительно, что и стрелы лицейских эпиграмм с этого времени часто обращались против бедного Хвостова.

Так-то новое веяние в "большой литературе" отозвалось и в тесных стенах царскосельского лицея.

Глава XII

Лицейский Дон Кихот

*Враги его, друзья его
(Что, может быть, одно и то же)
Его честили так и сяк.
Врагов имеет в мире всяк,
Но от друзей спаси нас, Боже!
"Евгений Онегин"*

*— Где ж мертвец?
Вон, тятя, э-вот!
"Утопленник"*

В том, что Пушкин, может быть даже очень скоро, удостоится чести приема в «Арзамас», никто из его товарищей-литераторов уже не сомневался. Заветною мечтою каждого из них было попасть туда же, и все они еще усерднее прежнего принялись царапать пером. Но так как избранным из них открылся уже доступ в "большую печать", то единственный в 1815 году собственный их рукописный журнал — "Лицейский мудрец" — имел не более двух-трех постоянных и притом слабых сотрудников.[29]

Вот два куплета самого удачного, по нашему мнению, стихотворения в «Мудреце», так и озаглавленного — «Мудрец». Оно названо подражанием Жуковскому, но составляет, вернее, пародию на известный роман Жуковского "Певец":

*На кафедре, над красными столами,
Вы кипу книг не видите ль, друзья?
Печально чуть скрипит огромная
доска,
И карты грустно веют[30] над
стенами.
На печке дудка и венец.
Восплачемте, друзья: могила
Прах мудреца на век сокрыла.
Бедный мудрец!
Нет мудреца! И дудка перестала
Приятный глас повсюду разно-
сить.
И в классах скорбно все — и все
молчит,
И, кажется, доска чернее стала!
Из печки дым коптит венец,
Его колебля над могилой,
И дудка вторит им уныло:*

Надгробные куплеты эти на "Лицейского мудреца" как бы предвещали его скорую кончину. Как, в самом деле, трудно было «Мудрецу» завербовать себе сотрудников, — нагляднее всего свидетельствуют бесплодные воззвания издателя "К читателям" в № 2 и 3:

"Право, любезные читатели, я чрезвычайно рассержен на вас (говорится в № 2). Как! Ни одного пособия не дать мне; заставить меня одного издавать журнал! Это стыдно! Весьма стыдно! После такого озорнического поступка я с вами и говорить не хочу!..

Что, читатели? Вы меня кличете? Так и быть; что вы только можете сказать в свое оправдание?

— Дела много!..

Неправда; на этой неделе и уроков не было. Немецкая бессмыслица не трудна...

— Предметов не было...

Вздор! Пустое! На этой неделе был царский день... Так! Вижу, вас лень одолела, мошенница... Только слушайте, любезные читатели, я вас на этот раз прощу; только хорошенько посмейтесь над тем, что только услышите в на-

шем журнале; но если же (страшитесь моего мщения!), если же для будущего номера вы мне ничего не пришлете стихотворного или прозаического, если же ваши Карамзины не развернутся и не дадут мне каких-нибудь смешных разговоров, то я сделаю вам такую штуку, от которой вы не скоро отделаетесь. Подумайте...

— Он не станет издавать журнала...

Хуже!

— Он натрет ядом листочки "Лицейского мудреца"... Вы почти угадали: я подарю вас усыпительною балладою г-на Гезеля!!!"

Гезель же был не кто иной, как злосчастный Кюхельбекер, которому везде и от всех доставалось.

Но первое воззвание, видно, ни к чему не повело. № 3 «Мудреца» начинается еще более сильными вздохами:

"Ох! охти мне! — Рифматизм!.. Горло болит; чуть-чуть дышу... Право, любезные читатели, я чрезвычайно болен, а вы заставляете меня говорить. Я думал, что болезнь моя избавит меня от того, чтоб издавать журнал; но не тут-то было. Вызвали меня из убежища, при-

ставили нож к горлу и кричат: "Издавай!..""

В этом же 3-м номере статья «Апология» (защитительная речь) заканчивается знаменательными словами: "...Еще скажу вам, что я чрезвычайно люблю спать; потому что, когда буду великим Канцлером России, то спать будет некогда, а теперь хочу наспаться на всю жизнь. Вы ожидаете от меня длинной Апологии; но я вам ничего не скажу, не потому, чтобы не было доказательств, но потому, что мне чрезвычайно спать хочется... Что-то зеваётся... Ох!.. ах!., ух!.."

Против последнего слова сделана внизу страницы такая выноска: "Просим любезных читателей извинить г-на Писаку, ему хотелось спать, и он набредил целый лист".

Из приведенных нами выписок очевидно, как понемногу, вместе со своими сотрудниками, засыпал "Лицейский мудрец", пока, в 1816 году, он не заснул навеки.

Временному оживлению «Мудреца» в конце 1815 года способствовал (совершенно, впрочем, помимо своей воли) Дон Кихот лицейский, Кюхельбекер. Поощряемый Жуковским, он хотя и упражнялся теперь преиму-

щественно в переводах с русского на свой родной, немецкий язык, но не мог, однако, отказать и от русского стихотворства. Даже на лекциях нередко обуревало его вдохновение. Раз, вызванный к доске профессором Карцевым, он второпях обронил на пол какой-то листок. Пушкин, к ногам которого упал листок, не замедлил поднять его и припрятать. Возвратясь от доски на свое место, Кюхельбекер начал рыться у себя в столе, сунулся в стол к соседу, заглянул и под лавку — все, конечно, напрасно.

— Donner Wetter...[32] — ворчал он про себя.

— Да что ты потерял, Кюхля? — спрашивали его соседи.

— Ничего! — коротко отрезал он и уткнулся в книгу.

Он был уверен, что по обычной своей рассеянности заложил стихи куда-нибудь в тетрадь или книгу и что они после сами собой найдутся. Они, точно, нашлись, но не сами собой и не там, где он думал.

Едва лицеисты собрались к обеду в столовой и принялись за суп, как Пушкин зазвенел

о стакан ложкой и провозгласил:

— Внимание, господа! В математическом классе у нас объявился нынче стихотворный найденыш. Кто его к нам подбросил — одному Аллаху известно. Но яблоко, говорят, падает недалеко от дерева, и потому по яблоку мы, может быть, доберемся и до дерева. Развесьте уши и утешьте души:

*Взликуют, русские народы,
Камчатки и Карпатских гор,
Дуная, Вислы воды,
Мы днесь составим цельный хор.
Все племена славенска, члены
Во сердце с правдою своем,
Собравшись под свои знамены,
Одним языком воспоем.
Страшилища Европы пали,
Кичливый свержен мира враг,
Как те, что Бога воевали,
Злодеям-извергам на страх.*

Гомерический хохот был ответом на нескладные, безграмотные вирши. Кто был автором их — ни для кого не осталось уже тайной, потому что Кюхельбекер хотя и скорчил самую невинную рожу, но с каждым стихом все более багровел в лице и, наконец,

нервически расплескал ложкой суп на ска-
терть.

— Молодец, Виленька! Вот так отличил-
ся! — хохотали вокруг товарищи.

— Чего вы пристали!.. Это вовсе не я... —
неумело протестовал Виленька.

— Виден сокол по полету, Дон Кихот по по-
ступу. Второй куплет особенно великолепен.
Прочти-ка его еще раз, Пушкин!

— Все племени славенска, члены
Во сердце с правдою своим...

— Говорят же вам, что это не я... — со сле-
зами уже в голосе перебил Кюхельбекер.

— Ну полноте, господа, — заговорил Валь-
ховский. — Спрячь стихи, Пушкин, или луч-
ше дай их сюда.

— Нет, брат, не отдавай: он их разорвет! —
крикнул Данзас. — Дай-ка лучше мне: это та-
кой клад для "Мудреца"...

Пушкин перебросил ему листок через стол.
Кюхельбекер сорвался со стула, чтобы на лету
поймать листок, но, по неловкости, он опро-
кинул только графин с водой, которая разли-
лась по всему столу. Листок же между тем
бесследно исчез.

Дежурный гувернер, который несколько раз безуспешно старался унять шумящих, серьезно внушил им теперь «перестать» и кушать, если они не желают, чтобы он послал сейчас за Степаном Степановичем, т. е. за грозным новым надзирателем Фроловым. Все взялись опять за ложки, за исключением одного Кюхельбекера: он, видно, окончательно лишился аппетита и с сердцем отодвинул от себя тарелку.

— Что же вы не кушаете, сеньор Ламанчский? — спросил его ближайший сосед, граф Броглио.

— Не хочу... — был глухой ответ.

— Однако, приказание начальства! Не слышал разве?

— Отвяжись, говорят тебе!

— Ну уж нет, как хочешь: против воли начальства никак невозможно.

С этими словами неугомонный снова пододвинул к Кюхельбекеру его тарелку и ласковым голосом дядьки, увещающего строптивого мальчугана, продолжал:

— Соседушка мой свет, пожалуйста, покушай!

— Оставь меня, Броглио, прошу тебя... — умоляющим уже тоном проговорил Кюхельбекер.

Тот, однако, все не унимался:

— Ты сыт по горло?

— Да, да...

— И полно, что за счеты,

Лишь стало бы охоты...

— Да у него нет, кажется, хлеба? — заметил с другого конца стола Пушкин. — На вот, Кюхельбекер, получай!

Он швырнул кусок хлеба через стол, да так ловко, что хлеб шлепнулся прямо в тарелку рыцаря Ламанчского — и суп брызнул ему в лицо. Терпение бедняги лопнуло. Бормоча что-то бессвязное, он рванулся вон из-за стола. Но Броглио поймал его сзади за локти, насильно усадил опять на место и обратился к Дельвигу, который сидел по другую его руку:

— Покорми же его, барон! Не видишь разве, что у мальчика язык заплетается?

И кроткого в другое время Дельвига обуял бес дурачества. Он зачерпнул ложкой супу и поднес ее к губам Кюхельбекера.

— На, милочка, ешь на здоровье!

А что же гувернер?

Гувернера в столовой уже не было: убеждаясь, что одному ему с шалунами не управиться, он бросился за надзирателем.

Между тем Кюхельбекер, поводя кругом налитыми кровью глазами, как дикий зверь в сетях, в исступлении барахтался и брыкался в сдерживавших его руках силача Броглио; губы же его изрыгали отрывисто такие неприличные речи, каких от него никто еще до сих пор, не слышал.

— Дон Кихот наш с ума сошел! Дон Кихот взбесился! — раздалось вокруг стола. — Облейте его водой!

Но воды под рукой у Дельвига не оказалось: опрокинутый Кюхельбекером графин не был еще налит. В порыве мальчишества, не отдавая себе отчета в своем поступке, Дельвиг схватил недоеденную им тарелку супа и опорожнил ее на голову беснующегося.

Товарищи ахнули; сам Дельвиг, видимо, смутился, а Кюхельбекер, сделав сверхъестественное усилие, вывернулся из обхватывавших его рук и опрометью кинулся к выходу.

— Куда вы, Вильгельм Карлыч? — спросил

его один дядька, загораживая ему у дверей дорогу.

Рослый Дон Кихот лицейский отодвинул его, как ребенка, в сторону.

— Помолись за мою грешную душу...

— Батюшки светы! Да он и то ведь рехнулся, руки на себя наложит!.. — вскричал дядька — и пустился в погоню за ним.

Надо ли говорить, что и товарищи обезумевшего не безучастно отнеслись к этому и не остались сидеть за столом?

Стояла глубокая осень; с ветвистых вековых деревьев дворцового парка осенним ветром срывало последние листья, и гуляющих почти нельзя было встретить. Единственное исключение составлял доктор Пешель. Имея склонность к тучности, он, навестив своих больных в Софии (предместье Царского Села), каждый раз, ради моциона, направлялся в лицей не прямым путем по шоссе, а окольными аллеями через парк, мимо большого пруда. Каково же было теперь его удивление, когда именно в обеденный час лицеистов он наткнулся тут на весь старший курс. Мало того: это была не обычная, чинная их прогулка, а

какая-то бешеная скачка или травля! Впереди всех, как преследуемый зверь, мчался исполтинскими шагами, в одной куртке, с непокрытой, растрепанной головой, долговязый Кюхельбекер. За ним шагах в тридцати, также налегке, без фуражек, гнались гурьбой его товарищи, а в арьергарде ковыляли, пыхтя и спотыкаясь, двое дядек-инвалидов. Доктор едва успел посторониться от налетевшего на него людского вихря.

— Что это с Кюхельбекером, Фома? — крикнул он вдогонку последнему дядьке.

— Рехнулся... — ответил тот на бегу, не умеряя шага.

— Рехнулся? — повторил про себя Пешель и взглянул на часы, точно справляясь, пора ли было Кюхельбекеру рехнуться. — Гм... фантаст! И то, пожалуй, удерет штуку. Надо вернуться.

Когда он стал подходить к большому пруду, донесшиеся до него оттуда смешанные крики ясно доказали, что "фантаст удрал уже штуку".

— Вон, вон! Вынырнул, пузыри пускает! — кричал один.

— Да ведь он плавать не умеет! — голосил другой.

Задыхаясь от одышки, толстяк доктор уже бегом добрался до пруда. Большинство лицеистов вместе с дядьками беспомощно бродили по берегу, не зная, что предпринять. Хотя снег еще не выпал, но в тихих бухточках поверхность воды кой-где уже затянуло тонкой ледяной корой. В нескольких же шагах от берега, фыркая и захлебываясь, барахтался в воде Кюхельбекер.

— Да нельзя ли хоть сбегать за лодкой? — заметил Пешель.

— Уж побежали, — отвечал один из лицеистов. — Матюшкин да Дельвиг, да еще кто-то.

— Помогите! — донесся с пруда отчаянный вопль.

— То-то вот: "помогите!" — философствовал доктор. — А кто в воду толкал? Не сам разве полез?.. Вы что это делаете, Вальховский? — обратился он к Суворочке-Вальховскому, который живо скинул с плеч куртку.

— Да вы разве не слышите, Франц Осипыч, что он зовет на помощь? — отозвался тот, начиная снимать и сапоги.

— Вы, батенька, кажется, тоже с ума спятили? — напустился на него Пешель. — Сейчас извольте-ка опять одеться.

— Да поймите, доктор, что он плавать не умеет! А я, слава Богу, плаваю, как утка. Пустите меня...

— Нет, уж извините, не пущу! — решительно заявил доктор, не выпуская его из рук. — При вашей слабой комплекции вы от такой ванны схватите горячку...

— А потом, небось, мы и отвечаем за вас? — раздался возле резкий посторонний голос.

Спорящие увидели перед собой надзирателя, подполковника Фролова, а вместе с ним временного директора Гауеншильда и дежурного гувернера.

Всех более, казалось, растерялся Гауеншильд. То и дело хватаясь за голову, он причитывал ломаным русским языком:

— Я сказал, что не можно быть так без директора, — и не можно! Коли не придет новый директор, я отставку подам. Завтра ж отпрафлюсь с мадам и *kleine*[33] Сашей...

"Мадам" была его супруга — *Madame Hauenschild*; *kleiner* Саша — сынок их.

— Да вон, ваше высокоблагородие, и лодка! — успокоил его подвернувшийся дядька. — Ишь ведь как лихо гребут! Мигом выудят.

И точно, не прошло пяти минут, как утопленник был благополучно выловлен из воды и уложен на дне лодки, а спустя еще полчаса он потел под двумя одеялами в лицейском лазарете. Барон Дельвиг, в качестве сиделки, усердно поил его потогонным чаем, который предписал простуженному доктор. Даже крепкая натура Кюхельбекера не выдержала купания в ледяной воде, и ночью у него открылся жар и бред. Дельвиг, изнемогая от усталости, все-таки дежурил бессменно у его изголовья. Доктор Пешель на все делаемые ему вопросы мычал только что-то себе под нос; но озабоченный вид его показывал, что положение больного нешуточное. Скрыть от министра настоящий прискорбный случай не представлялось возможности. После всестороннего обсуждения вопроса в лицейской конференции в Петербург был отправлен рапорт о том, что Кюхельбекер в припадке горячки выскочил, дескать, из лазарета и бро-

сился в пруд; в правлении же лица, как следует, было заведено особое дело: "Об умопомешательстве Кюхельбекера".

На третий день, впрочем, Кюхельбекер пришел в себя, и первое, что слышали от него доктор и Дельвиг, были стихи, которые он прочел замогильным голосом, не раскрывая глаз:

— *Сажень земли — мое стяжанье,
Мне отведен смиренный дом:
Здесь спят надежда и желанье,
Окован страх железным сном;
Безмолвно все в подземной келье...*

— Слава Богу, опять стихи сочиняет! — вздохнул из глубины души Дельвиг. — Он, кажется, очувствовался, Франц Осипыч?

— Кажется, что так, — отвечал Франц Осипович и взял больного за пульс. — Ну что, любезный пациент, выспались?

— Ах, доктор, зачем вы меня сбили! — проворчал пациент, щурясь от света:

Безмолвно все в подземной келье...

Дальше вот и забыл!..

— После вспомнишь, душа моя, — вмешал-

ся Дельвиг, наклоняясь над товарищем. — Не сердись, Кюхелькебер! Я виноват, кругом виноват, но, право, я никак не мог представить себе...

— Ничего, мой друг... Господь с тобой... Когда меня похоронят, вели только сделать на камне эту надпись...

— Рано вздумали помирать! — перебил Пешель. — Вы еще нас всех переживете.

— Ну конечно! — подхватил Дельвиг. — А эти стихи твои, право, очень даже складны.

Больной застенчиво улыбнулся.

— Ты находишь? Ну, спасибо тебе, барон, за доброе слово! Если хочешь, я тебе их да-же...

— На могильный камень пожертвуешь? — весело добавил Дельвиг. — За честь почту; очень обяжешь.

Так переполох с Кюхельбекером, угрожавший трагической развязкой, окончился ко всеобщему удовольствию вполне мирно и имел свою комическую сторону. Следующий же номер "Лицейского мудреца" не менее как в трех статьях и в одной карикатуре увековечил этот любопытный в истории лица эпи-

зод. Во-первых, "национальная песня" лицей-
стов обогатилась новым куплетом:

*Коль не придет директор,
Отставку я подам,
И завтра ж с kleiner Сашей
Отпрафлюсь и с мадам.*

Далее, в отделе «Критика», появилась ста-
тья «Найденыш», где были выписаны приве-
денные выше патриотические стихи Кюхель-
бекера и раскритикованы, как говорится, в
пух и в прах, причем так и пояснено, что эта
"высокая одическая бессмыслица пиндариче-
ского порядка" есть найденыш: "ее отыскали
в обширных степях математического класса,
и потому она немного холодна".

Наконец, в отделе «Политика» было поме-
щено пространное письмо к издателю "от
морского корреспондента, живущего в Ха-
рибде". В письме этом после описания боль-
шого торжества у жителей моря по случаю
праздника царя их Нептуна рассказывалось
так:

"В то время как все предавалось шумной
радости, вдруг возмущилась стеклянная по-
верхность вод. Смотрим и видим бледную,

толстую, с большим красным носом фигуру. [34] Все было на нем в беспорядке. Одной рукой хлопал он себя по ноге, в другую хрюкал. Он снизшел и тотчас, навалившись на спину Нептуна, начал ему басом говорить следующие стихи:

Сядем, любезный Нептун, под тенью зеленые рощи...[35][36]

Нептун танцевал тогда мазурку и потому чрезвычайно вспотел, а этот неуч навалился на него и скоро получил бы сильнейший кулак... как вдруг какой-то багор схватил его за галстук и потащил вверх"...

Иллюстрацией к письму "морского корреспондента" служила карикатура Илличевского.

"Помешательство" Кюхельбекера было явлением не случайным, единичным: оно было одною из многих неурядиц двухлетнего периода лицейского безначалия; оно было началом конца — конца "междоцарствия".

Глава XIII

Мракобесие лицеистов

*Тогда я демонов увидел черный рой,
Подобный издали ватаге муравьиной,
И бесы тешились проклятою игрой...
"Подражание Данту"*

Как добрый товарищ, Пушкин никогда не уклонялся от участия в каких бы то ни было ребяческих проделках лицеистов; но в то же время он неустанно трудился, чтобы достигнуть высокой цели — принести посильную дань родной литературе. Именно трудился, потому что хотя науками на школьной скамье он занимался по-прежнему не очень прилежно, так что впоследствии должен был стараться пополнить пробелы своего школьного образования, но своей необязательной работе — собственным стихам и собственной прозе — он посвящал целые часы, исправляя, отделявая каждую фразу до тех пор, пока не оставался ею вполне доволен. Поэтических же тем в голове у него роилось так много, что он не знал, за которую раньше приняться. Вы-

ше было уже упомянуто довольно подробно о его поэме-сказке «Фатама». Затем, в своих автобиографических записках конца 1815 года, он еще говорит:

"Начал я комедию, — не знаю, кончу ли ее. Третьего дня хотел я написать прозаическую поэму: "Игорь и Ольга".

Летом напишу я "Картину Царского Села":

1. Картина сада.
2. Дворец. День в Царском Селе.
3. Утреннее гулянье.
4. Полуденное гулянье.
5. Вечернее гулянье.
6. Жители Царского Села".

Какую именно комедию свою разумел он здесь, видно из письма Илличевского к другу его Фуссу (от 16 января 1816 г.):

"Кстати о Пушкине: он пишет теперь комедию в пяти действиях, в стихах, под названием «Философ». План довольно удачен, и начало, т. е. первое действие, до сих пор только написанное, обещает нечто хорошее; стихи — и говорить нечего, а острых слов — сколько хочешь!.. Дай Бог ему успеха — лучи славы его будут отсвечиваться и на его товарищах".

(Пророческие слова!)

Ни «Фатама», ни «Философ» не дошли, однако, до нас, а "Игорь и Ольга", "Картины Царского Села" и, конечно, масса других еще замыслов так и остались в зародыше, без исполнения. Что «Фатама», впрочем, подобно «Философу», была начата и, во всяком случае, доведена уже до третьей главы, видно из тех же записок (от 10 декабря 1815 г.), где значится:

"Вчера написал я третью главу "Фатама, или Разум человеческий"; читал ее С. С. и вечером с товарищами тушил свечи и лампы в зале. Прекрасное занятие для философа! Поутру читал жизнь Вольтера..."

Так, кажется, и видишь нашего школьника-философа, как он, пожимая плечами, с усмешкой говорит:

— Ну что ж! Порезвился, поразмял члены, а там опять за работу.

С. С. которому читал он свою поэму, был некто иной, как Степан Степанович Фролов, надзиратель лицейский. Отставной подполковник, солдат аракчеевского закала с головы до пяток, Фролов в деле воспитания выше всего ставил строгую дисциплину. Если ему, в те-

чение короткой бытности его в лицее, не удалось еще «приструнить», "вымуштровать" распущенных «мальчишек», то единственно потому (как уверял он, по крайней мере, сам), что "руки у него были коротки": что над ним стояли и временный директор, и конференция.

Слава Пушкина как первого лицейского стихотворца дошла, конечно, и до ушей Фролова. Но он не придавал ей никакого значения до тех пор, пока новое патриотическое стихотворение нашего поэта не затронуло в груди бравого воина сочувственной струны. 1 декабря 1815 года император Александр Павлович вторично вернулся из Парижа, и Пушкин по этому поводу написал свои известные стихи "На возвращение государя императора из Парижа в 1815 году". Вспоминая, вероятно, свое собственное участие в знаменитом Кульмском бою, Фролов однажды совершенно неожиданно при встрече с Пушкиным выпалил в него его же стихами:

— Сыны Бородина, о кульмские герои,
Я видел, как на брань летели ваши строи...
Молодец мужчина! Отвел душу...

В редких порывах благосклонности к воспитанникам надзиратель удостоивал их отеческим "ты".

— Да у меня есть еще и лучше стихи, — не утерпел похвалиться Пушкин.

— Ну?

— Уверяю вас, Степан Степаныч.

— Тащи!

Ослушаться надзирателя — при его вспыльчивости — было немислимо. Да, с другой стороны, молодому автору было и лестно, что суровый "сын Марса", ничего писаного, кроме рапортов, не признававший, заинтересовался его юношескими опытами.

— Слушаю-с, — сказал он и побежал за двумя окончательно им пересмотренными и перебеленными главами "Фатамы".

На другое утро Фролов, выстраивая лицестов в ряды, чтобы вести их в класс, и только что прикрикнув на них: "Смирно!", вдруг обернулся вполоборота к Пушкину и как бы невзначай проронил:

— А дальше-то?

Пушкин понял сейчас, что речь идет о его поэме.

— Дальше еще не готово, Степан Степаныч...

— Ась?

— Не дописал.

— Вот на! Зачем же по губам помазали?

— Да некогда: лекции.

— Гм!.. А когда успеет?

— Третья-то глава у меня вчерне тоже, пожалуйста, написана...

— Ну, и прислать!

— Вы ничего не поймете.

— Что-о-о-с!? Да вы, молодой человек, забываетесь... Руки по швам!

— Каракуль моих не разберете.

— А! Не ваше дело.

Надзиратель обратился опять к остальным лицеистам, в рядах которых слышалось перешептывание.

— Но-с! Это еще что? Равняйсь! С левой ноги начинай... Кюхельбекер! Вы что? Ворон считаете? Где у вас левая нога?

Кюхельбекер отдернул выставленную правую ногу.

— Носки вниз! Вольным шагом марш! Раз-два! Раз-два!

Недаром Пушкин предупреждал Фролова, что тому не разобрать его каракуль. В рекреацию после ужина он был вызван лично на квартиру надзирателя.

— У вас тут сам черт ногу сломит! — было первое приветствие, с которым встретил его хозяин.

— Да я же говорил вам, Степан Степаныч, — отвечал Пушкин, с трудом удерживаясь от улыбки.

— Ась? Вот стул. Вот ваше чертово писанье. Извольте читать.

Пушкин уселся на указанный стул, раскрыл тетрадь и начал:

— "Глава третья..."

— Стой! — крикнул вдруг Степан Степанович так оглушительно громко, что Пушкин даже вздрогнул. — Человек! Трубку!

Стоявший на часах за дверьми «человек», т. е. сторож-инвалид, бросился со всех ног в комнату исполнить приказание. Набив начальнику свежую трубку, он повернулся было налево кругом, но был остановлен окриком:

— Куда? Ни с места!

Он замер, как статуя. Степан Степанович,

пускающая к потолку клубы дыма, более милостиво отнесся к молодому гостю с обычным лаконизмом:

— А сахарной воды?

— Нет, благодарю, — отвечал Пушкин также лаконично.

— Чего стал? Но! — буркнул надзиратель на человека-статую, и тот как явился, так и исчез мгновенно.

Чтение началось. Пушкин вообще читал хорошо, а на этот раз еще особенно постарался. Действие его чтения на единственного слушателя тотчас сказалось. Сначала Фролов только «хмыкал», потом стал издавать одобрительные возгласы: "Эхе!", "Ишь ты! Поди-ка, на!", "Эк его, нелегкая!", наконец толкнул костлявой рукой колено молодого чтеца и прервал его:

— Постой минутку! Так, стало, это молодец-то твой из взрослого человека да мальчик с пальчик стал?

Пушкин поднял глаза от рукописи, чтобы ответить. Но ответить ему не пришлось. Сидя лицом к входной двери, он за спиной начальника увидел вдруг на пороге Пущина, кото-

рый делал ему какие-то телеграфные знаки.

— Виноват, Степан Степаныч... — сказал он и живо приподнялся.

— Куда? Нездоровится, что ли?

— М-да...

— Так капли?

— Благодарю вас... Я сейчас...

И, не слыша уже, что кричал ему еще вслед хозяин, забыв на столе и тетрадь, он выскочил вон.

Покачав головой, Степан Степаныч взял опять в руки замысловатую сказку и стал ее перечитывать сначала. Лоб его то и дело морщился, губы скашивались на сторону и бормотали что-то далеко не лестное для почерка автора.

Прошло пять минут, прошло десять, а автора все не было.

— Человек! — крикнул надзиратель.

Тот, однако, тоже куда-то отлучился: ничего рядом не шелохнулось. Фролов раздраженно ударил кулаком по столу.

— Человек!

Хлопнула отдаленная дверь, послышались поспешные шаги, и в комнату вместо «чело-

века» влетел вихрем младший дядька Сазонов.

— Беда, ваше высокоблагородие!

Старый служака разом встрепенулся и был на ногах.

— Что там?

— Да в рекреационном-то зале тьма крошечная...

— Ну?

— Все лампы потушены, и такой содом... светопредставление, одно слово.

Глаза надзирателя зловеще засверкали...

— И Пушкин там же?

— Кажись, что вместе с другом своим Пушциным-с прошмыгнули.

— Га!.. Ну, голубчики-сударики!..

Еще на лестнице, за два перехода от рекреационного зала, до него донесся такой гвалт, что он счел нужным походный шаг свой обратить в беглый.

— Слава Богу! Мы все ждем не дождемся, полковник... — крикнул ему навстречу дежурный гувернер, Калинич, который с толпой дядек и сторожей-инвалидов стоял в нерешительности около дверей в зал. Двери

были притворены, но, тем не менее, от доле-
тавшего из-за них шума едва можно было
разобрать свою собственную речь.

— Стыдно, Фотий Петрович, стыдно-с! —
укорил подчиненного "полковник".

— Да я только вышел на минутку, как
вдруг-с...

— Стыдно-с! Отчего не войдете?

— Да я вот посылал Леонтья, как старшего
дядьку, зажечь там лампы...

— Ну?

— Отказывается...

— Что-о-о?!

Вперед выступил теперь сам старик обер-
провиантмейстер и старший дядька Леонтий
Кемерский.

— Не то чтоб отказывался, ваше высоко-
благородие, — с достоинством заговорил
он, — а думал, не вышло бы okazji... Ежели
же оставить их так, — пошумят, пошумят да и
уймутся.

— Трус!

— Георгиевский кавалер, сударь, не может
быть трусом! — оскорбленно и гордо отозвал-
ся старик дядька, указывая на белый крестик,

украшавший его грудь в ряду других крестов и медалей. — Не раз за царя и отечество кровь проливал. Но тут не враг какой, а большие детки, да и детки-то не простые, а дворянские: их пальцем не моги тронуть, а тебя они сторяча да с ребячьей дури на свою же беду пристукнут...

— Ну и трус, значит! — нахально перебил его младший дядька Сазонов. — Ваше высокоблагородие! Дозвольте мне вести туда всю команду?

Благодаря своей необыкновенной шустрости и пронырливости Сазонов в короткое время успел расположить в свою пользу чересчур доверчивого и простого Фролова. Выказанное им в настоящем случае мужество особенно подняло его в глазах отставного воина.

— Мне сдается, Леонтий, — сухо заметил надзиратель, — что тебе пора совсем на покой, а на твое место найдется кто помоложе.

Сазонов окинул Леонтия торжествующим взглядом.

— Так прикажете идти, что ли, ваше высокоблагородие?

— Виноват, Степан Степаныч, — счел нуж-

ным вмешаться тут гувернер. — Ведь с молодежью этой инвалидам нашим нелегко будет управиться. А выйдет что, так ответственность на ком прежде всего ляжет-с? Мы с вами все же не первые спицы в колеснице...

Степан Степанович мрачно насупился, но отказался уже, по-видимому, от насильственных мер.

— Так вы полагаете капитулировать? — нехотя процедил он сквозь зубы.

— Осторожнее-с...

— Гм...

Он испустил глубокий вздох; потом разом раскрыл настежь дверь в рекреационный зал и по-военному зычно крикнул:

— Смир-но!

Когда же стоявший в непроглядном мраке зала гомон мгновенно затих, он спросил:

— Пушкин! Вы там?

— Здесь, — откликнулся из темноты голос Пушкина.

— Пожалуйте-ка сюда!

— Не ходи! — закричало несколько голов. — Не пускайте его, господа!

— Я за тебя пойду, Пушкин! — вызвался

бас с немецким акцентом, и на пороге появилась высокая, неуклюжая фигура Кюхельбекера.

— Что вам угодно, Степан Степаныч?

Не успел Степан Степанович еще ответить, как несколько таинственных рук с криком "Ты куда?" протянулось из темноты за непрошеным посредником, поймало его за шиворот, за что попало; в воздухе мелькнули его пятки и руки — только его и видели! Из темного зала грянул раскатистый хохот. Инвалиды и гувернер также не могли удержаться от смеха. Даже на строгих губах надзирателя на минутку заиграла улыбка.

— Так что же, Пушкин? — громко повторил он.

— Позвольте, братцы! Это уж мое дело! — заговорил Пушкин и вслед за тем протеснился вперед к начальнику.

— Так вот зачем вы ушли от меня? — укорил его тот. — Чтобы баламутить других?

— Не за этим, — просто отвечал Пушкин, — меня позвали...

— Кто?

— Извините, если умолчу. Позвали — я не

знал для чего. Но раз я здесь, так не выдавать же товарищей: на миру и смерть красна.

Между тем в зале снова поднялся шумный говор, но уже говор спорящих:

— Нет, нет! Мы не согласны! — горланило несколько человек.

— Да ведь это, господа, наконец, глупо! — можно было расслышать голос Суворочки-Вальховского. — Пошумели — и будет. Зачем же еще доводить до неприятностей?

— Но теперь нас все равно накажут...

— Я объяснюсь.

Опять поднялось несколько протестов, но также бесполезно; около Пушкина из темноты вынырнула фигура Вальховского.

— Дозвольте нам, Степан Степаныч, разойтись по дортуарам, — начал он.

— Га! — произнес Степан Степанович. — А там вы, небось, опять набедокурите...

— Нет, уверяю вас, с нас довольно.

— Ой ли? А кто мне за то ответит?

— Я вам отвечаю и за себя и за товарищей словом лицеиста.

— Так... Ну, слово лицеиста, должно быть, вам не менее свято, как нашему брату слово

офицера: Бог вам на сей раз судья — расходитесь!

Сам Вальховский был несколько озадачен такой стоворчивостью непреклонного всегда надзирателя. Но задумываться над этим ему не пришлось: товарищи из рекреационного зала внимательно следили за его переговорами и теперь так дружно наперли на вторую половинку двери, что та распахнулась с треском. И начальство, и подначальная инвалидная команда поспешили дать дорогу молодежи, которая хлынула оттуда бурной волной.

— Ведь я же докладывал вашему высокоблагородию... — заметил Леонтий Кемерский.

— Что-о-о? Ты еще разговаривать? — вскинулся на него Фролов. — Не быть тебе старшим дядькой, сказано тебе, — и не будешь!

То была не пустая угроза: через несколько дней она оправдалась на деле.

Глава XIV

Конец междоусобия

*И что ж? Попались молодцы;
Не долго братья пировали:
Поймали нас — и кузнецы
Нас друг ко другу приковали...
"Братья разбойники"*

Классные занятия лицеистов перед рождественскими праздниками 1815 года были прекращены дня за два до сочельника. Но пока товарищи Пушкина на радостях задумывали новые проказы, сам он уединялся в своей камере, чтобы набросать на бумагу то, что назрело у него в голове во время последней лекции. То не была, однако, на этот раз какая-нибудь обширная поэма. Восьмилетняя сестрица друга его Дельвига — Мими, или Машенька, с которой он виделся только однажды, в день своего приемного экзамена, просила его письменно через брата написать ей что-нибудь в альбом. Значит, и до нее даже, маленькой крошки, туда, в Москву, дошла весть о его таланте! Он только что дописывал последние

строки, как в комнату к нему ворвались два приятеля: Пущин и Малиновский.

— Так ведь и есть! — сказал Малиновский. — Опять скрипит пером! Идем-ка сейчас с нами.

— Минутку... — попросил Пушкин, — только пару слов...

— Ни полслова.

Решительный и живой Малиновский вырвал у него из-под рук бумагу и, кажется, смял бы ее в комок, если бы Пущин не удержал его за руку.

— Постой, Казак! (*Казак* было лицейское прозвище Малиновского.)

— Да ведь надо же его хоть раз наказать...

— И других вместе с ним! Ты для кого это пишешь, Пушкин?

— Для сестры Дельвига, Мими.

— Вот видишь ли, Малиновский: наказал бы и девочку, и нашего милого барона.

— Так бы сейчас и сказал, — отозвался Казак-Малиновский и возвратил стихи автору, который, приподняв крышку конторки, спрятал их туда.

— Что вы там опять затеваете, господа? —

спросил он.

— А вот что... — начал Малиновский.

— погоди! — остановил его Пущин и, подойдя к двери, оглядел коридор. — Нет ни души. А то, вишь, могли бы подслушать. Говори, только потише.

— Вот что, — продолжал, понизив голос, Малиновский, — мы завариваем гоголь-моголь.

— Доброе дело! — сказал Пушкин и даже облизался. — Но материалы?

— Материалы все налицо: два десятка яиц, сахар, ром...

— И ром? Как же это Леонтий решился дать вам? Ведь он Степаном Степаньгчем так запуган, что едва ситника с патокой от него раздобудешь.

— Мы и то еле выклянчили у него яйца да сахар. За ромом пришлось откомандировать Фому.

— Да он-то как не побоялся?

— И он тоже долго ломался; но когда мы его уверили, что всю ответственность берем на себя, и посулили ему сребреник, то он не устоял.

— Разве что сребреник! А где же место действия?

— Угадай.

— У одного из вас?

— Нет.

— У Фомы?

— О нет! Каморка его слишком тесна да и душна.

— Так где же?

— В карцере!

Пушкин звонко расхохотался.

— Вот это гениально! И идти-то потом недалеко, коли засадят. Ну, так руки по швам, налево кругом и марш!

— Тссс!.. — сказал вдруг, поднимая палец, Пуцин. — Кто-то, кажется, крадется к нам по коридору.

Он на цыпочках приблизился опять к двери, за которой шорох уже затих. Лампы в полутемном коридоре были зажжены, и потому сквозь решетчатое окошечко Пуцин ясно мог разглядеть прикорнувшую на полу фигуру в солдатской форме.

— Ты что там делаешь? — крикнул он в окошечко.

Фигура мигом шарахнулась в сторону и, согнувшись в три погибели, бросилась вон.

— Кто это был там? — в один голос спросили Пушкин и Малиновский.

— А все дрянь эта, Сазонов! — отвечал Пуштин. — Вообразил, вишь, что его не узнают.

— Плут этот и давеча прошмыгнул мимо, когда я у Леонтья заказывал яиц да сахару, — заметил Малиновский.

— Ну вот! Того и гляди, что выдаст. На всякий случай, господа, не уйти ли нам поодиночке отсюда? Вы ступайте прямо на место, а я заверну еще к Фоме — узнать, поставлен ли у него самовар.

— А не позвать ли еще барона? — предложил Пушкин.

— Что ж? Зови, пожалуй, веселее будет.

Когда Пушкин с бароном Дельвигом спустились в уединенный карцер, то застали уже там всех за работой: Пуштин толоч сахар, Малиновский бил яйца, а дядька Фома возился около дымящегося самовара.

— Ну, а теперь, братец, убирайся! — сказал последнему Малиновский. — Да чур, никому ни гугу. Слышишь?

— Слушаю-с.

— А пуще всего Сазонову.

— Да уж с этим аспидом я и слова не промолвлю.

— И прекрасно. Проваливай!

Гоголь-моголь удался на славу. Никто не потревожил четырех друзей, пока они не наелись всласть. Но гоголь-моголь, как известно, очень сытен, так что из двух десятков заготовленных яиц остались еще нетронуты штук шесть-семь, и очень кстати пожаловали тут двое непрошенных гостей — граф Броглио и Тырков.

— Эге-ге! Дело в полном ходу! — сказал, заглядывая в щелку, Броглио и свистнул. — Можно войти?

— Милости просим! — отвечал Малиновский. — Но как вы, братцы, пронюхали?

— Верхним чутьем.

— Нет, нижним: через Сазонова! — перебил Тырков и, чрезвычайно довольный своей дешевой остротой, во все горло захохотал.

Пуцин переглянулся с тремя приятелями.

— Ну, что я давеча говорил? Сазонов — ужасный пройдоха! Одним уж выдал.

— А тебе жалко небось поделиться с нами? — спросил Броглио.

— Нет, сделай милость...

— Да у вас тут, пожалуй, ничего путного и не осталось?

— А вот, видишь, сколько еще яиц и сахара; рому же мы почти вовсе не тронули: подливали только для аромату.

— Эх вы, горе-лицеисты! Что, брат, Тырковиус, покажем им, как надо варить гоголь-моголь? — отнесся он к своему спутнику и хлопнул последнего по плечу с такой силой, что тот даже присел.

— Покажем! — молодежато отозвался простоватый Тырков. — Заваривай!

...Прозвонил вечерний 9-часовой звонок, сзывавший лицеистов к ужину. Но в столовой не было еще ни души. Дежурный гувернер Калинич направился в рекреационный зал, откуда доносились гам и хохот.

Центром веселья оказался Тырков, которого посреди зала широким кругом обступили товарищи.

— Ай да Тырковиус! Ну-ка еще! — раздавались кругом одобрительные крики.

При входе гувернера произошло общее смятение, и все со смехом повалили в столовую, оставив посреди зала одного Тырковиуса. Тот, лихо подбоченясь и расставив ноги, посоловелыми глазами уставился на Калинича и щелкнул языком.

— Да вы здоровы ли, Тырков? — спросил гувернер, подозрительно всматриваясь в него.

— Покорнейше вас благодарю! — отвечал Тырков, во весь рот осклабляясь и отвешивая необычайно развязный поклон. — А ваше здорье как, Фотий Петрович?

— Вы в самом деле, кажется, не совсем в нормальном состоянии, — еще более настоятельно заметил Фотий Петрович. — Я советовал бы вам теперь же идти к себе в камеру и прилечь.

— Без ужина? За что же-с это?

— Вы и так, кажется, лишнее перехватили...

— Ах нет-с, совсем даже не лишнее: чуточку только гоголю-моголю...

— То-то вот чуточку! Ступайте-ка, право, наверх к себе и не показывайтесь больше.

— Фотий Петрович, голубчик! — слезно уже взмолился Тырков. — Мне до тошноты есть хочется! Дозвольте поужинать с другими в столовой!

— Но обещаетесь ли вы вести себя скромно?

— Уж так скромно, Фотий Петрович! Сами знаете, как я скромн...

— Ну, Бог с вами! Только смотрите у меня! Но, несмотря на свое обещание, Тырков, подзадориваемый за столом товарищами, продолжал выказывать такое «ненормальное» настроение, что Фотий Петрович счел наконец нужным послать за надзирателем Фроловым. Тот не замедлил явиться, и начался формальный допрос.

От лицеистов надзиратель ничего не добился; точно так же и прислуга сначала от всего отнекивалась. Но подвернувшийся тут Сазонов будто проговорился, что слышал кое-что от Леонтия. Потом, припертый к стене начальником, с тем же наивным видом поведал далее, что Леонтий отпустил, дескать, при нем на гоголь-моголь яиц да сахару, а его, Сазонова, хотел послать в лавочку за ромом, но

он отговорился недосугом.

— Бога в тебе нет, Константин!.. — напустился на него Леонтий. — Яиц и сахару я, точно, каюсь, отпустил...

— Цыц! Молчать! — оборвал его надзиратель. — Вас обоих мы еще разберем; во всяком случае, тебе, Леонтий, не быть уже старшим дядькой да и не продавать тебе с нынешнего дня воспитанникам ни единого сухаря; слышишь? А кто был заказчиком у него, Константин? — обратился он опять к Сазонову.

Угрожающий ропот между лицеистами заставил Сазонова опять съежиться и отпереться.

— Виноват, ваше высокоблагородие, — пробормотал он, — ей-ей, запомятовал.

Фролов круто обернулся к лицеистам и заговорил так:

— Товарищество — дело святое, господа. Тех из вас, что не выдают зачинщиков, я не очень виню; но тех двух-трех, которые всему виною и которые, оберегая свою шкуру, прячутся за других — как прикажете назвать? Они — трусы, хуже того — изменники... Что-о-о-с? Дайте договорить. Да-с, изменники, пото-

му что в свою беду втягивают весь класс, ни душой, ни телом не повинный. Верно я говорю, Пушкин, ась? — отнесся надзиратель к Пушкину, вероятно случайно, потому только, что тот стоял впереди других и что физиономия его еще прежде ему примелькалась. Но он попал как раз в цель. Пушкин выступил из ряда и признался:

— Верно, Степан Степаныч, и позвольте повиниться: я зачинщик.

— И я! и я! и я! — откликнулись за ним еще трое: Пуцин, Малиновский и Дельвиг.

— Нет, Степан Степаныч, Дельвига я позвал, — вступился Пушкин, — вы его, пожалуйста, увольте.

— Гм... так и быть, ступайте, — решил Степан Степанович. — Всех вас, значит, сколько же: трое?

— Трое.

В это время протеснился вперед граф Бруглио.

— Правду сказать, Степан Степаныч, и я в этой пьеске играл небольшую роль...

— Небольшую?

— Да, так сказать, выходную, и не с первой

сцены, потому что несколько запоздал...

— Стало быть, вы, граф, не были первым зачинщиком?

— Не первым, но...

— Ну, и благодарите Бога. А вы трое извольте-ка идти под арест и ждать решения. Ты, Константин, отвечаешь мне за них!

На следующее утро в Петербург поскакал нарочный с донесением от Гауеншильда; а на третий день в Царское прибыл сам министр, граф Разумовский. Трем «зачинщикам» был сделан строгий выговор, а проступок их был передан на решение конференции профессоров. Решение состоялось такое:

1) Две недели провинившимся стоять на коленях во время утренней и вечерней молитвы.

2) Пересадить их за столом на последние места.

3) Занести их фамилии в *черную книгу*.

Все три пункта были исполнены в точности. Две недели подряд, изо дня в день, наши три приятеля выстаивали молитву на коленях. За едой им были отведены самые невыгодные места в конце стола, где кушанье по-

давалось после всех; но так как, вообще, воспитанники рассаживались по поведению, то вскоре оштрафованные имели возможность подвинуться вверх. Относительно черной книги, которая должна была иметь значение при выпуске из лица, мы скажем подробнее в свое время, в одной из последующих глав.

Но более, чем зачинщики, более даже, чем бравый старик покровитель их обер-провиантмейстер Леонтий Кемерский, пострадал его подчиненный, младший дядька Фома. От погребщика, у которого была добыта им злощастная бутылка рому, пронырливый Сазонов разведал, кому она была отпущена. В тот же день и час Фома должен был навсегда убраться из Царского. Однако еще до его ухода лицеисты старшего курса, прослышав о постигшей его беде, сделали посильную складчину, чтобы хоть чем-нибудь вознаградить беднягу за потерю места.

В средних числах января 1816 года Гауеншильд, по собственной его усиленной просьбе, был также уволен от обязанностей директора, и временное «директорство» было возложено на Фролова, который успел уже заре-

комендовать себя энергией и распорядительностью.

"Директорство" Фролова длилось не более двух недель, но оно надолго осталось памятным лицеистам. Первым делом его было назначение Сазонова старшим дядькой и оберпровиантмейстером.

Отозвалось это назначение на лицеистах особенно чувствительно потому, что они сговорились никаких лакомств у этого «фискала» не покупать и, таким образом, добровольно приговорили себя к голодовке на неопределенное время.

Далее, Фролов признал нужным подвергнуть их везде и во всем самому строгому надзору. Так, гулять их водили не иначе, как под двойным конвоем; отлучаться в свои дортуары они могли только по особым билетам; даже газеты и журналы попадали к ним в руки не ранее, как после самой тщательной цензуры со стороны гувернеров, которые должны были вырезать все «нецензурное». За столом воспитанников рассаживали, как уже сказано, по поведению, вследствие чего у них сложилась даже поговорка:

Блажен муж, иже
Сидит к каше ближе.

Карцер ни одного дня почти не пустовал, а лицеисты младшего курса за всякую провинность, смех или громкое слово простаивали по часам на коленях.

Порядок, казалось, был окончательно восстановлен. И вдруг... вдруг по лицу пронеслась почти невероятная, ужасная весть, которая перевернула все вверх дном. Недалеко от лицея было совершено зверское убийство: старик разносчик и находившийся при нем мальчик были найдены плавающими в крови, а за ближней оградой был отыскан окровавленный топор. По топору напали на след убийцы. И кто же оказался им?

Не кто иной, как вновь возведенный в старшие дядьки Сазонов, который, как вскоре потом было дознано, и прежде этого уже имел на своей совести не одну человеческую душу. Само собой разумеется, что преступник был отдан в руки правосудия.

Но случай этот дал последний толчок «междоусобице». Прибывший тотчас же в Царское Село министр был, прежде всего,

неприятно поражен представившейся ему в рекреационном зале картиной: чуть ли не весь младший курс в две шеренги стоял там на коленях.

— Это что за комедия? — нахмурясь, спросил министр.

— Проштрафились, ваше сиятельство, — отвечал почтительно Фролов. — Смею доложить...

Граф сделал нетерпеливое движение.

— У вас здесь, видно, повальное непослушание?

— Точно так-с: повальная болезнь. Одно средство: военная муштровка. Ежели бы ваше сиятельство соизволили разрешить ввести поротное обучение воинским артикулам, маршировку в три приема...

Министр так выразительно отмахнулся, что надзиратель замолк на полуфразе.

— Встаньте, господа! — обратился граф Разумовский к мальчикам. — Я возлагал всегда большие надежды на лицей, я любил лицейстов как собственных детей; а теперь, господа, — теперь я, видите, краснею за своих детей! Надеюсь, что никого из вас я уж никогда

больше не увижу в этом униженном положении.

Добрые слова министра оказали на мальчуганов большее влияние, чем вынесенное ими наказание. По крайней мере, редкий из них после того стоял еще на коленях. А скоро и надобность в том миновала: 27 января 1816 года в лицей был назначен наконец постоянный, «настоящий» директор в лице Энгельгардта, директора петербургского педагогического института.

Фролов номинально хотя и продолжал числиться еще надзирателем, но совсем стусевался, а в начале следующего, 1817 года и вовсе оставил службу. Но некоторые черты его двухнедельного управления сохранились в новой "национальной песне", которую воспитанники часто потом распевали хором. Вот несколько куплетов этой нехитрой песни:

*Детей ты ставишь на колени,
От графа слушаешь ты пени...
По поведенью мы хлебаем,
А все молитву просыпаем...
Наверх пускал нас по билетам,
Цензуру учредил газетам...*

*Очистил место Константину,
Леонтья чуть не выгнал в спину...*

Очень может быть, что и Пушкину принадлежит тот или другой куплет. Гораздо менее вероятно участие его в небольшой поэме «Сазоновиада», появившейся в последнем номере "Лицейского мудреца" за 1815 год, крайне слабой по конструкции стиха.[37] Зато несомненно, что междуцарствие подало Пушкину мысль к басне о грешной душе, переходящей из рук в руки, от одного черта к другому. Басня эта, как и многие другие юношеские опыты его, затерялась. Наконец, на Сазонова он написал еще эпиграмму, в которой кстати задел и добрейшего доктора Пешеля:

*Заутра с свечкой грошевою
Явлюсь пред образом святым.
Мой друг! Остался я живым,
Но был уж смерти под косою;
Сазонов был моим слугою,
А Пешель лекарем моим!*

Глава XV

Директор Энгельгардт

*Лишь только Анджело вступил во
управленье,
И все тотчас другим порядком потек-
ло,
Пружинны ржавые опять пришли в дви-
женье,
Законы поднялись, хватая в когти
зло...
"Анджело"*

Хотя назначение Энгельгардта директором Лицея состоялось еще в январе 1816 года, но сдача им своему преемнику прежней своей должности — директора педагогического института — задержала его в Петербурге до первых чисел марта. Из присланного между тем в правление лицея формулярного списка нового директора лицеисты уже знали: что он родился в Риге в 1775 году (стало быть, ему было с небольшим 40 лет); что он воспитывался в Дерптском университете и что еще молодым человеком 26 лет он был назначен помощником статс-секретаря государственно-

го совета, а последние четыре года был начальником педагогического института. Несколько лицеисты были заинтересованы его личностью, видно из следующих строк Илличевского к петербургскому школьному другу своему Фуссу, писанных 17 февраля 1816 года:

"Благодарю тебя, что ты нас поздравляешь с новым директором; он уже был у нас. Если можно судить по наружности, то Энгельгардт человек не худой. *Vous sentez la pointe* (Пони-маешь соль)? Не поленись написать мне о нем подробнее; это для нас не будет лишним. Мы все желаем, чтоб он был человек прямой, чтоб не был к одним Engel (ангел), а к другим hart (строг)".

Опасения лицеистов были напрасны. С первого же дня Энгельгардт, очень опытный педагог, поставил себя как к прочему служеб-ному персоналу, так и к воспитанникам в самые правильные отношения. С профессорами он сошелся как с старыми знакомыми, потому что присутствовал еще в 1811 году на акте открытия лицея и, выпросив себе тогда у Куницына копию с произнесенной последним блестящей вступительной речи, в тот же ве-

чер перевел ее на немецкий язык, а затем, вместе с объяснительною к ней статьею, напечатал в "Дерптском журнале". Но так как он, с чисто немецкою аккуратностью, все время свое, с утра до ночи, посвящал вверенному ему заведению, то и профессора, на лекции которых он часто заглядывал, поневоле должны были сами «подтянуться» да и «подтянуть» учеников. Но, странно, лицеисты почти не чувствовали наложенной на них узды; не чувствовали потому, что узда эта служила Энгельгардту не столько для сдерживания, сколько для направления пылкой молодежи.

— Школа должна быть для ученика родным домом, — говаривал он, — чем более разумной свободы, тем более и самостоятельности, сознания собственного достоинства.

Эту-то "разумную свободу" он старался предоставить им во всем. Так, при самом поступлении своем в лицей, они немало гордились своей щегольской, парадной, "почти военной" формой: треуголкой, белыми в обтяжку суконными панталонами и высокими ботфортами. Но на деле форма эта оказалась довольно стеснительной: треуголку сдувало

ветром; тесные и светлые панталоны легко рвались и пачкались, а в ботфортах было неудобно бегать. И вот Энгельгардт выхлопотал им вместо треуголок — фуражки с черным бархатным околышем и красными кантами, вместо узких, белых панталон — просторные синие, а вместо ботфорт — сапоги. В отличие же старшего курса от младшего, первым дали на мундирах золотые петлицы, а вторым — серебряные, что льстило также, конечно, самолюбию старших.

Во время «директорства» подполковника Фролова воспитанники были приучены по военному застегиваться наглухо на все пуговицы. То же делали они вначале и при Энгельгардте. Но раз он застал их врасплох в рекреационном зале, когда они, набегавшись до третьего пота, расстегнули куртки, чтобы остыть. Оторопев, ближайшие к нему пробормотали что-то в извинение и стали поспешно застегиваться.

— Да ведь вам жарко, друзья мои? — сказал Энгельгардт. — Под курткой же у вас жилеты; стало быть, костюм ваш и так совершенно приличен.

Нечего говорить, что после этого лицеисты застегивались на все пуговицы только от холода.

Видя, с какою жадностью они накидываются на новые журналы, Энгельгардт озабочился доставить им больше полезного чтения. По его ходатайству лицеем была уступлена библиотека царскосельского Александровского дворца и стали присылаться в лицей избранные книги из числа поступавших в департамент народного просвещения, так что благодаря ему лицейская библиотека вскоре возросла до 7 000 томов.

Чтобы, однако, приохотить воспитанников и к чтению классических сочинений, Энгельгардт завел в конференц-зале литературные вечера. Обладая особенным даром читать на разные голоса, он читал по большей части сам, и лицеистам очень полюбились эти чтения.

По заведенному порядку, несколько раз в году в лицее бывали спектакли и танцы, а именно: в первое воскресенье после 19 октября (день открытия лицея), на Рождестве и иногда на Масленице. Энгельгардт не только

сохранил эти празднества, но еще упорядочил их, придал им образовательное значение и сам редактировал и даже сочинял представляемые пьесы. В то же время он обратил особенное внимание на пение и музыку, которые поручил хорошему капельмейстеру, барону Теппер де Фергюсону, так что лицейские концерты приобрели некоторого рода известность и за стенами лицея. Расходы на все эти собрания лицеисты по-прежнему покрывали складчиной, в которую богатые, по собственному уже побуждению, вносили, конечно, больше менее состоятельных.

Для телесных упражнений воспитанников Энгельгардт завел гимнастику, а в парке зимой устраивал для них ледяные горы и каток.

Раз до него дошел слух, что в Павловске у императрицы Марии Федоровны какой-то заезжий итальянец давал представления с маленькой дрессированной лошадкой. Он не замедлил послать за этим искусником, и на лицейском дворе, в присутствии всех обитателей лицея: начальства, воспитанников и прислуги, франт-итальянец во фраке, треугольной шляпе, чулках и башмаках вывел свою

ученую лошадку, которая премило кланялась публике, сгибая передние ноги, и ударом копыта отвечала на задаваемые вопросы о времени, о числе собранных тут лицеистов и т. п. Для финала сам "синьоре профессоре" (как величал себя фокусник) просвистал несколько итальянских арий соловьем. Графу Броглио последнее так понравилось, что он за приличное вознаграждение упросил искусника дать ему несколько частных уроков и, действительно, научился у него щелкать и рокотать почти по-соловьиному.

Всем описанным не ограничивались заботы Энгельгардта о лицеистах. Зимой, в праздники, он возил их на тройках за город, а летом, захватив с собой провизии, совершал с ними пешком отдаленные «географические» экскурсии, продолжавшиеся день и два.

Наконец, находя, что домашнее воспитание должно служить фундаментом для воспитания школьного и общественного, что обращение в семейном кругу и особенно в женском обществе «шлифует» угловатые манеры, смягчает нравы необузданной молодежи, — он выхлопотал у министра лицеистам стар-

шего курса право отлучаться после уроков в город, т. е. в Царское Село и Софию, в знакомые им семейные дома, и точно так же открыл им двери и в собственный свой дом. Семья его состояла из жены и пятерых детей. [38] Кроме того, в доме у него проживала молодая родственница — вдова Мария Смит, урожденная Шарон-Лароз, впоследствии вышедшая замуж за Паскаля, очень милая и остроумная дама. Ежедневно несколько человек лицеистов приглашались на квартиру директора и проводили здесь вечер в непринужденной беседе, в чтении по ролям театральных пьес, в общественных играх.

Здесь же, у Энгельгардтов, они увидели впервые запросто, как обыкновенного смертного, императора Александра Павловича. Государь, давно знавший и оценивший Энгельгардта, при встрече с ним в парке охотно с ним заговаривал, а иногда заглядывал к нему и в дом. Так зашел он раз под вечер, когда у директора собралась уже компания лицеистов, в том числе и Пушкин.

— Вижу и радуюсь, что директор и его воспитанники составляют одну нераздельную

семью, — сказал он; затем, обернувшись к хозяину, добавил: — Твои воспитанники, стало быть, для тебя не мертвый педагогический материал, а живые люди?

— Ваше величество, — отвечал Энгельгардт, — позвольте мне повторить то, что сами вы при мне приказывали вашему придворному садовнику, когда я имел раз счастье сопровождать вас на прогулке. "Где увидишь протоптанную тропинку, — сказали вы ему, — там смело прокладывай дорожку: это — указание, что есть потребность в ней".

— А у молодых людей, заметил ты, вероятно, не меньшая потребность в обществе взрослых и семейных людей?

— Да, ваше величество, в особенности же это важно для юношей восторженных и талантливых, которые подают большие надежды, но, по выходе из заведения, среди беспокойной толпы очутились бы как на бурном море.

— Так есть между твоими воспитанниками и такие? — спросил государь и, прищурясь своими близорукими глазами, с любопытством оглядел вытянувшихся в ряд лицей-

СТОВ.

— Одного я имею возможность сейчас представить вашему величеству, — сказал Энгельгардт и, подойдя к Пушкину, подвел его за руку к государю. — Это — Александр Пушкин, будущая надежда и краса родной литературы.

— Я читал твои "Воспоминания о Царском" и стихи на мое "возвращение", — ласково произнес Александр Павлович. — Старайся — и я тебя не забуду.

Поэт-лицеист от неожиданности был до того смущен, что ничего не нашелся ответить. Император, делая вид, что не замечает его замешательства, обратился опять к Энгельгардту.

— Ты, я полагаю, теперь уже не раскаиваешься, что принял от меня должность начальника лицея?

— Нет, государь, не только не раскаиваюсь, но полагаю, что всякий подданный ваш может мне позавидовать, — не потому, чтобы обязанности мои были так легки, а потому, что нет деятельности полезнее для общества, как деятельность добросовестного педагога.

— Ты полагаешь?

— Я убежден в этом. Всякая другая деятельность, как бы она ни была усердна, остается единичною; педагог же воспитывает, дает отечеству десятки примерных граждан и тем удесятеряет свою деятельность на пользу общества.

— Ты прав, — сказал государь. — воспитание юношества — самое благородное занятие, но, я думаю, и самое трудное! Мне остается только гордиться тем, что я выбрал тебя, что я — твой хозяин, как ты — хозяин твоего верного Султана. Кстати, что его не видать?

— Отслужил уже свою службу, ваше величество, — со вздохом отвечал Энгельгардт, — и прошлой зимой приказал долго жить.

— А жаль: славный пес был!

Сказав еще несколько милостивых слов хозяйке и молодым людям, император удалился. Лицеистов заинтересовало, почему вдруг Александр Павлович вспомнил о собаке директора?

— Султан мой был огромный водолаз и вернейший пес, — объяснил Энгельгардт. — И летом, и зимой он сторожил здесь в Царском

нашу дачу. Чужих он вообще очень неохотно пропускал в дом; военных же особенно недолюбливал. И вот однажды, когда я сидел в кабинете за письменной работой, за окошком раздался шум подъезжающего экипажа и страшный собачий лай. Я выглянул — да так и обмер: у калитки остановилась царская коляска; в саду же никого не было, кроме Султана, который с бешеным лаем огромными скачками бежал навстречу государю! Не помню уж, как я сам выскочил на балкон. И что же я вижу? Государь стоит совершенно спокойно там же, у калитки, и ласкает моего Султана, а Султан лижет ему ласкающую руку.

— Что ты так бледен, Энгельгардт? — спросил меня государь. — Ты нездоров?

— От испуга, ваше величество, — отвечал я. — Я услышал лай собаки и увидел вашу коляску...

— Чего же тебе было пугаться? Ведь она тебя, я думаю, слушается?

— Слушается, государь; но ведь я — ее хозяин...

— А я — твой хозяин, — сказал с улыбкой государь. — Ты видишь, собака это хорошо по-

нимает: она мне руку лижет.

Большинство лицеистов в скором времени оценило нового директора и с каждым днем все более привязывалось к нему. Даже своевольный граф Броглио, попытавшийся было сначала выйти из-под его власти, сам собой смирился. Дело было так.

Все лицейское начальство до сих пор говорило лицеистам «вы». Исключение делал иногда только (как уже упомянуто нами) надзиратель Фролов, когда был в духе.

— Что с него взыскивать, — говорили меж собой лицеисты, — он — старый служака, военная косточка!

И вдруг теперь Энгельгардт, человек уже не военный, придававший особенное значение приличному, деликатному обращению, с первого же дня стал говорить без разбору всем воспитанникам "ты".

— Какое право он имеет так фамильярничать с нами? — зароптал громче всех надменный Броглио. — Мы, кажется, уже не такие малюточки! Я его когда-нибудь хорошенько проучу!

— Ну, не решишься, — усомнились товари-

щи.

— Я-то не решусь? А вот погодите: обрею лучше бритвы!

Он воспользовался для того первым случаем, когда директор проходил через рекреационный зал. Ласково заговаривая по пути то с одним, то с другим, Энгельгардт подошел только что к дверям в столовую, когда Броглио, протиснувшись мимо него, задел его локтем и, пробормотав вскользь: "Виноват!", посвистывая, прошел далее.

— Послушай-ка, Броглио! — раздался позади него голос директора.

Броглио на ходу озирался по сторонам с таким видом, будто недоумеваает, к кому могут относиться эти слова.

— Граф Броглио! — вторично окликнул его Энгельгардт. Тот с самою утонченною вежливостью подошел к начальнику и шаркнул ногой.

— Вы меня звали, Егор Антоныч?

— Звал. У тебя, мой друг, дурная привычка — свистать.

Броглио опять обернулся через плечо, как бы желая удостовериться, нет ли кого у него

за спиной.

— Вы с кем это говорите, Егор Антоныч?

— С вами, ваше сиятельство!

— Ах, со мной! А то я подумал, что тут стоит какой-нибудь сторож, потому что нас, лицеистов, слава Богу, никто из начальства еще до сих пор не "тыкал".

Ходившие по залу и громко разговаривавшие между собой товарищи молодого графа теперь остановились, примолкли и с затаенным любопытством следили за возникшим между ним и директором препирательством.

— Виноват, ваше сиятельство! — произнес с явной иронией Энгельгардт, нимало при этом не возвышая голоса. — Говорил я вам «ты» не потому, что считал вас сторожем (хотя манера ваша толкаться и свистать — скорее прилична сторожу, чем лицеисту), но потому, что в воспитанниках вижу как бы моих родных детей и обращаюсь с ними, как с собственными детьми. Но вы, граф, можете быть отныне совершенно покойны: насильно я не буду вам отцом, и вы для меня будете только казенным воспитанником.

С легким поклоном директор вышел. Бро-

глио, меняясь в лице, кусая губы, глядел ему вслед; потом вдруг расхохотался. Но хохот его как-то не удался и на полутоне оборвался.

— Что, брат, поперхнулся? — донеслось к нему из ближайшей кучки товарищей.

— Бородобрей! Обрил лучше бритвы! — слышалось из другой группы.

— Дурачье! — буркнул Броглио и, круто повернувшись, вышел также вон.

Прошел день, прошло два, а прежние приятельские отношения Броглио к другим лицеистам еще не возобновились. Энгельгардт, ничуть не изменив своего обхождения с остальными, подходил, как бывало, то к одному, то к другому, продолжал называть их «ты», и никто этим не думал обижаться. Самолюбивого же графа он решительно не замечал, глядел на него как в пустое пространство. Такое невнимание к нему любимого директора не осталось без влияния и на прочих воспитанников: точно по уговору, они, видимо, избегали уже опального товарища. Сам Броглио, чувствуя это, гордо сторонился от них и, против обыкновения, забивался куда-нибудь в отдаленный угол с книжкой.

На третьи же сутки Энгельгардт совершенно неожиданно подошел к отверженному.

— Чего ты сидишь все один? — сказал он с обычной своей добротой. — Ступай сейчас играть с друзьями.

Наболевшее сердце молодого графа не выдержало: он отвернулся, чтобы не показать, что у него на глазах слезы.

— Комовский! Тырков! — позвал Энгельгардт проходивших мимо двух лицеистов. — Не видите: на друга вашего хандра напала! Возьмите его с собой.

— Что ж, в самом деле, Броглио? Пойдем с нами, — сказал Комовский.

— Ступай с ними, друг мой, — повторил директор, — они давно соскучились по тебе.

Клеймо, наложенное на опального, было снято, и товарищи тем охотнее приняли его вновь в свою среду, что за последние два дня лишились в нем главного руководителя игр.

С этих пор у лицеистов считалось уже большим наказанием, когда Егор Антонович не удаивал говорить им «ты». Стоило ему мимоходом спросить кого-нибудь: "Хорошо ли вы, N. N., провели время там-то?" — и все

уже знали, что N. N. провинился, и невольно чуждались его, пока не слышали опять обращенное к нему директором отеческое "ты".

Глава XVI

Пушкин и Энгельгардт

*Придет ли час моей свободы?
Пора, пора! Взываю к ней.
"Евгений Онегин"*

*Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развивает свиток;
И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуясь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
"Воспоминание" (1828)*

Если Энгельгардт сумел уже внушить уважение и любовь всем вообще лицеистам, то тем более должны были питать к нему чувство благодарности лицейские литераторы, о которых он специально позаботился увеличением библиотеки и устройством чтений. Восторженный Кюхельбекер, а за ним невозмутимый Дельвиг, действительно, сделались самыми усердными участниками литературных вечеров на квартире директора. Один только Пушкин не мог побороть своего врож-

денного отвращения к немецкому языку, на котором не только зачастую происходили чтения (потому что читались в оригинале и немецкие классики), но велись также разговоры в семье директора. Недавнее посещение «арзамасцев» тянуло его совершенно в другую сторону — к родной литературе. Душевное настроение его в это время лучше всего рисует следующее письмо его к князю Вяземскому от 27 марта 1816 года:

"Признаюсь, что одна только надежда получить из Москвы русские стихи Шапеля и Буало могла победить благословенную мою лень. Так и быть, уж не пеняйте, если письмо мое заставит зевать ваше пиитическое сиятельство: сами виноваты! Зачем дразнить было несчастного царскосельского пустынника, которого уж и без того дергает бешеный демон бумагомарания?..

Что сказать вам о нашем уединении? Никогда Лицей (или Ликей, только, ради Бога, не Лицея) не казался мне так несносным, как в нынешнее время. Уверяю вас, что уединение в самом деле вещь очень глупая, назло всем философам и поэтам, которые притворяются,

будто бы живали в деревнях и влюблены в
безмолвие и тишину.

*Блажен, кто в шуме городском
Мечтает об уединенье,
Кто видит только в отдаленье
Пустыню, садик, сельский дом,
Холмы с безмолвными лесами,
Долину с резвым ручейком
И даже... стадо с пастухом!
Блажен, кто с добрыми друзьями
Сидит до ночи за столом
И над словенскими глупцами
Смеется русскими стихами.*

Правда, время нашего выпуска приближается; остался год еще. Но целый год еще плюсов, минусов, прав, налогов, высокого, прекрасного!.. Это ужасно! Право, с радостью согласился бы я двенадцать раз перечитать все 12 песен пресловутой «Россиады», даже с призовокуплением к тому и премудрой критики Мерзлякова, с тем только, чтобы граф Разумовский сократил время моего заточения. Безбожно молодого человека держать взаперти и не позволять ему участвовать даже и в невинном удовольствии погребать покойную

«Академию» и "Беседу губителей Российского слова..."

Но вот, очень скоро после этого письма, Пушкин зачастил в дом Энгельгардта, сделался там почти ежедневным гостем. И вдруг, точно так же внезапно, он прекратил опять свои посещения. Что было причиной того и другого?

У Энгельгардта собралось к чаю, по обыкновению, несколько человек лицеистов; был тут и Пушкин. Весь вечер он был в каком-то ненормальном настроении духа. Сперва он был до ребячества весел, до колкости остроумен; потом вдруг стал до беспамятства рассеян, до угрюмости молчалив. Такая перемена совпала в нем как раз с исчезновением из-за чайного стола молодой родственницы хозяйна, Марии Смит.

— Да где же Мери? — хватилась ее хозяйка и отправилась отыскивать отсутствующую.

Вскоре затем возвратившись, она наклонилась к уху мужа и шепнула ему что-то. При этом взор ее на одно мгновение вперился в лицо Пушкина. Но взор этот был так пытлив и пронизателен, что Пушкин зашевелился на

стуле и опустил глаза. Между тем Энгельгардт встал и ушел в свой кабинет.

— Что с мадам Смит? — спросил кто-то за столом.

— Ничего... мигрень... — отрывисто отозвалась г-жа Энгельгардт.

Немного погодя, Егор Антонович вышел опять из кабинета.

Он не взглянул ни на кого, не промолвил ни слова; но пасмурное, почти суровое выражение его лица, всегда столь открытого и приветливого, не предвещало ничего доброго.

Когда пробила половина десятого и лицеисты стали расходиться, Энгельгардт задержал Пушкина:

— Оставайтесь на минутку.

Потом, выждав, когда все прочие удалились, он позвал его за собой в кабинет.

— Что это значит, Пушкин? — с сдержанным негодованием заговорил он тут. — Сколько я знаю, вы — хорошего семейства: в лицей воспитанников принимают с строгим разбором; у вас самих есть, кажется, и старшая сестра?

— Есть... — отвечал Пушкин, не смея под-

нять на директора глаз.

— Как же вы, скажите, позволили себе такую выходку с Мери?

— Что же я такое сделал, Егор Антоныч? Я написал ей только стихи...

— Стихи — да; но какие!

Они стояли около письменного стола, освещенного лампой. Егор Антонович поднял на столе пресс-папье, под которым лежала пачка бумаг. Сверху оказался розовый почтовый листок, очень хорошо знакомый Пушкину. Энгельгардт взял его в руки.

— Вы не знаете еще никакого различия между людьми! — продолжал он, и в голосе его невольно прорывалось его душевное раздражение. — Не говоря уже о совершенной неуместности вообще обращаться со стихами к молодой даме, когда она со своей стороны не подала к тому ни малейшего повода, — у вас есть тут, например, такие стихи:

*О, бесценная подруга!
Вечно ль слезы проливать?
Вечно ль мертвого супруга
Из могилы вызывать?*

Что это такое, Бога ради, объясните мне?

Молодую вдову, которая едва схоронила только и оплакивает своего любимого мужа, без спросу утешает первый попавшийся школьник и для рифмы еще осмеливается называть ее "бесценной подругой"! Скажите: что вы — в уме своем были или нет?

Пушкин молчал, стораая от стыда и досады. Энгельгардт пристально смотрел на него, как бы стараясь проникнуть в глубину его души.

— Вы не думайте, что я слишком короткое время знаю вас, — заговорил он опять. — Хотя я, правда, здесь в лицее всего несколько недель, но я старался внимательно изучить всех вас и составил лично для себя даже письменную характеристику каждого из вас. Я буду с вами, Пушкин, вполне откровенен: я прочту вам то, чего никому не читал, никому не прочту.

Вынув из стола толстую тетрадь, Энгельгардт стал перелистывать ее.[39]

— Я пишу для себя по-немецки, — объяснил он. — Вы хотя и слабы в этом языке, но, надеюсь, сколько нужно — поймете. Если же чего не поймете, то спросите — я вам переведу. Слушайте, что у меня сказано про вас:

"Его высшая и конечная цель — блеснуть, и именно поэзией; но едва ли найдет она у него прочное основание, потому что он боится всякого серьезного учения, и его ум, не имея ни проницательности, ни глубины, совершенно поверхностный, французский ум".

— Верно это или нет? — спросил Егор Антонович, переставая читать.

— Может быть, и верно... — с глухим ожесточением отвечал Пушкин. — Но если природа отказала мне в настоящем уме, так разве в том моя вина?

— Это было у меня написано до сегодняшнего дня, — сказал Энгельгардт. — Но вот часу тому назад, когда госпожа Смит передала ваши стихи, я приписал следующее:

"Это еще самое лучшее, что можно сказать о Пушкине. Его сердце холодно и пусто; в нем нет ни любви, ни религии; может быть, оно так пусто, как никогда еще не было юношеское сердце. Нежные и юношеские чувства унижены в нем воображением..."[40]

— Нет, Егор Антоныч! Это уже неправда! — горячо перебил тут Пушкин. — О религии лучше не будем говорить, потому что вы —

лютеранин, я — православный; но сердце во мне есть, теплое русское сердце... когда-нибудь вы это узнаете...

В голосе поэта-лицеиста сквозь слезы звучала нота глубоко уязвленного самолюбия.

— Дай-то Бог! — вздохнул Энгельгардт. — Но если так, то чем же прикажете объяснить ваш поступок? Беспредельным легкомыслием, что ли? Скажите: вы любите вашу сестру?

— Как вы еще спрашиваете!

— Очень любите?

— Очень.

— Так вот, представьте же себе, что она вышла бы замуж, что она вскоре бы овдовела, и тут какой-нибудь молодчик без всякого повода с ее стороны написал бы ей такое же точно милое утешение. Сочли ли бы вы это за дерзость?

— Еще бы!..

— Как же вы поступили бы с ним?

Ответа не было.

— Что сделали бы вы с ним? — повторил Егор Антонович.

— Я убил бы его на месте!.. — глухо прошептал Пушкин.

— Надеюсь, что до этого не дошло бы, — сказал Энгельгардт. — Но совесть и, кажется, сердце у вас все же есть. Очень рад и буду еще более доволен, если все окажется с вашей стороны только юношеским увлечением. Во всяком случае, вы поймете, Пушкин, что мадам Смит не может не чувствовать оскорбления, что ей тяжело быть в одном обществе со своим оскорбителем, пока хоть несколько не уляжется ее неприязнь против него.

— Хорошо! Я не буду вовсе ходить к вам... — отрывисто проговорил Пушкин.

— Неделю-другую пропустите, а там опять милости просим. Тем временем вы успеете на досуге вдуматься в ваш поступок. Вообще, всякому из нас нелишне время от времени перебирать свое прошлое, чтобы избегать ошибок. И вам советую делать то же. Доброй ночи!

В последних словах звучало уже снова то отеческое благоволение, которое выказывал директор ко всем лицеистам.

Давно обитатели лица от мала до велика покоились мирным сном. Один только Пушкин ворочался под своим одеялом и ни в ка-

ком положении не находил себе покоя. О! Как охотно открыл бы он теперь наболевшую душу перед первым своим другом, Пуцциным... Стоило ведь только стукнуть в разделявшую их стенку. Но рука у него не подымалась: признаться другу в таком поступке — о, нет, нет!.. Тот от него, пожалуй, тоже отшатнется...

"Вдумайтесь на досуге в ваш поступок; переберите ваше прошлое", — вспомнились ему тут слова директора. И с каким-то горьким самоуслаждением кающегося дервиша, истязającego самого себя, он стал в памяти перебирать свое прошлое, свое непослушание и своеволие как в родительском доме, так и в лицее, разные мелкие столкновения с товарищами, с начальством... Ночью, когда воображение наше работает сильнее, все предметы, как известно, являются нам в значительно преувеличенном виде. Нагромождая против себя обвинение на обвинение, Пушкин представлялся сам себе наконец каким-то беспримерным, чудовищным грешником. Слезы душили его, но он пересиливал себя, и только глубокие вздохи невольно вырывались из его груди.

— Что же ты, Пушкин, не ходишь уже к Егору Антонычу? — спросил его как-то несколько дней спустя Пуцин.

— Как не хожу? Вчера еще был... — отговорился он.

— Вчера? Нет, вчера как раз я был там, и тебя наверное не было.

— Ну, так третьего дня.

— И третьего дня тебя там не могло быть: мы вместе же с тобой сидели еще здесь за ужином, помнишь?

— Ах, отстань, пожалуйста!

Покачав головой, Пуцин отстал.

Но вот две и три недели прошли уже со времени разговора с директором, а Пушкин по-прежнему чуждался его. Сам Егор Антонович наконец зашел к нему в камеру, где застал его за конторкой с пером в руках. Обернувшись и увидев директора, Пушкин как будто оторопел и спрятал свое писание в конторку.

— Пиши, пиши: я не хочу мешать тебе, — с прежней уже ласковостью заговорил Энгельгардт. — Я хотел только спросить тебя, Пушкин: за что ты еще дуешься на меня?

— Я не дуюсь, Егор Антоныч... — не поборов еще смущения, отвечал Пушкин.

— Но ты не бываешь у меня?

— Вы очень хорошо знаете, Егор Антоныч, почему...

— О! Если ты про то, то все уже давно забыто и прощено. О тебе уже спрашивали...

— Благодарю вас; но... извините меня...

— Так ты меня, видно, вовсе не любишь? Но за что, скажи?

— Вы сами же, Егор Антоныч, меня тоже терпеть не можете! — с внезапною горечью вырвалось у Пушкина. — Вы считаете меня совсем бессердечным...

— Я, может быть, несколько переменял уже мое мнение о тебе; от тебя же зависит совершенно переубедить меня.

Обняв рукой юношу, Энгельгардт продолжал:

— То, что я слышал с тех пор про тебя от твоих наставников, от твоих товарищей, заставило меня глубже вдуматься в тебя. Из тебя выйдет, вероятно, не совсем заурядный человек. У тебя нет необходимой выдержки, усидчивости — правда; но зато природа ода-

рила тебя богаче многих других. Ты нахватал урывками массу сведений, которых не найти ни в каких учебных книгах. Между тем обмен мыслями с другими людьми еще более упражняет и обогащает ум. Поэтому тебе просто грех избегать общества, которого ты мог бы быть украшением.

Пушкин слушал молча, насупив брови и отворотившись от директора.

— Напротив, Егор Антоныч, — отрывисто наконец произнес он, — я вовсе не гожусь для общества. В обществе требуется так называемый такт, то есть лицемерие, ложь; а я лгать не умею: что на душе, то и на языке.

— Лгать, мой друг, или не всегда говорить правду — разница огромная. Можно быть благороднейшим, правдивейшим человеком — и высказывать истину только там, где от того может быть польза, умалчивать же о ней там, где нет от того пользы или где можно нанести только незаслуженный вред или оскорбление. Не безрассудно ли, например, не жестоко ли доказывать слепому счастье зрячих — видеть окружающий мир и несчастье его самого — не иметь зрения? Не безум-

но ли описывать лопарю прелести итальянской природы и убеждать его, что судьба обидела его суровым климатом, бесплодной землей?

— Ну, конечно... — должен был согласиться Пушкин.

— А не случилось ли, подумай, и тебе колоть глаза твоим ближним такими их недостатками, которых они, при всем желании, не могут исправить?

— Случалось... Но если кто чересчур уже смешон, как, например, Кюхельбекер, то как же над ним не посмеяться?

— Посмеяться — да, про себя, в душе; но не поднимать его публично на смех, не глумиться над ним перед всеми, не оскорблять в нем человека. Затем, однако, ты вообще также слишком опрометчиво выражаешь свои чувства, свои мнения (часто справедливые, но чаще еще преувеличенные) там, где следовало бы промолчать, — и приговор о тебе, по большей части слишком строгий, уже составлен. И я, признаюсь, поторопился несколько своим заключением о тебе. Но теперь между нами, надеюсь, нет уже недоразумений?

Пушкин все еще не оборачивался к говорящему; но ярко покрасневшие уши явно выдавали его глубокое душевное волнение.

— Я тоже до сих пор не понимал вас, Егор Антоныч... — прошептал он прерывающимся голосом.

— Не будем более говорить об этом, — с чувством прервал его Энгельгардт. — Обещаешь ли ты мне, Пушкин, что не станешь более бегать моего дома?

— Обещаюсь...

И вдруг, обернувшись, он со слезами повис на шее директора.

— Я очень виноват перед вами: простите меня...

— Полно, полно... - старался успокоить его Энгельгардт, а у самого слезы катились по щекам. — Итак, мы — прежние друзья, и я жду тебя к себе...

Все недоразумения, казалось, были улажены, все препятствия устранены. Но не прошло и десяти минут, как явилось новое, непреодолимое уже, препятствие.

Едва только директор скрылся за дверью, как поэт наш вынул из конторки спрятанный

листок. То был рисунок пером с четверостишием под ним. Первым побуждением его было разорвать рисунок. Но когда он перечел внизу куплет, собственная острота показалась ему настолько удачной, что ему жаль ее стало. Он обмакнул перо и стал опять старательно растушевывать картинку.

Он был так погружен в свое занятие, что не заметил, как расторилась дверь камеры, как к нему подошел Энгельгардт, и только тогда очнулся и вздрогнул, когда тот заговорил:

— Я забыл сказать тебе...

Пушкин с таким испугом прикрыл листок рукавом, что Егор Антонович снисходительно улыбнулся.

— Что это у тебя? Верно, стишки?

— Н-да...

— Покажи-ка, если не секрет? От друга нечего таиться...

На поэта словно столбняк нашел, и роковой листок очутился в руках начальника. Что же Егор Антонович увидел там? Карикатуру на самого себя, а под карикатурой злую эпиграмму.

— Теперь я понимаю, почему вы не желаете-

те бывать у меня в доме, — с глубоко огорченным уже видом произнес он. — Не знаю только, чем я заслужил такое ваше нерасположение?

И, возвратив Пушкину его произведение, он тотчас оставил его одного.

— Где же Пушкин? — спросил за вечерним чаем дежурный гувернер.

— Им нездоровится что-то, — доложил Леонтий Кемерский.

Слышавший этот разговор Пуцин, наскоро допив стакан, вышел из-за стола и отправился к приятелю. Когда он входил к нему в комнату, по всему полу там были рассыпаны мелкие лепестки разорванной бумаги, а сам Пушкин лежал навзничь на кровати, а спина его приподымалась от нервных всхлипываний.

— Ты, верно, получил какое-нибудь печальное известие, Пушкин? — заботливо осведомился Пуцин.

— Нет...

— Так кто-нибудь тебя опять разобидел?

Из груди Пушкина вырвался глухой стон, и он зарыдал сильнее.

— Стало быть, правда? Но кто? Неужели

Энгельгардт?

— Да... Уйди только, пожалуйста... — был весь ответ безутешного.

— Но Энгельгардт — благороднейшая душа... — убежденно продолжал Пушкин.

Пушкин разом приподнялся на кровати и почти с ненавистью впился красными от слез глазами в лицо друга.

— Уйдешь ли ты?

Он топнул при этом ногой, и слезы градом вдруг брызнули из глаз его.

Пушкин участливо посмотрел на него, вздохнул и, не сказав уже ни слова, послушно удалился.

Что было между ним и Энгельгардтом — Пушкин ни теперь, ни после не открыл даже своему ближнему другу. Тот видел только, что между обоими установились какие-то ненатурально холодные, натянутые отношения, почти не изменившиеся до самого выпуска Пушкина из лицея. Но, не бывая уже почти вовсе в семейном кружке Энгельгардта, Пушкин искал и нашел утешение в нескольких других кружках.

Глава XVII

Дядя Василий Львович

Философ резвый и ниш...
"К Батюшкову"

И Не желая прерывать нить нашего рассказа о переломе в лицейском междуцарствии, мы не говорили об одном редком госте, который навестил Пушкина на Рождестве 1815 года. Раз его вызвали в приемную — и кого же там встретил он? Игнатия, старика камердинера своего дяди-поэта, Василия Львовича Пушкина, с которым он не виделся с самого своего определения в лицей, т. е. с осени 1811 года.

— Ты ли это, Игнатий? — воскликнул Пушкин и, кажется, обнял бы старого брюзгу, если бы небритое лицо последнего и истасканная ливрея не были покрыты мокрым снегом.

— Я-с, батюшка Александр Сергеич, — отвечал Игнатий, видимо также обрадованный. — Позвольте ручку...

— Не нужно, оставь... Но какими судьбами ты попал сюда из Москвы? Как дядя решился

расстаться с тобой?

— Да они-с тоже здесь, со мной.

— Где? Здесь, в Царском?

— Точно так: в возке-с.

— Вот что! Что же он не поднялся сюда наверх?

— Больно, вишь, к спеху: сломя голову в Питер гонят! — брюзжал старик. — Велели вам немедля вниз к ним пожаловать.

Не тратя лишних слов, Пушкин выбежал на лестницу и через три ступени на четвертую соскользнул на руках по перилам до нижней площадки. Но тут его задержал швейцар:

— Куда, ваше благородие? На дворе вьюга...

— Ну, так что ж?

— Как вам угодно-с, а так нельзя-с. Хоть фуражечкой накройте.

Пушкин огляделся. На вешалке висело несколько шляп и шапок профессоров и чиновников лицейского правления. Как это кстати! Сорвав с гвоздя первую попавшуюся под руку шапку, он нахлобучил ее себе до ушей, оттолкнул от выходных дверей швей-

цара и выскочил на улицу.

У подъезда стоял, запряженный четверкой изморенных и запаренных почтовых кляч, тяжеловесный возок. Сквозь напотевшие стекла нельзя было разглядеть сидевшего внутри пассажира. Пушкин дернул ручку дверец — и очутился лицом к лицу со своим дядей, который, впрочем, был так зарыт в медвежью шубу, что племянник узнал его только по высунувшемуся из мехов заостренному и загнутому на один бок носу, слегка зарумяневшемуся теперь от холода.

— Бога ради, притвори! Совсем застудишь возок... — испуганно крикнул ему по-французски Василий Львович и отодвинулся настолько, чтобы дать юноше место около себя.

Тот послушно вскочил в возок и захлопнул дверцы.

— Ну, а теперь здравствуй, Александр.

— Здравствуйте, дяденька.

Заключенный в меховые объятия, Александр ощутил на своих щеках три знакомых ему сочных поцелуя с легким запахом нюхательного табаку.

— Дай-ка посмотреть на тебя, — заговорил

дядя, ласковыми глазами оглядывая его. — Скажи, пожалуйста: усики себе отрастил! Каждое утро, чай, у парикмахера завиваешь?

— Нет, каждую ночь завертываю в папи-льотки, — отшутился племянник.

— А шапка эта, видно, новая форма лицей-ская?

— А то как же?

— Одобряю... Но ты, Александр, чего добро-го еще простудишься! — спохватился Васи-лий Львович и вытащил из-под себя мохна-тое дорожное одеяло. — На вот, завернись.

— Благодарю вас. Но мне, право, не холод-но.

— Не мудрствуй, сделай милость, и слу-шайся старших.

Собственноручно закутав племянника, как ребенка, в одеяло, он запустил руку в один из боковых мешков возка и достал оттуда бу-мажный сверток.

— Ты ведь, помнится, охотник тоже до бар-барисовых карамелек? — сказал он. — Уго-щайся.

— А вы, дядя, меня все еще, кажется, за ма-ленького считаете?

— Да вырос-то ты еще не ахти на сколько от земли...

— В дядю, видно, пошел — и телом, и духом.

— То есть по стихотворной части? «Лициний» твой, точно, очень недурен, но...

— Но никуда не годится? — перебил Александр. — Не будем лучше говорить об этом. Расскажите, куда вы так торопитесь, что даже не вышли из возка?

— Куда? — повторил Василий Львович и принял таинственно-важный вид. — Ты слышал, может статься... да нет! Где же тебе знать об этом!

— О чем?

— Об "Арзамасе".

— Да я о нем знаю, может быть, более вашего, дядя.

— Ого! От кого это?

— От Жуковского. Так вас, значит, выбрали тоже в члены "Арзамаса"?

Дядя зажал ему рот рукой.

— Молчок!

— От души вас поздравляю.

— Сказано: молчок! Еще рано поздравлять.

До принятия в «Арзамас» всякий новобранец должен выдержать тяжкий искуc...

— Василий Андреич ничего не говорил мне об этом...

— Потому что считал тебя недостаточно еще зрелым для того. И у меня только как-то невзначай с языка сорвалось. Но ты смакуешь ли, дружок, весь букет этого пункта: меня, бывшего сотрудника "Академических известий", якобы сторонника «Беседы», приглашают теперь в противный лагерь!

— Да какой же это противный вам лагерь, дядя, когда вы давным-давно дружите со всеми нынешними "арзамасцами"?

Василий Львович нетерпеливо зашевелился в своей шубе.

— Ничего ты, братец, не смыслишь! — проворчал он. — Коли «арзамасцы» — все милейшие люди, так как же не дружить с ними?

— А «беседчики», кроме разве личного врага вашего, Шишкова, — тоже ведь прекраснейшие люди? Так вы, стало быть, как говорится: и нашим, и вашим?

Василия Львовича не на шутку взорвало.

— Пошел вон! — крикнул он и толкнул в

бок племянника.

— Вы гоните меня?

— Да, как видишь. Марш!

— Не шутя, дядя?

— Ну да! Будь здоров. Заболтался я с тобой.

— А с Левушкой вы так и не увидите?

Его это, верно, огорчит.

— Гм... да. О нем-то я, признаться, забыл...

Ну, что ж, поцелуй его от меня да отдай ему эти карамели.

— Целовать его я не стану, но карамели, извольте, отдам. Только лучше бы уж, право, вы сами, дядя, отдали ему; посидели бы в приемной, погрелись бы; а я велел бы подать вам стаканчик чаю.

Последний аргумент поколебал несколько решимость Василия Львовича.

— До Питера и то еще изрядный кончик: часа два с хвостиком, — соображал он.

— А чай у нас хоть и не первый сорт, но во всяком случае горячий, — подхватил племянник. — Позвольте заказать?

— Быть по сему.

— И чудесно! Не успеете подняться по лестнице, как мы вас догоним.

Сделалось все, однако, не так живо, как он рассчитывал. Леонтий Кемерский (который не был еще тогда отставлен от должности обер-провиантмейстера) не без труда дал убедить себя подать чай в «непоказанное» место — в приемную. Младшего брата своего Александр также не сейчас разыскал. Когда братья наконец вошли в приемную, то остановились оба как вкопанные, а вслед за тем оба прыснули со смеху. Перед ними была немая картина: Леонтий с дымящимся стаканом чаю в руках, а перед ним свернувшийся калачиком на клеенчатом диване Василий Львович. От дороги и холода его здесь, в тепле, очевидно, распарило, и, не дождавшись племянников, он сладко заснул.

— Будить его или нет? — шепотом советовались меж собой братья.

Как бы в ответ с дивана донесся к ним густой храп.

— Пожалейте дядюшку, ваши благородия, — сказал Леонтий, — изморились небось путем-дорожкой; дайте им всхрапнуть часочек.

— Пускай его! — решил старший брат. —

А ты, Леонтий, нас позовешь, когда он проснется?

— Беспременно-с; будьте благонадежны. Я тут, как у больного, продежурю-с.

Пододвинув к дивану стул для стакана, бывалый дядька накрыл последний блюдечком, чтобы чай не так скоро остыл; потом сам терпеливо уселся на отдаленный стул.

Не прошло четверти часа, как Леонтий впопыхах влетел в камеру старшего Пушкина.

— Пожалуйте-с, сударь! Ваш дядюшка уезжают.

— Уже?

— Да-с. Проснулись, выпили залпом-с стакан, да так заторопились, словно на пожар спешат.

Когда Александр сбежал во второй этаж, то застал там уже Левушку, который тщется угаривал дядю хоть посидеть еще минутку.

— Ни секунды, дружочек, ни терции! — отвечал Василий Львович. — Семеро одного не ждут, а меня в Питере дважды семеро не дождутся.

— Сколько я дал бы, дядя, чтобы подсмотр-

реть, как вас будут принимать в "Арзамас", — заметил Александр.

— Молчок! — цыкнул на него Василий Львович, грозя пальцем.

Долго еще по отъезде дяди молодой поэт наш уносился мысленно за ним, стараясь в своем пылком воображении воспроизвести всю сцену приема дяди в «Арзамас». Мы, не стесняемые ни пространством, ни временем, последуем теперь в действительности за Василием Львовичем.

Глава XVIII В "Арзамасе"

*И что же видит?.. За столом
Сидят чудовища кругом:
Один в рогах с собачьей мордой,
Другой с петушьей головой,
Здесь ведьма с козьей бородой,
Тут остов чопорный и гордый,
Там карла с хвостиком, а вот
Полужуравль и полукот.
"Евгений Онегин"*

На этот раз заседание «арзамасцев» было назначено у Уварова. Еще за четверть часа до урочного времени, восьми часов вечера, Василий Львович входил в подъезд уваровского дома. Принявший с него шубу швейцар хотел было предупредительно зазвонить в колокольчик хозяйской квартиры, но приезжий остановил его рукой.

— Постой, друг!

Рослый и толстый бакенбардист-швейцар в расшитой ливрее, картинно упершись на свою блестящую булаву, критически оглядел с головы до ног небольшую, кругленькую фи-

гурку редкого московского гостя. Он мог это делать без стеснения, потому что Василий Львович, подойдя к висевшему тут же зеркалу, стал охорашиваться и был в таком заметном возбуждении, что ничего другого не видел вокруг себя. Одет он был с иголочки, по последней парижской моде, в светло-зеленый фрак с короткой талией, белый жилет, нанковые панталоны в обтяжку и высокие сапоги с кисточками. Колыхаясь своим полным, рыхлым тельцем на тонких ножках, он карманной щеточкой эффектно взъерошил себе примятый шапкой петуший хохолок на макушке, пригладил виски; потом расправил упиравшиеся в глянцевитые щеки жабо и вышитую манишку, обдернул фалды, наконец достал красный фуляр и серебряную табакерку, методически осторожно (чтобы не засыпать манишки) набил себе табаком сперва одну ноздрю, потом другую и в заключение на всякий случай обмахнулся еще фуляром. Все эти операции потребовали у него ровно четверть часа времени. Часы в швейцарской пробили восемь. Василий Львович встрепенулся.

— Теперь, голубчик, позвони!

В передней его встретил не только уваровский камердинер во фраке, белом галстуке и белых перчатках, но и давнишний друг и приятель его — Светлана-Жуковский, бесменный секретарь "Арзамаса".

— "Беседчики" все уже в сборе и безмятежно дремлют, — таинственно объявил он гостью.

— "Беседчики"? — недоумевая, переспросил Василий Львович.

— Ну да: воображаемые «беседчики». Ведь мы же, «арзамасцы», пародируем "Беседу".

— Ага! Верно.

— Немножко потише! Хотя ты у нас и новорожденный, но кричать тебе не полагается: разбудишь наших старцев.

Оба на цыпочках вошли в обширную залу. За длинным зеленым столом, уставленным зажженными канделябрами, живописно восседали, или, вернее, возлежали, в креслах с закрытыми глазами знакомые все Василию Львовичу молодые литераторы, изображавшие теперь старцев-"беседчиков". Всех как бы одолел сон: кто склонился отяжелевшей головой прямо на стол; кто прислонился к плечу

соседа; кто откинулся назад и похрапывал с открытым ртом.

— Барыня, «Арзамас» требует весь туалет! — зычным голосом возгласил секретарь Светлана, и в тот же миг все спящие как бы разом пришли в себя, принялись наперерыв зевать, потягиваться и протирать глаза.

Занимавший в этот день председательское кресло очередной председатель — Чурка-Дашков позвонил в колокольчик и, когда все опять успокоилось, торжественно заговорил:

— Милостивые государи! Перед вами новорожденный старец, алкающий воспринять крещение нашего юного ордена. Тяжки его прегрешения: сотрудничал он в "Академических известиях", участвовал во времена оны, как гласит предание, и в "Беседе губителей русского слова"; но не воссияет ли тем ярче свет «Арзамаса», буде и сия паршивая овца, очистясь от проказы, вступит в наше многославное лоно?

По рядам «арзамасцев» пробежал одобрителный шепот.

— Никто из вас, государи мои, не возражает? Следственно, может быть приступлено

неукоснительно к требуемому искусству. Новорожденный! Ваше присутствие в сем освященном месте в достаточной мере свидетельствует уже о твердом вашем намерении подвергнуться вступительным испытаниям. Но, согласно установленному чину нашего ордена, предварительно еще вопрошаю: непреклонно и нелицеприятно ли ваше намерение?

— Непреклонно и нелицеприятно! — отвечал громко и явственно Василий Львович.

— Да будет тако! "Расхищенные шубы" князя Шутовского[41] кого из нашей братии не заставили жестоко преть, а тем паче нашего новорожденного? Да будет же первым его испытанием — шубное прение.

"Арзамасцы" мигом скрылись в передней и вернулись тотчас каждый со своей шубой. Не успел «новорожденный» ахнуть, как был подхвачен на руки, уложен на ближний диван, накрыт шубой, а сверху завален всеми прочими шубами.

Дородный и полнокровный московский стихотворец едва не задохся под меховой грудой. Но взялся за гуж — не говори, что не

дюж!

Тут послышался над ним чей-то торжественный голос. Он узнал голос секретаря — Светланы.

— Какое зрелище перед очами моими? Кто сей, обремененный толикими шубами, страдалец? Сердце мое говорит, что это почтенный Василий Львович Пушкин; тот Василий Львович, который видел в Париже не одни переулки, но господ Фонтана и Делиля,[42] тот Василий Львович, который могуществом гения обратил дородного Крылова в легкокрылую малиновку.[43] Все это говорит мне мое сердце. Но что же говорят мне мои очи? Увы! Я вижу перед собою одну только грудку шуб. Под сею грудкою существо друга моего, орошенное хладным потом. И другу моему не жарко. И не будет жарко, хотя бы грудка сия возвысилась до Олимпа и давила его, как Этна Энцелада. Так точно! Сей Василий Львович есть Энцелад: он славно вооружился против Зевеса-Шутовского и пустил в него утесистый стих, раздавивший его чрево. Но что же? Сей издыхающий Зевес наслал на него, смиренно пешествующего к «Арзамасу», метель "Рас-

хищенных шуб". И лежит он под страшным сугробом шуб прохладительных. Очи его постигла курячья слепота «Беседы»; тело его покрыто проказою сотрудничества, и в членах его пакость "Академических известий", издаваемых г. Шишковым. О, друг мой! Скажу тебе просто твоим же непорочным стихом: "Терпение, любезный!" Сие испытание, конечно, есть мзда справедливая за некие тайные грехи твои. Когда бы ты имел совершенную чистоту арзамасского Гуся, тогда бы прямо и беспрепятственно вступил в святилище «Арзамаса»; но ты еще скверен; еще короста «Беседы», покрывающая тебя, не совсем облупилась. Под сими шубами испытания она отделится от твоего состава. Потерпи, потерпи, Василий Львович! Прикасаюсь рукою дружбы к мученической главе твоей. Да погибнет ветхий Василий Львович! Да воскреснет друг наш — возрожденный Вот! Рассыпьте, шубы! Восстань, друг наш! Гряди к "Арзамасу"!..

При этих словах Светланы дружескими усилиями остальных «арзамасцев» гора шуб была свалена с поверженного, и тот, тяжело переводя дух, не без труда приподнялся. Но

Боже! Что случилось с его новеньким парижским нарядом! Что случилось с его кружевной манишкой, с его туго накрахмаленными жабо! Что случилось, наконец, с его франтовской прической! Измятый, расстрепанный и обливаясь потом, он поводил кругом помутившимся взором. По мановению руки председателя два члена поспешили снять с новорожденного его жалкий фрак и взамен того, как будущего пилигрима, облекли его в живописный хитон с раковинами, украсили ему голову широкополой шляпой, а в руки ему вложили страннический посох. Светлана же продолжал между тем свою крылатую речь:

— Путь твой труден. Ожидает тебя испытание. ("Номер второй", — вздохнул про себя Василий Львович.) "Чудище обло, озорно, трезовно и лаяй"[44] ожидает тебя за сими дверями. Но ты низложи сего Пифона, облобызай Сову правды, прикоснись к Лире мщения, умойся водою потока — и будешь достоин вкусить за трапезою от арзамасского Гуся...

Говоря так, Жуковский наложил испытуемому на глаза повязку, взял его за руку и повлек за собою. Прогулка их длилась довольно

долго по каким-то неведомым коридорам и переходам, с лестницы на лестницу, то вверх, то вниз. Страдавший уже в ту пору подагрой в ногах, Василий Львович, за повязкой ничего перед собой не различая, не раз спотыкался и судорожно только держался за руку своего вожагого.

— Куда ты ведешь меня, Василий Андреевич? — решил шепотом справиться он у него.

— В глубокие пропасти между гиенами и онаграми халдеев "Беседы", — был таинственный ответ. — Яко бедные читатели блуждают в мрачном лабиринте славенских периодов, так и ты, друг мой, ныне иносказательно бродишь по опустевшим чертогам седой Славены и добровольно спускаешься в бездны безвкусыя и бессмыслицы.

Наконец, странствие окончилось без особых приключений. Платок был снят с глаз Василия Львовича. Сам он стоял в совершенной темноте; но перед ним виднелась арка, завешанная ярко-оранжевой, как бы огненной занавеской.

— Прими сие священное оружие, брат мой

во "Арзамасе", — сказал Светлана-Жуковский, подавая ему лук и стрелы. — "Чудище обло, озорно, трезовно и лаяй", изможденный лик славенофила, иначе: дурной вкус, предстанет здесь перед тобой. Ты же не страшись и повергни его во прах.

Невидимая рука отдернула занавеску, — и Василий Львович невольно отшатнулся. В двух шагах от него возвышалось какое-то безобразное, бледнолицее пугало в белом саване (как потом оказалось, вешалка для платья, покрытая простыней и снабженная человеческой маской).

— Смелей! Стреляй! — шепнул Светлана.

Василий Львович дрожащей рукой натянул тетиву, прицелился и пустил стрелу. За чучелом же был скрыт казачок Уварова. В то же мгновение мальчик опрокинул чучело и выстрелил в Василия Львовича в упор из пистолета. От такой неожиданности (хотя заряд и был холостой) Василий Львович как подстреленный упал ничком да так и остался лежать, уверенный, кажется, что он убит наповал.

— Не страшись, любезный странник! —

раздался тут над ним ободрительный голос Резвого кота — Северина. — Твоему ли чистому сердцу опасаться испытаний? Тебе ли трепетать при виде пораженного неприятеля? Ты пришел, увидел и победил. Какое сходство в судьбах любимых сынов Аполлона! Ты напоминаешь нам о путешествии предка твоего Данта. Ведомый божественным Вергилием в подземных подвалах Плутона и Прозерпины, он презирал возрождавшиеся препятствия на пути своем. Гряди подобно Дату, рази без милосердия тени Мешковых и Шутовских[45] и помни, что

Прямой талант везде защитников найдет.

Последний стих, принадлежавший самому Василию Львовичу, настолько придал ему опять силы, что он при помощи услужливого Светланы "восстал из мертвых". Тогда председатель предложил ему приложиться губами сперва к Лире, потом к Сове, причем в обстоятельной речи объяснил ему значение нового таинства.

— Уста твои прикоснулись к таинствен-

ным символам, — говорил он, — к Лире, конечно не Хлыстова и не Баранова, и к Сове, сей верной подруге арзамасского Гуся, в которой истинные «арзамасцы» чтят изображение сокровенной мудрости. Не «Беседе» принадлежит сия посланница Афин, хотя седой славенофил и желал себе присвоить ее в следующей песне, достойной беседных Анакреонов:

*Сидит сова на печи,
Крыльшками треплючи,
Оченьками лоп-лоп,
Ноженьками топ-топ.*

Нет! Не благородная Сова, но безобразный нетопырь служит ему изображением, ему и всем его клеветам... Настала минута открытий; приблизься, почтенный Вот, новый любезный собрат наш! — продолжал председатель и вручил Василию Львовичу огромного замороженного гуся. — Прими же из рук моих истинный символ «Арзамаса», сего благолепного Гуся, и с ним стремись к совершенному очищению. В потоке «Липецком»[46] омой остатки беседные скверны, и потом, с Гусем в руках и сердце, займи место, давно те-

бя ожидающее. Таинственный Гусь сей да будет отныне всегдашним твоим путеводителем. Гусь наш достоин предков своих. Те спасли Капитолий от внезапного нападения галлов, а сей бодрственно охраняет «Арзамас» от нападений беседных халдеев и щиплет их победоносным своим клювом...

"Липецкие воды", в которых предстояло теперь омыть руки и лицо новокрещенному Воду, оказались ручной лоханью с серебряною под ним лоханью. Обряд этот сопровождался новою речью Кассандры-Блудова, который, восхваляя чудодейственную силу "Липецких вод", в юмористических красках обрисовал поочередно всех присутствующих членов "Арзамаса".

Омовением закончился искус, и младший член общества, Асмодей — князь Вяземский, за полтора месяца перед тем только принятый в «Арзамас», произнес последнюю приветственную речь новому сочлену:

— Непостижимы приговоры Провидения! Я, юный ратник на поле жизни, младший на полях «Арзамаса», приемлю кого? Героя, посевшего в бурях житейских, прославившегося

давно под знаменами вкуса, ума и — «Арзамаса»! Того, который первый водрузил хоругвь независимости на башнях халдейских, первый прервал безмолвие робости, первый вырвал перо из крыла безвестного еще тогда арзамасского Гуся и пламенными чертами написал манифест о войне с противниками под именем послания к Светлане.[47] Приди, о, мой отче! О, мой сын, ты, победивший все испытания, переплывший бурные пучины вод... Судьба, отворившая тебе двери святилица после всех и, так сказать, замыкающая тобой торжественный ряд арзамасских Гусей, хотела оправдать знаменитое предсказание, что некогда первые будут последними, а последние будут первыми. Так! Ты будешь староста «Арзамаса». Благодарность и Осторожность вручат тебе патриархальный посох. Арзамасский Гусь приосенит чело твое покровительственным крылом...

Окончание речи Асмодея пропало в сумбуре голосов всех «арзамасцев», которые, обступив Василия Львовича, с непритворным уже радушием поздравляли его со званием старосты «Арзамаса». Натешившись над простова-

тым московским приятелем своим, они, казалось, вполне чистосердечно жали ему руку, троекратно лобызались с ним, потому что за его открытый, добрый нрав все от души были к нему расположены.

— Теперь, дорогой собрат наш Вот, — возгласил председатель, — очередь говорить за тобой: тебе предстоит славный подвиг отпеть твоего покойного предместника по «Беседе». Но как сим предместником был ты же сам, то и отпеть ты имеешь самого себя.

Василий Львович, приготовивший уже подобающее ответное слово, сперва немного как бы опешил. Но надо было выдержать роль до конца. Зайдя на другую сторону стола, он принял изящную ораторскую позу и развязно начал так:

— Правила почтеннейшего нашего сословия повелевают мне, любезнейшие арзамасцы, совершить себе самому надгробное отпевание. Но — я не почитаю себя умершим! Напротив того, я воскрес: ибо нахожусь посреди вас; я воскрес, ибо навсегда оставляю мертвых умом и чувствами...

— Очень хорошо! Прекрасно сказано! —

раздалось кругом.

Оратор окинул присутствующих орлиным взглядом и, искусно перейдя к длинноухим Мидасам «Беседы», прочел теперь заранее приготовленную литию мнимоусопшему «беседчику» князю Шихматову. Похоронив его, он обратился снова к присутствующим:

— Почтеннейшие сограждане «Арзамаса»! Я не буду исчислять подвигов ваших. Они всем известны. Я скажу только, что каждый из вас приводит сочлена «Беседы» в содрогание, точно так, как каждый из них производит в собрании нашем смех и забаву. Да вечно сие продолжится! Пусть сычи вечно останутся сычами: мы вечно будем удивляться многоплодным их произведениям, вечно отпевать их, вечно забавляться их трагедиями, плакать и зевать от их комедий, любоваться нежностью их сатир и колкостью их мадригалов. Вот чего я желаю и чего вы, любезнейшие товарищи, должны желать непрестанно для утешения и чести "Арзамаса".

Замечательные в своем роде речи этого достопамятного вечера не пропали для потомства: князь Вяземский занес их от слова

до слова в свою записную книжку и поставил нас, таким образом, в возможность дословно (с некоторыми только сокращениями) привести их в нашем правдивом повествовании.

Прибавим к рассказанному одно: что вечер заключился обильным ужином, за которым неоднократно уже упомянутому арзамасскому Гусю (конечно, в жареном уже виде) была оказана полная честь, старосте «Арзамаса» — Воту были принесены самые задушевные тосты, а заклятому врагу его — князю Шаховскому — пропета хором сочиненная Дашковым кантата, каждый куплет которой заканчивался припевом:

Хвала, хвала тебе, о, Шутовской!

Глава XIX

ОПЯТЬ ДЯДЯ И ПЛЕМЯННИК

Зверь начал фыркать, издали обнюхивая своего гостя, и вдруг, поднявшись на задние лапы, пошел на него. Француз не смутился, не побежал... вынул из кармана маленький пистолет, вложил его в ухо голодному зверю и выстрелил.

"Дубровский"

Мог ли ожидать почтенный староста «Арзамаса» после описанного торжества своего, что родной племянник его, 16-летний школьник, осмелится подметить в этом торжестве одну оборотную сторону?

Отчасти виноват в том, правда, был Светлана-Жуковский. Недолго после того "арзамасского вечера" он навестил опять своего молодого друга в Царском Селе и был сам в таком редко счастливом настроении духа, что почти без настояний со стороны Пушкина чрезвычайно картинно воспроизвел перед его глазами все фазисы торжества и даже произнес целые тирады из сказанных речей.

Пушкин хохотал до упаду.

— Но какие же, скажи, преимущества дяди как старосты "Арзамаса"? — спросил он.

— О! Весьма, существенные, — с важностью отвечал Жуковский. — Когда он присутствует в заседании, то место его — рядом с председателем; когда же отсутствует, то — в сердцах друзей; вещей глас его в «Арзамасе» имеет силу трубы и приятность флейты; подпись его на протоколах отмечается приличною званию размахкою, и прочее, и прочее.

— Мне, право, немного жаль дяди. Неужели он так и не заметил, что вы над ним подтрунивали?

— Да ведь, голубчик, все от чистого сердца, а у него оно еще добрее.

— Но в конце концов вам нельзя же будет скрыть от него, что другие члены принимаются без таких дантовских мучений?

— Напротив, все уже шито и крыто. Вяземский уверил его, что он также прошел через те же мытарства.

— Ну, а на будущее время?

— На будущее время их уже не будет: ввиду тех мук, которые испытал Василий Льво-

вич при своем искусстве и которые он преодолел только благодаря силе своего духа, — все гуси единогласно постановили: впредь новых гусей принимать без искусства, как для них тягостного, а для старых гусей убыточного.

— Гусей? — переспросил Пушкин.

— Ну да, арзамасских гусей, то есть членов. Так мы выбрали уже нашими почетными гусями Нелединского, Дмитриева, Карамзина...

— Даже Карамзина?

— Он лично благодарил нас за честь.

— Так он разве теперь в Петербурге?

— Да, он приехал из Москвы представить государю восемь готовых уже томов своей "Истории государства Российского". Ах, милый мой, что это за светлая личность! Мне как-то необыкновенно приятно даже о нем думать и говорить. У меня в душе, можно сказать, есть особенно хорошее свойство, которое называется Карамзиным: тут соединено все, что есть во мне доброго и лучшего. Недавно я провел у него самый приятный вечер. Он читал нам описание взятия Казани. Какое совершенство! и какая эпоха для русского — явление этой истории! По сию пору наши

предки были для нас только мертвыми мумиями, и все истории русского народа, известные доселе, можно назвать только гробами, в которых мы видели лежащими эти безобразные мумии. Теперь, благодаря Карамзину, они оживают, поднимаются и получают привлекательный, величественный образ...

— Если бы мне самому удалось тоже увидеть опять его! — сказал Пушкин.

— А он, кажется, собирался на обратном пути в Москву завернуть сюда к тебе.

— Да? И ты, Василий Андреич, тоже заедешь вместе с ним?

— Не могу, друг мой, потому что не буду уже в Петербурге.

— Но ты ожидал ведь пристроиться при дворе?

— И пристроился.

— Пристроился? И молчишь до сих пор!

— Императрица Мария Федоровна была так милостива, что назначила меня своим чтецом. Но... я все еще не могу привыкнуть к придворной сфере; меня все тянет домой, к своим; и вот на днях я собираюсь к ним в Дерпт.

И точно, Жуковский более года провел в тесном семейном кругу в Дерпте и только в конце 1817 г. возвратился в Петербург, когда был назначен преподавателем русского языка великой княгини (впоследствии императрицы) Александры Федоровны.

Как предупредил уже Жуковский, вскоре после него, именно в конце марта, Пушкина в Царском Селе действительно навестил Карамзин, а вместе с ним и возвращавшиеся также в Москву Василий Львович и князь Вяземский.

Карамзина Пушкин видел в последний раз 4 года назад в Москве, в родительском доме, и хорошо еще помнил. Князя Вяземского, который у них бывал реже и, как человек молодой, значительно возмужал, он почти не узнал. Будучи мальчиком, Пушкин не интересовался особенно ни тем, ни другим. В настоящее время, сам выступив на литературное поприще, он глядел на них во все глаза.

Карамзину в декабре месяце минуло ровно 50 лет, но он за последние 4 года почти не изменился. Только волосы, зачесанные с боков на верх головы, сильнее прежнего серебри-

лись, да две характеристичные морщины по углам рта врезались как будто глубже. Благо-родное, спокойно доброе лицо его с высоким открытым лбом и правильным римским носом было по-прежнему удивительно привле-кательно; серьезно улыбающиеся губы его не умели, казалось, принять недовольное выра-жение; а из задумчиво-выразительных глаз глядела самая светлая, чистая душа. С первой же встречи с этим человеком нельзя было не исполниться к нему безотчетного уважения и доверия.

Князь Вяземский, летами хотя и более чем вдвое его моложе (ему минуло только 23 го-да), был на вид не менее его солиден. Высоко-го роста, плечистый и коренастый, он, словно сознавая свою богатырскую мощь, двигался медленно, вразвалку и, раз удобно где-нибудь усевшись, не переменял уже своего положен-ия. Зато в умных глазах его часто вспыхивал яркий огонек; насмешливо улыбающиеся гу-бы его раскрывались только для метких и дельных замечаний. Сойдясь с ним впослед-ствии на дружескую ногу, Пушкин так нари-совал его портрет:

*Судьба свои дары явить желала в
нем,
В счастливом баловне соединив
ошибкой
Богатство, знатный род с возвы-
шенным умом
И простодушие с язвительной
улыбкой.*

На сделанный Пушкиным Карамзину обычный вопрос вежливости о здоровье его жены и детей ясные черты историографа слегка омрачились.

— Ты, может быть, не слышал, — сказал он, — что мы в ноябре месяце схоронили нашу милую дочь Наташу?

— Ни слова!

— Все дети у нас переболели скарлатиной, но Наташа не перенесла болезни.

Карамзин подавил вздох и, отвернувшись к окошку, забарабанил пальцами по стеклу.

— Но ваш серьезный труд должен бы, кажется, помочь вам забыть вашу потерю? — счел нужным выразить свое соболезнование Пушкин.

— Ах, милый мой!.. Жить не значит — пи-

сать историю, писать стихи или комедию, а как можно лучше мыслить, чувствовать и действовать, любить добро и возвышаться к нему душою; все другое — шелуха, не исключая и моих восьми томов истории. Чем более живешь, тем более уясняется тебе цель жизни...

— Ну полно, Николай Михайлыч, — сказал Василий Львович, дружески хлопая опечаленного по плечу. — Лучше поговорим о твоих успехах. Знаешь ли, Александр, что государь дал Николаю Михайлычу 60 тысяч на напечатание его истории и пожаловал ему Анненскую ленту через плечо!

— Последнее даже было лишнее... — вставил от себя Карамзин.

— Ну нет, не говори. И это, братец ты мой, еще не все, — с одушевлением продолжал Василий Львович, обращаясь к племяннику. — Смертельный враг его и всех нас, «арзамасцев», Александр Семеныч Шишков, расшаркнулся перед ним и признал себя побежденным.

— Вот это, точно, блистательная победа! Где ж это было?

— А у старика Державина. Расскажи-ка сам, Николай Михайлыч.

— Гаврила Романыч пригласил меня на обед, — начал Карамзин. — Оказалось, что он позвал и друга своего Шишкова. Тот, когда нас представили друг другу, как будто смутился. Люди, которые не знают коротко ни вас, ни меня, сказал я ему, вздумали приписать мне вражду к вам. Я не способен к вражде; напротив того, я привык питать искреннее уважение к добросовестным писателям, которые трудятся для общей пользы, хотя и не сходятся со мною в некоторых убеждениях. Я не враг ваш, а ученик, потому что многое, высказанное вами, было мне полезно... "Я ничего не сделал..." — пробормотал Шишков сквозь зубы; но, судя по тому, как он встречался потом со мною, надо думать, что он относится теперь снисходительнее ко мне, хотя я дружу по-прежнему с "арзамасцами".

— Ах, кстати, дядя, — заметил Пушкин, — вас можно поздравить как старосту "Арзамаса"?

Василий Львович окинул столпившуюся кругом лицейскую молодежь сияющим взгля-

дом.

— А до вас сюда тоже слух уже дошел? Мда, — добавил он с самодовольною скромностью. — Теперь хоть сейчас в гроб лягу, не поморщась; над могилой же моей вы, племянники мои, можете начертать ту самую эпитафию, что начертал Белосельский[48] на смерть моего тезки, а своего камердинера:

Под камнем сим лежит признательный Василий:

Мир и покой ему от всех земных насилий!

— Можно начертать и вариант, — неосторожно сострил Александр. — "Под шубой сей лежит" ... или еще лучше: "Под чучелом лежит наш дядюшка Василий" ...

Насмешка была слишком прямолинейна: даже простодушнейший Василий Львович понял ее и насупился. Князь Вяземский счел нужным выступить посредником.

— Жуковский, видно, разболтал вам об искусе дяди? — спросил он Пушкина.

— Да, рассказал...

— Ну вот. А лавры нашей Светланы прельстили, очевидно, молодого человека. Есть ли на свете человек милее нашего Василия

Андреича? И что же? Он, чувствительнейший «балладник», "гробовых дел мастер", в то же время наш первый гусяр и скоморох, "шуточных и шутовских дел мастер".

— То поэт самой чистой воды: ему прости-тельно, — с важностью отозвался Василий Львович, — а у этого и молоко-то на губах не обсохло...

— Однако тоже поэт, тоже попадет скоро в ваш "Арзамас"! — неожиданно вступился за товарища Кюхельбекер.

— Кто? Александр-то? Француз, как вы сами его здесь прозвали?

— Я, дядя, пишу теперь почти что только по-русски... — возразил со своей стороны племянник, которого от слов дяди вогнало в краску.

— Да что пишешь-то? — продолжал в том же высокомерном тоне Василий Львович. — Накропал пару каких-то жалких од и вообразил себя тоже поэтом. На таких скороспелых поэтиков у меня давно сложена эпиграмма:

*Какой-то стихотвор (довольно их
у нас)
Послал две оды на Парнас.*

Он в них описывал красу природы,
неба,
Цвет розо-желтый облаков,
Шум листьев, вой зверей, ночное
пенье сов
И милости просил у Феба
Читая, Феб зевал и наконец спро-
сил:
"Каких лет стихотворец был,
И оды громкие давно ли сочиня-
ет?"
— Ему пятнадцать лет, — Эрата
отвечает.
"Пятнадцать только лет?" — Не
более того. —
"Так розгами его!"

Эпиграмма, видимо, понравилась боль-
шинству лицеистов; они со смехом огляну-
лись на молодого Пушкина: что-то он еще
скажет?

— Эпиграмма была бы хоть куда, — загово-
рил Александр, и в голосе его прозвенела уже
задорная нотка, — если бы только...

— Если бы что? Ну, говори! — приступил к
нему дядя.

— Если бы она была вдвое короче.

— Что?!

— Первое условие эпиграммы — сжатость, лаконизм.

— Скажите, пожалуйста! Лаконизм! Тоже критик нашелся! Хотел бы я знать, как ты выразился бы короче?

— Дайте мне десять минут — напишу.

— Десять минут? Ха! Изволь, дружок. На вот тебе бумагу (Василий Львович достал свою карманную книжку и вырвал листок); на карандаш. Садись сейчас и пиши.

Всех присутствующих сильно заняло стихотворное состязание между дядей и племянником. Даже Карамзин, беседовавший в стороне с лицеистом Ломоносовым, которого знал еще по Москве, подошел теперь узнать о предмете спора. Пока Александр присел к столу, чтобы решить мудреную задачу, Василий Львович вынул часы и, не отрываясь, следил за движением минутной стрелки.

— Семь минут прошло... — бормотал он про себя. — Восемь минут...

— Готово! — объявил племянник, вскакивая из-за стола.

— Покажи-ка сюда, — сказал тут Карамзин

и отобрал у него листок. В следующую минуту, не говоря ни слова, он скомкал в кулаке бумагу и с немым укором взглянул в глаза молодому поэту. Тот, молча же, потупился.

Все поняли, что стихотворная шутка зашла уже чересчур далеко. Понял это и Василий Львович. Схватив шапку, он с каким-то ожесточением наскоро стал прощаться. Произошел общий переполох. Все лицеисты чувствовали себя перед ним как бы виноватыми и любезно проводили его с лестницы. Один старший племянник его только остановился на верхней площадке; да и тут он отвернулся к окну и совершенно, казалось, погрузился в созерцание валившего с неба густого снега.

Вдруг кто-то сзади тронул его за руку. Он быстро обернулся. Перед ним стоял Карамзин.

— Я возвратился к тебе вот зачем, — серьезно заговорил он. — Дай мне слово, Александр, не печатать этой эпиграммы.

— Никогда? — спросил Пушкин.

— Да... или, по крайней мере, не при жизни дяди.

— Обещаюсь.

— Я верю тебе, — сказал Карамзин и, кив-

нув ему головой, опять спустился вниз.

"Какая же то была эпиграмма?" — спросит, может быть, читатель.

По всем признакам эпиграмма была та самая, которая вслед за смертью Василия Львовича в 1830 году появилась в "Северных цветах" и в первых четырех строках которой вполне было выражено то же, на что Василию Львовичу потребовалось не менее двенадцати строк:

*Мальчишка Фебу гимн поднес.
"Охота есть, да мало мозгу.
А сколько лет ему, вопрос?"
— Пятнадцать. — "Только-то?
Эй, розгу!"*

Последовавшему вскоре примирению дяди с племянником, очень может быть, способствовали как Карамзин, так и князь Вяземский, с которым молодой Пушкин со встречи в лицее вступил в переписку, а с 1817 года был уже на «ты». Но первый шаг к примирению был сделан самим Александром. К Светлому празднику 1816 года он послал дяде в Москву свое стихотворение "Желание":

Христос воскрес, питомец Феба!..

В ответ на это Василий Львович (17 апреля) писал ему между прочим:

"Благодарю тебя, мой милый, что ты обо мне вспомнил. Письмо твое меня утешило и точно сделало с праздником... Я хотел было отвечать тебе стихами, но с некоторых пор Муза моя стала очень ленива, и ее тормозить надобно, чтоб вышло что-нибудь путное. Вяземский тебя любит и писать к тебе будет. Николай Михайлович (Карамзин) в начале мая отправляется в Царское Село. Люби его, слушайся и почитай. Советы такого человека послужат к твоему добру и, может быть, к пользе нашей словесности. Мы от тебя многого ожидаем... Ты — сын Сергея Львовича и брат мне по Аполлону. Этого довольно..."

Если дядя жаловался на свою лень, то и племянник не остался перед ним в этом отношении в долгу. Ответил он ему только спустя восемь месяцев, к новому, 1817 году, известным полустихотворным письмом:

*"Тебе, о Нестор "Арзамаса",
В боях воспитанный поэт,
Опасный для певцов сосед*

*На страшной высоте Парнаса,
Защитник вкуса, грозный Вот!
Тебе, мой дядя, в Новый год
Веселья прежнего желанье
И слабый сердца перевод —
В стихах и прозою посланье.*

В письме вашем вы назвали меня братом; но я не осмелился назвать вас этим именем, слишком для меня лестным.

*Я не совсем еще рассудок потерял,
От рифм бакхических шатаюсь на
Пегасе:
Я знаю сам себя, хоть рад, хотя
не рад...
Нет, нет, вы мне совсем не брат:
Вы дядя мне и на Парнасе.*

...Кажется, что судьбою определены мне только два рода писем — обещательные и извинительные: первые в начале годовой переписки, а последние при последнем ее издыхании...

*Но вы, которые умели
Простыми песнями свирели
Красавиц наших воспевать,
И с гневной музой Ювенала*

*Глухого варварства начала
Сатирой грозной осмеять...
И вы, которые умели
Любить, обедать и писать,
Скажите искренно: ужели
Вы не умеете прощать?.."*

Такое благозвучное покаяние племянника рассеяло, кажется, последнюю тень неудовольствия стихотворца-дяди.

Глава XX

Карамзин

*Сокрытого в веках священный судия,
Страж верный прошлых лет, наперс-
ник муз любимый
И бледной зависти предмет неколеби-
мый...
"К Жуковскому"*

Весною 1816 года, именно 24 мая, Карамзин по приглашению императора Александра переселился с семейством своим из Москвы в Царское Село. Раз в воскресенье, за утренним чаем, Пушкину подали от него записку. Сообщая о своем переезде, Карамзин звал поэта-лицеиста к себе запросто отобедать вместе с товарищем его Ломоносовым.

В глазах Пушкина вспыхнул огонь удовлетворенного самолюбия. На что ему теперь этот Энгельгардт, когда Карамзин просит его к себе?

И он с какою-то, почти злорадною гордостью рассказывал всем и каждому о полученном им приглашении. Особенно завидовал

ему такой же поэт, Дельвиг, которому очень, казалось, хотелось посмотреть на знаменитого писателя и историографа в его домашнем быту.

Из-за чайного стола Пушкин прямо направился в библиотеку, а оттуда, с томом сочинений Карамзина под мышкой, удалился в парк. Здесь же, спустя несколько часов, отыскал его другой приглашенный, Ломоносов.

— Эк зачитался! — сказал тот. — Что это у тебя? Так и есть: "Бедная Лиза"!

— Да ведь надо же было несколько подготовиться, так сказать...

— К предстоящему экзамену? — усмехнулся Ломоносов. — Однако пора, брат, идем.

По приказанию государя Карамзиным был отведен в царском парке маленький китайский домик. Когда юноши наши (принаряженные, разумеется, в свою праздничную форму) подошли к цветочному садику, разведенному перед домом Карамзиных, и только что раскрыли калитку, — на них из-за куста сирени с гамом и визгом налетела ватага детей. Пушкин вовремя посторонился, чтобы не быть сбитым с ног бежавшею впереди девоч-

кою-подростком, за которой гнались остальные, меньшего возраста дети.

— Сонюшка! — невольно вскричал он, потому что в хорошенькой девочке, хотя еще носившей короткое платьице, но стройной и довольно уже высокой, узнал 14-летнюю, старшую дочь Карамзина, от первого его брака.

Сонюшка остановилась и, задыхаясь еще от бега, большими удивленными глазами уставилась на незнакомого ей лицеиста.

— Вы не узнаете меня, Сон... Софья Николаевна? — поправился он.

И без того раскрасневшееся личико девочки залило огненным румянцем до корней волос.

— Ах, Пушкин... — пролепетала она и упорхнула мимо него птичкой обратно к дому.

Задержанная на бегу вместе с нею, орава малолеток шумно помчалась вслед.

— Это вы, Пушкин? — приветствовал молодого гостя по-французски с балкона звучный женский голос, и подошедшие к дому лицеисты увидели на низеньком балконе, за

столиком, уставленным серебряным кофейным сервизом, двух лиц: цветущую и очень видную из себя средних лет даму, хозяйку дома Екатерину Андреевну Карамзину,[49] и молоденького, но не по летам серьезного усача лейб-гусара, Петра Яковлевича Чаадаева, как узнали они вслед за тем из рекомендации хозяйки.

На вопрос юношей: "Как здоровье Николая Михайловича?" — Екатерина Андреевна холодно поблагодарила и объяснила, что до обеда муж ее всегда занят и не выходит из кабинета. Налив затем обоим по чашечке кофею, она, по-видимому, сочла свои обязанности в отношении к ним оконченными и, не обращая уже на них никакого внимания, возобновила с Чаадаевым прерванную живую французскую болтовню.

Пушкин украдкой перемигнулся с Ломоносовым: "Смотри мол, как важничает!", однако невольно сам заинтересовался беседой или, вернее сказать, одним из беседующих, Чаадаевым. Не будь на нем военной формы, Чаадаева можно было бы принять за флегматического английского лорда; а его решительные, ча-

сто глубокомысленные отзывы о самых разнообразных предметах, его обдуманые, осмысленные рассказы о пребывании его за границей обличали в нем не только бывалого, всесторонне образованного, но и ученого человека.

Пушкин не вытерпел и вмешался в разговор. Меткие и остроумные замечания поэта-лицеиста, должно быть, обратили также внимание Чаадаева, потому что тот более чем с обыкновенною светскою любезностью удовлетворял его любознательность относительно заграничной жизни.

Так незаметно подошло время обеда. Все собрались в столовой. Показался из своего кабинета и хозяин-историограф и с неизменной своей спокойной приветливостью поздоровался с гостями. В начале обеда все предались главному занятию — утолению голода, и самый разговор вращался около пищи. Когда всем подали к бульону горячих пирожков, Николаю Михайловичу поставили тарелку вареного рису.

— Без рису мне суп не в суп, — объяснил он гостям, подмешивая в бульон ложку ри-

су. — Рис, рюмка портвейна да стакан пива из горькой квасии — вот ежедневная приправа к моему обеду; а на ночь пара печеных яблок — вот мой десерт.

— С ним у меня просто горе, — пожаловалась Екатерина Андреевна Чаадаеву на мужа, — самые любимые блюда мои бракует, да и ест-то, как птичка, два зернышка.

— Вам бы, Николай Михайлыч, брать пример с Крылова, — развязно подхватил Пушкин. — Я слышал от Жуковского, что они обедали раз вместе в Павловске у императрицы Марии Федоровны. Крылов всякого кушанья наваливал себе полную тарелку.

— Да откажись хоть раз, Иван Андреич, — шепнул ему Жуковский, — дай государыне возможность попотчевать тебя.

— А ну как не попотчует? — отвечал Иван Андреич и продолжал накладывать себе на тарелку. — Синица в руке все же вернее журавля в небе.

— Как это характеризует этого гиппопотама! — заметила Екатерина Андреевна, удостоив улыбкой рассказ Пушкина, тогда как другие взрослые смеялись, а дети громко хохотали.

ли. — Ч-ш-ш! Будьте же тише, дети!

— Нет, за Иваном Андреевичем мне не угодиться, — добродушно отозвался Карамзин. — Да и дело не в количестве, а в качестве пищи. Для строгого труда нужна и строгая диета. Встаю я всегда рано, натошак отправляюсь гулять пешком или верхом, и зимой, и летом, какова бы ни была погода. Выпив затем две чашки кофею, выкурив трубку моего кнастера, я сажусь за работу и не разгибаю спины вплоть до обеда. Так я сохраняю свое здоровье, которое мне нужно не столько для себя, не столько даже для моей семьи, сколько для моего усидчивого кабинетного труда.

— Я, папа, себе и представить не могу, чтобы вы были тоже когда-нибудь маленьким! — решилась ввернуть свое слово любимица его, Сонюшка.

— А между тем представь: я был когда-то даже еще меньше тебя!

Шутка его снова развеселила всех за столом.

— Право? — рассмеялась Сонюшка и, точас покраснев, робко оглянулась на мачеху и молодых гостей. — Но, верно же, папа, вы были

не таким ребенком, как мы?

— Кое в чем, милая, я, точно, может быть, отличался от других детей. Очень рано лишившись матери, я не знал ее ласк и был предоставлен сам себе. Книги сделались для меня высшим наслаждением. Помнится, еще лет восьми-девяти от роду, читая в первый раз римскую историю, я воображал себя то маленьким Сципионом, то Ганнибалом. Когда же мне как-то попался в руки "Дон Кихот", я в один темный и бурный вечер прокрался в горницу, где хранился у нас разный старый хлам, разыскал ржавую саблю, заткнул ее себе за кушак и отправился на гумно — искать приключений со злыми духами. Но чем дальше, тем жутче мне становилось. Помахал я этак саблей по воздуху и с замирающим сердцем обратился вспять. Но подвиг мой казался мне тогда немалым!

— Однако не потому ли именно, Николай Михайлыч, что с детства уже побуждения ваши были всегда самые бескорыстные, возвышенные, и все сочинения ваши проникнуты насквозь тем же человеколюбивым, высоко-нравственным духом? — почтительно заме-

тил Чаадаев. — Я сам, можно сказать, вскормлен на вашем "Детском чтении", на ваших «Аглаях» и «Аонидах». А после, когда вы стали издавать "Вестник Европы", — с каким нетерпением, скажу я вам, ожидал я всякую книжку этого журнала в розовой обертке! Вы, Николай Михайлыч, приохотили нас, русских, к чтению — к чтению и размышлению; вы создали наш литературный язык и нашу читающую публику!

— Вся заслуга моя в том, — скромно отвечал Николай Михайлович, — что я прислушивался к живой русской речи и старался писать возможно проще, а также возможно занимательней. Правила языка не изобретаются, а в нем уже существуют. Точно так же и жизнь сама по себе занимательней всяких сказок и фантазий; надо только взглядеться, вслушаться в нее, а главное — руководствоваться при этом одними общими нравственными началами, а не мелкими житейскими расчетами. Я весь век свой держался и буду держаться золотого правила, которое преподал мне германский поэт Виланд, когда я навестил его в Веймаре: "Если бы судьба опреде-

лила мне жить на пустом острове, — говорил он мне, — то я написал бы все то же и с таким же тщанием вырабатывал бы свои сочинения, думая, что музы слушают меня".

— А знаете ли, Николай Михайлыч, — вмешался тут Ломоносов, лукаво поглядывая на своего приятеля-поэта, — знаете ли, какой книгой целое утро нынче зачитывался Пушкин?

— Какой?

— Вашей "Бедной Лизой".

Взоры всех присутствующих с любопытством обратились на Пушкина.

— Да ведь это же лучшая наша русская повесть... — слегка смутившись, проговорил он.

— Во всяком случае не русская, — возразил с улыбкой Карамзин, — русского в ней, кроме имен, ничего нет.

— То есть как же так?..

— А так, что моя "Бедная Лиза" — чистокровная француженка.

— Француженка?!

— Да. Когда я был в Париже, я любил гулять в Булонском лесу. Есть там полуразрушенный замок «Мадрид». Когда я раз как-то

забрел туда, то нашел там старушку в лохмотьях, которая грелась у камина. Мы разговорились. Оказалось, что она нищая и что смотритель из сострадания дозволил ей с дочерью жить в пустынной зале. "У вас есть дочь?" — спросил я. "Была, — отвечала мне старушка, — была; теперь она там, выше... Ах! Мы жили с нею как в раю: жили в низенькой комнате, но спокойно и весело. Тогда и свет был лучше, и люди добрее. Она любила петь, сидя под окном или гуляя в роще; все останавливались и слушали. У меня сердце прыгало от радости. Тогда заимодавцы нас не мучили: Луиза попросит — и всякий готов ждать. Но вот Луиза умерла — и меня выгнали из хижин с клюкой и котомкой. Ходи по миру и лей слезы!" Эта-то канва и послужила мне для моей "Бедной Лизы"; самый эпизод я перенес только в Москву. Моя ли вина, что действующие лица у меня не похожи на русских, воркуют и стонут горлинками, рассуждают языком Лафатера и Боннега?

— А между тем, — подхватил тут Чаадаев, — вся читающая Россия заливалась над вашей «Лизой» горючими слезами; вся Москва

ходила смотреть "Лизин пруд" и вырезывала на березах вокруг пруда разные чувствительные надписи.

— Потому что я был искренен и вывел хотя и не русских людей, но все же живых людей, а не марионеток.

— Но теперь, слава Богу, все эти вымышленные люди или марионетки давно отложены в сторону, — решающим тоном судьи перебила мужа Екатерина Андреевна. — Я вышла замуж не за писателя, а за историографа! Ты вполне достоин твоих древних предков...

— Каких? — шутливо спросил историограф. — Тех, чьих многочисленное потомство гуляет теперь по Москве и Петербургу, выкрикивая: "Халаты! халаты!"?

— Перестань, пожалуйста! Твой прапрадед был мурза, а это по-нашему по меньшей мере граф...

— А что вы думаете, господа? — отнесся Карамзин к гостям. — Захожу я как-то с визитом к одному петербургскому знакомому и не застаю его дома.

— Запиши-ка меня, братец, — говорю я слуге. Тот пошел в кабинет и вскоре возвра-

тился.

— Записал, — говорит.

— Что же ты записал?

— Да Карамзин, граф истории.

Я был, признаться, очень приятно польщен. Носить этот графский титул мне куда почетнее, чем если бы меня, по пращуру, величали татарским мурзою.

Обед пришел к концу, и послеобеденный кофе был подан мужчинам в кабинет хозяина, помещавшийся в небольшом надворном флигере. Здесь разговор вскоре опять зашел о литературе.

— Извините меня, Николай Михайлыч, — сказал Пушкин, — но я не могу хорошенько уяснить себе: как это вы, после вашего громадного успеха в изящной словесности, вдруг решились совсем бросить ее для истории? Или, по-вашему, словесность — такое уже мелочное занятие, что недостойно серьезного человека?

— Нет, — отвечал Карамзин, — быть писателем или историком, быть министром или кабинетным ученым, по-моему, одно и то же. Мелочных занятий для меня нет; всякое заня-

тие для меня важно, лишь бы оно вело к добру.

— Но почему же вы тогда занялись историей только в зрелые годы?

— Почему? Потому что ранее не был к ней подготовлен.

— Вы-то не были подготовлены? Да ведь вы были же в университете, вы перебивали у всяких ученых за границей, вы еще юношей издавали журналы...

— Все это так, но все же до историка мне было еще очень далеко! Когда я возвратился из-за границы и напечатал мои "Письма русского путешественника", какой-то шутник недаром сочинил про меня куплет, который повторялся потом по всей Москве:

*Был я в Женеве, был я в Париже,
Спесью стал выше, разумом ниже.*

Но, положив руку на сердце, могу теперь сказать: спеси во мне и тогда много не было. Занялся я литературой по искреннему влечению. Молодым еще человеком я имел случай порядочно изучить иностранные языки:

немецкий, французский, английский и итальянский, а также древние — греческий и латинский. От знания же языков до чтения в оригинале образцовых авторов — рукой подать. Моим пламенным желанием стало — дать возможность всем соотечественникам наслаждаться хоть в переводе лучшими сочинениями иностранцев. И так-то я сделался журналистом: переводил, пересказывал без отдыха... По мере же того, как кругозор мой расширялся, во мне проснулось неодолимое желание создать что-нибудь свое. Но где было взять тему? Заграничную жизнь я знал; русской, увы! нет. И так-то я перекрестил французенку Луизу в русскую Лизу. Вторую мою повесть — "Наталья боярская дочь" я хотя и позаимствовал уже из русской действительности (а именно — сюжетом мне послужил второй брак царя Алексея Михайловича с Натальей Кирилловной Нарышкиной), но, по цензурным условиям, я многое должен был переиначить, и повесть эта мне менее удалась. Но вот задумал я свою "Марфу Посадницу" и должен был для нее рыться в груде исторических материалов. Совершенно незамет-

но для самого себя я все глубже погружался умом в изучение судеб нашего отечества, все более привязывался к милой нашей России, и в то самое время, когда я слышал еще вокруг себя чрезмерные похвалы моей новейшей исторической повести, когда со всех сторон мне говорили, что наконец-то путь мой найден, — я уже втайне отказался от этого пути — сочинителя исторических повестушек — и задался одною заветною мыслью — написать настоящую историю моего отечества. Первые шаги мои предвещали, казалось, успех: государь был так милостив, что сделал меня историографом с ежегодным пособием в 2000 рублей из сумм Кабинета. Материально я был обеспечен и мог вполне предаться моей ответственной задаче. Но когда я серьезно приступил к ней, тогда только я понял, что труднейшее предстояло мне еще впереди...

На этом рассказ историографа был прерван появлением на пороге его супруги.

— Что же это вы, молодые люди, закупорились, как в банке? — обратилась Екатерина Андреевна к лицеистам. — Дети ждут вас не дождутся.

Пушкин даже вспыхнул и покосился на Чаадаева: что-то он подумает, что их, лицей-стов, приравнивают к детям?

— Супруг ваш досказывал нам сейчас, как он сделался историографом, — объяснил Чаадаев.

— Досказать недолго, — успокоил Карамзин жену и продолжал: — Когда я обратился за материалами к нашим библиотекам и архивам, то очутился в невообразимом хаосе. Каталогов у нас не было и в помине; древние летописи ученой критикой не разработаны, не освещены; иностранные же летописи и сказания иностранцев о России никому у нас не известны. Три года бродил я как в дремучем лесу. Новые тропы перепутывались со старыми и вели все глубже в непроходимую чашу. Несколько раз я с отчаяния сжигал мои первые томы; несколько раз с каким-то ожесточением снова принимался за них. И вот густой лес понемногу поредел, и я увидел просвет на большую дорогу. Вдруг новое непредвиденное препятствие — пожар Москвы. Вся моя драгоценная историческая библиотека сторела, и только рукописи уцелели, благода-

ря случайности, что мы гостили в подмосковной усадьбе Вяземских, Остафьеве.

— А между тем, — подхватила Екатерина Андреевна, слушавшая мужа стоя, изящно наклонившись сзади над спинкой его кресла, — между тем пожар этот был началом нашего счастья: когда мы лишились нашего дома в Москве, императрица Мария Федоровна приняла в нас такое живое участие, что пригласила нас к себе в Петербург или Павловск, и до сих пор хранится у меня еще роза, которую она сорвала у Розового павильона и принесла нам в виде привета! Теперь же вот и государь дал нам здесь приют... Но самого государя со времени нашего приезда мы еще не видели, и пока, мой друг, сердце у меня еще не на месте... — со вздохом прибавила Екатерина Андреевна, ласково проводя белой, выхоленной рукой по шелковистым сединам мужа.

— Чего же тревожиться? — спросил тот, оглядываясь на нее с успокоительной улыбкой.

— У тебя столько завистников...

— У кого их нет? По поводу завистников мне припоминается один аполог персидского

стихотворца Саади: "Великий Хозрой, победив множество народов, сидел на троне в садах своих; вокруг него молча теснились его вельможи. "О чем вы думаете?" — спросил их царь. "О врагах твоих, — отвечали вельможи с глубоким поклоном. — Все они лежат в земле. Кто посмеет теперь беспокоить тебя?" "Комар! — сказал царь. — Он сейчас укусил меня и скрылся от моей мести". Вельможи бросились за комаром. Царь же улыбнулся, сошел с трона и потер себе лоб". Против укулов комаров нет иного средства, — закончил Карамзин свой рассказ, машинально проводя также рукой по своему высокому лбу.

— Есть! — возразила жена и в доказательство наклонила назад к себе голову и с чувством поцеловала его в лоб.

— Да, слава — дым, а семья — все, — сказал Карамзин, обменявшись с нею нежным взглядом.

— В тебе слишком много смирения и слишком мало гордости, — мягко укорила она его.

— Я горд смирением и смирен гордостью.

Занятые разговором, ни хозяйева, ни гости

их не обратили внимания на усилившийся за дверью шорох. Вдруг дверь с шумом распахнулась, и в кабинет влетели хозяйские дети, впереди всех — подталкиваемая прочими — Сонюшка.

— Ну, говори же, говори! — смеясь, понукали они ее. Пунцовая, как пион, Сонюшка, видимо храбрысь, пролепетала:

— Мы хотели играть в горелки... Но нас так мало...

— Ну, что ж, господа, не смилуетесь ли вы наконец над ними? — отнесся Карамзин к лицеистам.

Те переглянулись и нерешительно приподнялись. Между тем Чаадаев уже выступил вперед.

— Если позволите, я буду "гореть", — любезно предложил он.

Пример лейб-гусара ободрил лицеистов.

— Хотите бежать со мной в первой паре? — спросил Пушкин Сонюшку, протягивая ей руку.

— Хорошо...

Ломоносов, уже не спрашивая, завладел ручкой ее младшей сестрицы, Кати, — и ми-

нугу спустя вся молодежь выстроилась парами в ближайшей аллее парка, чтобы бежать вэапуски перед «горящим» гусаром.

Был уже крайний срок — 10 часов вечера, когда лицеисты наши вернулись к себе в лицей. Войдя в свою камеру, Пушкин, еще весь под впечатлениями прожитого дня, собирался только что раздеться, как внезапно вздрогнул: около него раздался тяжелый храп. В светлом сумраке летней ночи он разглядел на своей кровати в полулежачем положении спящего барона Дельвига. Последний так глубоко зарылся головой в подушку, что очки сдвинулись у него из-за ушей и съехали на самый кончик носа.

Пушкин усмехнулся и осторожно снял с него очки, потом толкнул его кулаком в бок, а сам скорее прикорнул за кровать.

— Ну, Леонтий... минуточку! — пробормотал сквозь сон Дельвиг, очевидно воображая, что старший дядька Леонтий будит его, по обыкновению, после второго утреннего звонка.

Пушкин почти громко уж рассмеялся.

— Ни минуточки, ваше благородие! Из-

вольте вставать! — пробасил он голосом Леонтия и, протянув руку из-за края кровати, принялся тормошить друга по коротко остриженным волосам.

— Экой ты! — проворчал Дельви́г, потягиваясь присел на кровати и своими подслеповатыми глазами, лишенными теперь очков, мигая и щурясь, с недоумением огляделся кругом в пустой камере. — Что за оказия?.. Где же Леонтий? И очки-то где?

Он пошарил сперва около себя на постели, но, не найдя очков, присел на пол и стал искать их тут. Вдруг кто-то в полумраке черным привидением разом вырос перед ним и сел ему на шею.

— Кто это?! — не то испугался, не то рассердился Дельви́г.

— На тебе, на! — смеясь, говорил Пушкин, надевая ему опять очки и слезая с него.

— Ах, это ты, Пушкин? — сказал Дельви́г, приподнимаясь с полу и от души зевая. — Не можешь, чтобы не по-школьничать!

— А ты — чтобы не поспать!

— Да вольно ж тебе засиживаться до ночи.

— А ты, Тося, нарочно ждал меня здесь?

— Конечно. Хотелось услышать... Ну что, как Карамзин?

— Ах, братец, что это за человек! — с одушевлением заговорил Пушкин, садясь на кровать и усаживая друга рядом с собой.

В живом рассказе он передал ему все слышанное им за день. Пробила уже полночь, а два друга все сидели еще рядышком на кровати и не могли наговориться. Стук в стену за спиной их прекратил наконец их болтовню.

— Скоро ли вы утомонитесь, полуночники? — послышался из смежной камеры голос Пущина.

— А ты небось все слышал? — спросил Пушкин.

— Все не все, а два часа подряд затыкать уши тоже не приходится. Но теперь и вам, и мне пора честь знать. Доброй ночи!

— Доброй ночи!

И Дельвиг, крепко пожав руку Пушкину, вышел. Но Пушкина мысли его унесли опять в китайский домик, и даже во сне он то слушал историографа, то спорил с его женою, то бегал в горелки с их детьми.

Глава XXI

Господа лейб-гусары

*Бойцы поминают минувшие дни
И битвы, где вместе рубились они.
"Песнь о вещем Олеге*

Встречаясь иногда на своей утренней прогулке по царскосельскому парку с директором Энгельгардтом, император Александр Павлович охотно с ним заговаривал.

— А найдутся ли между твоими лицеистами желающие пойти в военную службу? — спросил он его однажды на такой прогулке.

— Найдутся, ваше величество, — отвечал Энгельгардт и подавил вздох.

— Ты как будто вздыхаешь?

— Нет, государь, я так...

— Сколько человек?

— Человек десять, если не более.

— Так надо познакомить их с фронтом.

— Простите, ваше величество, за откровенное слово, — с решимостью заговорил Энгельгардт. — По высочайшей воле вашей я был призван управлять лицеем и не смел укло-

ниться от этой ответственной задачи. Задача облегчалась мне хоть тем, что я видел перед собой высокую цель — воспитать поколение истинно государственных людей. Оружия же я в жизнь свою никогда не носил, кроме одного домашнего, которое у меня всегда в кармане, — прибавил он, показывая государю складной садовый ножик. — Если бы поэтому вашему величеству угодно уже было ввести в лицей ружье, то я, как человек самый мирный, не был бы в силах управиться с этим новым военным училищем и с душевною скорбью должен был бы просить меня уволить.

Александр Павлович сделал еще попытку убедить Энгельгардта, но безуспешно.

— Тебя не переспоришь! — наконец сказал он. — Но сам же ты говоришь, что между твоими воспитанниками найдутся и такие, которые по доброй воле сделаются военными. Насильно ты их от того не удержишь. Поэтому переспроси-ка всех: кто хочет идти по какой части, и для будущих воинов мы введем военные науки.

Против этого Энгельгардт не мог уже возражать. Он собрал лицейстов и объявил им о

решении государя. Почти половина курса заявила тут же желание быть военными. В числе желающих оказались, между прочим, Вальховский, Пуцин, Малиновский и граф Броглио.

— А ты что же, Пушкин? — спросил Броглио. — Уж кому, как не тебе, с твоим задорным нравом быть военным человеком!

Пример двух приятелей: Пуцина и Малиновского, действительно, сильно соблазнял Пушкина.

— Я подумаю, — отвечал он, — надо посоветоваться еще с родными.

— Очень нужно, если само сердце твое тебе говорит, что делать! — не отставал искуситель. — Да чего лучше: я ведь бываю у здешних гусаров. Нынче Каверин опять звал меня к себе. Будут и другие. Пойдем, я тебя познакомлю. Они уже заявляли мне, что хотели бы узнать ближе нашего первого поэта.

— Рассказывай!

— Нет, серьезно. Я обещался им как-нибудь затащить тебя в их компанию.

— А Чаадаев тоже бывает в этой компании?

— Чаадаев? М-да, случается... Да ведь это вовсе не настоящий гусар, а какой-то философ, бука!

— Ну, а я пошел бы только ради него: я видел его у Карамзиных, и он мне, напротив, очень понравился.

— На вкус, конечно, мастера нет. Я говорю ведь, что и он бывает. Пойдешь, а?

Пушкин не стал уже упираться, и в тот же вечер Броглио ввел его в веселое общество царскосельских лейб-гусаров. Между последними, точно, был на этот раз и Чаадаев. Он поздоровался с Пушкиным просто, как со старым знакомым; остальные офицеры с сдержанным любопытством критически оглядывали с ног до головы «первого» лицейского поэта, которого, без сомнения, видели уже мельком и на музыке.

— Так что же, Петр Яковлич, — не без иронии отнесся один из младших гусаров к товарищу-философу, — война, по-твоему, не что иное, как общественная повальная болезнь?

— Да, и самая жестокая, самая гибельная, — отвечал Чаадаев со спокойным достоинством, — потому что никакая моровая язва

не уносит столько человеческих жертв; точно так же и материально война наносит обществу гораздо более вреда, чем какая бы то ни было эпидемия. Но, с другой стороны, я должен сказать, война — высшая школа жизни...

— Вот на!

— Потому что она научает нас истинному христианскому милосердию.

— Новый парадокс!

— Нет, не парадокс, и я докажу это сейчас на примере. Было то под Вязьмой. Семеновский полк наш (в котором, как вы знаете, я начал службу) после жаркого боя отдыхал на бивуаках. Свежеиспеченный прапор, я лежал около костра с другими офицерами. Вдруг подбегает к нам какая-то бабенка с грудным младенцем на руках.

— Батюшки-сударики! — вопит она и судорожно прижимает ребенка к груди.

— Что с тобой, матушка? — спрашиваем мы.

— Спасите, отцы родные! Сиротинку отнять хотят!

— Сиротинку? Так, значит, он не твой?

— Мой, господа милостивые, теперя-то мой! Даром что француженок...

— Да где ты обзавелась француженком?

— В Москве, вишь, в кормилицы к нему взяли...

— Как же ты вольной волей к врагам кормилицей пошла?

— Не вольной волей, батюшки, — насильно взяли. Да вот здесь, под Вязьмой, отца-то его наши пристрелили; мать в сумятице невесть куда запропала; и остался бедняжечка на руках у меня один-одинешенек!

— Так чего ж ты жалеешь это зелье? — шутливо заметил один из офицеров. — Брось его! Что тебе возиться с ним, со щенком?

— Ой, нет, Бога ради, не троньте! — взмолилась бабенка, еще крепче обхватила младенца и принялась голубить его. — Хотя ты и француженок, да как же мне не любить тебя, сиротинку? Бедный ты мой, бедный!

Товарищи-гусары, как и Пушкин, слушали Чаадаева с сочувственной улыбкой. Один Бродлио насмешливо оглядывался кругом, как бы удивляясь их "сентиментальности".

— И вы так и не отняли его у нее? — спро-

сил он рассказчика.

— А сами вы, скажите, решились бы отнять? — серьезно спросил его тот в ответ. — Другой случай был, пожалуй, еще назидательней. Он был не со мной, а с одним моим приятелем-офицером. В пылу сражения под Красным наши захватили целую партию французов, отвели их в сторону, наскоро заперли в отдельный сарайчик да там и забыли. Спустя уже сутки, а может и более, приятель мой со своей ротой случайно проходил мимо сарайчика. Вдруг слышит он оттуда стоны и вопли. Раскрыл дверь — и отшатнулся. Глазам его представилась потрясающая картина: на земле сидели и лежали, дрожа от холода, прижимаясь друг к дружке, несчастные исхудалые оборванцы в окровавленных ломотьях, с искалеченными членами, с разрубленными головами. Увидев русского офицера, они все разом простерли к нему руки с отчаянным криком:

— Воды! Воды!

Он позвал солдат и велел достать ушат воды. Но лишь только ушат был внесен в сарай, как его уже опрокинули: все раненые, изны-

вая от жажды, гурьбой накиннулись на него и разлили воду. Поднялись попреки и брань. Товарищ мой не без труда успокоил ожесточенных, взял с них слово терпеливо ждать и затем велел принести второй ушат и кружку. Раненые слушались его уже, как дети своей няни, и он каждого по очереди напоил из кружки. Но тут оказалось, что бедняки более суток ничего и не ели, и он подал им горсть черствых сухарей. Повторилась прежняя свалка, сухари вырывались из рук друг у друга, рассыпались по земляному полу и никому не достались. Опять пришлось ему уговаривать обезумевших и по очереди раздать им по сухарю. Один только из всех пленных, который сидел в самом дальнем углу, все время не тронулся с места и, скрестив на груди руки, равнодушно, казалось, наблюдал за товарищами.

— Кто вы такой и почему ничего не просите? — спросил его мой приятель.

— Я — офицер, как и вы, — отвечал гордо пленный, — и, когда солдаты мои утоляют свою жажду, свой голод, я могу ждать помощи только молча.

После второго рассказа Чаадаева наступило минутное, как бы благоговейное молчание, точно каждый присутствующий, даже легкомысленный Броглио, представлял себя на месте пленного французского офицера. Первым нарушил молчание молодой хозяин, корнет-повеса Каверин.

— Что и требовалось доказать, как говаривал у нас в корпусе учитель геометрии, — сказал он. — Милосердие — вещь прекрасная для женщин, для поэтов (Каверин любезно кивнул в сторону Пушкина), но не для нашего брата военного. Мы знаем тебя, Петр Яковлич, очень недавно (Чаадаев перешел в лейб-гусары только месяца за два перед тем), но слухом земля полнится: мы слышали, что ты идешь в огонь впереди других и не имеешь привычки "кланяться пулям". Иначе, право, легко можно было бы подумать, что ты записался в монахи либо в "братья милосердия". Мы живем в практическом девятнадцатом веке, и потому первый вопрос: чего больше — пользы или вреда от войны? По-моему — пользы, потому что война освобождает человечество от лишних людей, очищает воздух

от застоявшихся миазмов, освежает одуревшие головы и души! Согласитесь сами, господа: побывавши с армией в чужих краях, в чужих людях, не набрались ли мы там более всякой премудрости, чем из каких бы то ни было книг?

— Ты — без сомнения, — с тонким сарказмом заметил Чаадаев.

— А ты думаешь, что я уже вовсе книг не читаю? — обидчиво вскинулся Каверин. — Нет, не шутя, иной раз со скуки на сон грядущий я с удовольствием почитаю. Но речь идет не о нас с тобой, а о массе нам подобных. Многие ли в нашей армии говорят и читают на иностранных языках? Был у меня тоже хороший приятель — по-французски ни в зуб, что называется, толкнуть не знал. Входит он в Париже в ресторан и требует себе «дине»! Заучил, изволите видеть, одно это слово и думает: вывезет! Но гарсон подает ему меню и карандаш. Вот тебе загвоздка! Что тут выберешь, что отчеркнешь? И выговорить-то эти мудреные кушанья язык не повернется... Была не была! Отчеркнул он смело карандашом первые четыре блюда и возвратил меню гар-

сону. Тот с улыбкой только поклонился и пошел заказывать обед. "Чего ухмыляется эта бестия?" — подумал мой приятель. Вот подали ему тарелку какой-то небывалой похлебки. Разболтал он ее ложкой; понюхал — ничего, пахнет как будто вкусно; стал хлебать и выхлебал дочиста. "Что-то, — думает, — будет дальше?" Несут второе блюдо... Ишь ты: опять какая-то горячая жижка... Нечего делать — и ту одолел. Но вот и третье блюдо — такая же французская бурда! Ах, чтоб вас!.. Отведал — и ложку в сторону: душа уже не принимает. "Ну, — думает, — коли и на четвертое суп, тогда шабаш! Шапку в охапку..." Так оно и вышло: подали четвертый суп. Не смея взглянуть уже на гарсона, он скорей расплатился и — без оглядки в дверь. А я ему тут как нарочно навстречу. "Куда, брат? Отобедал?" Он только отплюнулся и рукой махнул. "Да что? — говорю. — Разве не угодили?" "Да, уж угодили! — говорит. — Обед в четыре блюда — и все-то одне похлебки! Уж эта мне французская стряпня!" Так вот, господа, где подлинная житейская мудрость и польза от войны! — наставительно заключил Каверин

свой рассказ.

Рассказывал он так уморительно, с такими выразительными ужимками, и сам с таким видимым самоуслаждением слушал себя, что и те из присутствовавших приятелей его, которым прежде был уже известен описанный случай, весело улыбались; лицеисты же, слышавшие рассказ впервые, просто покатывались со смеху. Только Чаадаев хмурился и нетерпеливо покусывал тонкий ус.

— А всего ведь замечательнее то, — заговорил он вдруг, — что подобные анекдоты повторяются буквально в жизни разных людей: тот же самый случай с теми же самыми прибаутками я слышал уже года два назад от партизана нашего Дениса Давыдова.

Каверин вспыхнул как порох.

— Что вы хотите этим сказать, милостивый государь?

— То, что говорю, милостивый государь: я слов своих не повторяю — и не беру назад.

Каверин подскочил к Чаадаеву.

— Ну, полно же, Каверин! Полно, Чаадаев! — вступились тут со всех сторон прочие товарищи и разняли спорящих.

Чаадаев, зевая в руку, встал и со своим стаканом чаю отошел от общего стола.

— Послушайте, Пушкин, — сказал он, — я хотел спросить вас...

Пушкин не замедлил подойти к офицеру-философу, который успел уже внушить ему безотчетное уважение.

— Сядемте тут, в стороне, — вполголоса промолвил Чаадаев, — скажите: что нового в журналах? Я последних номеров еще не видел.

Как ни тянуло сперва Пушкина к общему столу, где один из гусаров опять, видно, передавал какой-то забавный эпизод из походной жизни, потому что рассказ его неоднократно покрывался дружным смехом, — но литературный разговор с начитанным, глубоко образованным Чаадаевым вскоре так занял его, что он искренно пожалел, когда Чаадаев неожиданно поднялся и стал прощаться.

— Мне надо окончить еще заказанную статью, — объяснил он. — Но мы, Пушкин, надеюсь, видимся с вами не в последний раз?

— У Карамзиных, может быть, удастся встретиться, — отвечал Пушкин.

— Нет, зачем же? Заходите без церемоний ко мне.

Пушкин просиял даже от удовольствия.

— Если не стесню вас, Петр Яковлич...

— Нет, сделайте одолжение; не ожидайте особых приглашений.

Никто из офицеров не удерживал уходящего.

— А вот и самый герой наш, — со смехом указал граф Бруглио оставшимся на подошедшего Пушкина. — Расскажи-ка, брат, про наш гоголь-моголь: ты мастер по этой части.

Пушкин не дал просить себя и очень забавно передал известную читателям историю с гоголь-моголем. Гусары слушали его с видимым одобрением, и сами в свою очередь рассказали затем несколько не менее потешных эпизодов собственной жизни.

После этого первого вечера с лейб-гусарми последовало вскоре еще несколько таких же друзей. Удивительно ли, что пылкому воображению поэта везде теперь мерещились гусары? Стоило ему, например, только слышать за окном топот лошадиных копыт — и самые идиллические стихи его получали

вдруг "гусарский оттенок".[50] Намерение его сделаться военным было вполне искреннее, и обстоятельства, казалось, нарочно складывались так, чтобы заветное желание его осуществилось. В середине июня в лицей был определен профессором военных наук (артиллерии, фортификации и тактики) инженерный полковник барон Эльснер, и два раза в неделю лицеистов стали отправлять с гувернером в Софийский манеж для обучения верховой езде на полковых лошадях у полковника Кнабенау под главным наблюдением генерала запасного эскадрона Левашова. Последний попал даже в лицейскую "национальную песню". А именно, лицеисты и прежде уже нередко сопровождали Броглио в манеж, чтобы любоваться с галереи его лихой ездой. Генерал Левашов, в том же манеже «муштруя» "своих ребят", шутя спрашивал лицеистов, когда же они начнут учиться ездить. И вот в благодарность за такое внимание они посвятили ему следующий куплет, в котором между французским разговором с господами-лицеистами генерал, как бы в скобках, обращается с русскими наставлениями к солдатам:

"Bonjour, Messieurs...
(Потише! Поводьем не играй!
Уж я тебя помешу!)
A quand l'êquitation?"

{* Вот мой камин; под вечер тем-
ный,
Осенней бурною порой,
Люблю под сению укромной
Пред ним задумчиво мечтать,
Вольтера, Виланда читать
Или в минуту вдохновенья
Небрежно стансы намарать
И жечь потом свои творенья.
Вот здесь... но быстро привиде-
нья,
Родясь в волшебном фонаре,
На белом полотне мелькают:
Мечты находят, исчезают,
Как тень на утренней заре...
Я слышу топот, слышу ржанье:
Блеснув узорным чепраком,
В блестящем ментика сиянье,
Гусар промчался под окном...
И где вы, мирные картины
Прелестной сельской простоты?
Среди воинственной долины
Ношусь на крыльях я мечты:

*Огни во стане догорают;
Меж них, окутанный плащом,
С седым, усатым казаком
Лежу... вдали штыки сверкают...}*

Наконец, и учитель фехтования Вальвиль отличал Пушкина от других товарищей, из которых только он да Комовский успели перенять искусство парировать удары одновременно двумя рапирами.

И при всем том Пушкин не сделался военным. Почему? Потому что на него неодолимой волной нахлынули вдруг совершенно новые ощущения, которые на время далеко отбросили его от гусарского круга; а после, когда он снова сблизился с этим кругом, он умственно настолько уже созрел, что не остался глух к голосу рассудка.

Глава XXII

Заговорило ретивое

*Простите, игры золотые!
Он рощи полюбил густые,
Уединенье, тишину,
И ночь, и звезды, и луну...
"Евгений Онегин"*

Нелединский-Мелецкий, придворный стихотворец императрицы Марии Федоровны, которого Пушкин в первый раз имел случай мельком видеть летом 1814 года, на Павловском празднике, только однажды побывал еще в лицее на одном из концертов воспитанников. И вот теперь, несколько дней спустя после первого своего посещения Карамзиных, Пушкин совершенно неожиданно удостоился чести получить визит от престарелого сановника-стихотворца.

— Лично к вам, молодой человек, — с покровительственной любезностью объявил Нелединский, когда Пушкин вышел к нему в приемную.

— Ко мне? — удивился Пушкин.

— Да-с. Вы слышали, конечно, что в Павловске у нас гостит юный супруг великой княгини Анны Павловны, наследный принц Оранский...[51]

— Слышал.

— Так вот-с, ему готовится у нас большое празднество, и ее величество поручает вам написать на сей конец кантату.

Пушкин был ошеломлен.

— Но вы сами почему же не напишете?.. — пробормотал он. — Ваша лира...

— Сдана в арсенал древнерусских редкостей и более не настраивается, — перебил с грустной улыбкой Нелединский. — Государыня, точно, была столь милостива, что выразила сперва желание, чтобы куплеты были сочинены мною. Но, по счастью, случился тут наш общий добрый знакомец, Николай Михайлыч Карамзин, и указал на вас.

— Николай Михайлыч! Но ведь он так взыскателен к стихам...

— Стало быть, ваши стихи, милый мой, пришлись ему по вкусу. Я вполне на вас рассчитываю.

— Но эти стихи, вероятно, к спеху?

— Весьма даже: торжество завтра, а ныне стихи должны быть уже в моих руках, дабы их можно было на музыку положить и разучить хору.

По лицу Пушкина пробежала тень.

— Мне ни за что не хотелось бы послушаться императрицы, — промолвил он, — но я не привык вдохновляться по заказу...

— Что делать, любезнейший! Ступайте-ка к себе да постарайтесь вдохновиться; а я здесь посижу, обожду.

— Если бы я только знал, о чем писать...

— Канву я вам, пожалуй, дам, а вы можете уже расписать по ней узоры, — сказал Нелединский. — Злой гений Европы, Наполеон, удален на остров Эльбу, но изменнически возвращается опять в Париж и собирает около себя свои старые дружины. Союзники тоже не дремлют-с и в битве при Ватерлоо наносят злодею последний удар. Но кто является здесь решителем боя? Он, наш царственный гость, молодой принц Оранский! Истекая кровью от полученных ран, он до конца не покидает поля. И вот-с, ныне-то любовь супружеская достойно венчает юного героя...

Как ни витиевата была речь маститого саванника-поэта, Пушкин уловил, однако, в ней поэтические черты, и глаза его заблестали.

— Благодарю вас... теперь я знаю, — сказал он и поспешил в свою камеру.

Час спустя Нелединский-Мелецкий мчался уже обратно в Павловск к императрице, увозя с собой одно из наиболее удачных лицейских стихотворений Пушкина — "Принцу Оранскому", а на третий день молодой автор в присутствии целого класса удостоился особого знака высочайшего благоволения.

— Вчера в честь храброго принца Вильгельма Оранского в Розовом павильоне был опять праздник, — сказал, входя, Энгельгардт. — Особенно же понравились всем прекрасные куплеты, которые пропел оперный хор. Куплеты эти, господа, к гордости лица, написаны одним из вас. Вы догадываетесь, вероятно, кто этот автор?

— Пушкин! Конечно, Пушкин! — заговорили кругом лицеисты.

— Верно, — сказал директор, — и вот ее величество, в знак особого своего благоволения соизволила прислать ему золотые часы с це-

почкой.

— Ура! — единодушно загремел весь класс, и на автора со всех сторон посыпались самые искренние поздравления; каждый старался протесниться к нему, чтобы пожать ему руку.

Когда же он подошел к директору, чтобы принять пожалованный ему подарок, Энгельгардт собственноручно надел на него часы и затем крепко поцеловал его со словами:

— Заходи же опять к нам: жене и детям моим хочется также видеть тебя.

— Благодарю вас! — пробормотал только в ответ Пушкин, взволнованный и тронутый до глубины души.

Но к Энгельгардтам он на этот раз опять-таки не попал. Ему подали французскую раздушенную записочку от Екатерины Андреевны Карамзиной:

"Где вы пропадаете, Александр? Мы все хотим лично поздравить вас с монаршей милостью. Целый вечер мы дома".

Оставалось выбирать между двумя домами: Энгельгардтов и Карамзиных. Надо ли говорить, что выбор был не в пользу Энгельгардтов?

Карамзины приняли его, как говорится, с открытыми объятиями. Дети его уже не дичились, и младшие тотчас полезли к нему на колени, чтобы ощупать собственными руками на жилете его тоненькую золотую цепочку, прикладываясь ушком к тикающим часам. Старшая девочка, Сонюшка, полузастенчиво предложила прогулку на лодке по большому пруду; но когда она вместе с Пушкиным взялась за весла, то сперва от излишнего усердия, а потом, подобно ему, из шалости забрызгала всех водою. По возвращении домой она шепотом упростила мать дозволить ей быть хоть раз хозяйкой и, рдея от удовольствия, сама разливала чай.

Екатерина Андреевна со своей стороны была также очень общительна, причем главной темой ее беседы были успехи ее и мужа ее при дворе. Пушкин развязно оспаривал ее мнения и на каждое колкое замечание обидчивой аристократки находил не менее острый, но вежливый ответ. Николай Михайлович с серьезной улыбкой благодушно слушал препирательства обоих и изредка лишь сдерживал чрезмерную горячность пылкого лице-

иста словами:

— Ну, полно! Кто смеет доказывать дамам, что они ошибаются?

С этих пор Пушкина как-то неодолимо влекло уже к Карамзиным, да и они к нему скоро так привыкли, что, когда проходило дня 3–5 и он не показывался, они посылали в лицей узнать, здоров ли он. Сам Николай Михайлович любил беседовать с развитым не по летам юношей, прочитывал ему целые главы своей ненапечатанной еще "Истории государства Российского" и внимательно выслушивал его незрелые часто, но почти всегда меткие суждения; кончал же обыкновенно тем, что гнал его играть со своими детьми в прятки, пятнашки, горелки. С детьми Пушкин резвился как ребенок, но находил, казалось, еще особенное наслаждение подтрунивать над ними, тормозить их и физически, пока не доводил до слез. Тогда вступалась в дело Екатерина Андреевна, спорить с которою ему, по видимому, также доставляло большое удовольствие, а она хотя и обходилась с ним, как с мальчиком, но в то же время находила-таки нужным горячо отбиваться от его остроум-

ных нападок.

Та цель, для которой Энгельгардт открыл лицеистам доступ в свою семью, — "шлифовка наружная и душевная" — достигалась по-немногу Пушкиным в семье Карамзиных, а также в других семейных домах Царского, куда приглашали молодого поэта: в дамском обществе он поневоле несколько сдерживал, умерял резкие порывы своего необузданного нрава, поневоле «шлифовался», облагораживался. Кроме Карамзиных он бывал в домах коменданта Царского Села графа Ожаровского, Вельо, Севериной, барона Теппера де Фергюсона (учителя пения в лицее), но чаще других — в доме лицейского товарища своего Бакунина, родители которого и молоденькая сестра жили это лето также на даче в Софии. Девушка Бакунина была так мила, что не только Пушкин, но и двое ближайших друзей его — Дельвиг и Пущин — посвятили ей не один мадригал.

Заходил Пушкин, наконец, и к старушке тетке Дельвига, которая прибыла из Москвы погостить в Царском и привезла с собой 8-летнюю сестричку барона Мими, или Машу. По-

следняя при первой же встрече, подобно «большим» барышням, пристала к Пушкину, чтобы он написал ей что-нибудь в альбом.

— Да разве вы, Мими, не получили от Тоси тех стихов, что я вам написал на Рождестве? — спросил Пушкин.

— Ну, что ж это за стихи! — заметила недвольным тоном хорошенькая девочка и встряхнула своими белокурыми локонами.

"Вот тоже критик нашелся!" — подумал Пушкин и стал допытываться:

— Так стихи мои, значит, не хороши?

— Н-нет.

— Почему же?

— Потому, что вы говорите там неправду.

— Неправду?

— Ну да:

*Вам восемь лет, а мне семна-
дцать било...*

*Разве вам было уж тогда семна-
дцать?*

Пушкин принужденно расхохотался.

— Теперь мне наверное столько: спросите хоть кого. И почем вы, Мими, знаете, сколько мне лет?

— Я не Мими теперь, а Маша... — поправила она его. — Ведь я знаю же, что вы на год почти моложе Тоси. А сами еще говорите дальше, что не лжете:

*Уже я стар, мне незнакома ложь:
Послушайте, Амур, как вы, хорош;
Амур — дитя, Амур на вас по-
хож...
Кто это такой — Амур? Я его ни-
когда не видала.*

— Рано захотели! — снова рассмеялся Пушкин.

— Ну вот, вы все смеетесь; значит, опять ложь: Амур — какой-нибудь уродец, и вы только насмеялись надо мною!.. — надула она губки.

— Нет, ей-Богу, Амур — премиленький мальчуган! — серьезно уверил ее Пушкин. — Если вам угодно, Машенька, я, пожалуй, напишу что-нибудь другое.

Пасмурное личико девочки разом прояснилось и просияло.

— Ах да! — вскричала она. — Только, пожалуйста, не пишите так важно: "К баронессе Марье Антоновне Дельвиг", а просто как сле-

дует: "К Маше".

— Слушаю-с, сударыня, будет исполнено, — с комической почтительностью отвечал наш поэт и на следующий же день преподнес ей стихи, которые ей понравились несравненно больше и которые начинаются так:

*Вчера мне Маша приказала
В куплеты рифмы набросать...*

В той же мере, как Пушкин втягивался в мирную семейную жизнь, он удалялся от веселого гусарского кружка и только к гусару-мыслителю Чаадаеву заглядывал еще довольно часто; а когда не заставал его дома, то брал у него с полки какую-нибудь капитальную книгу и, усевшись с ногами на диван, жадно пожирал страницу за страницей. Как верно оценил он уже тогда этого замечательного человека, показывает следующее четверостишие его про Чаадаева:

*Он высшей волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах —
Периклес,*

А здесь он — офицер гусарский.

В самое короткое время с Пушкиным, как с каким-то сказочным героем, совершилось удивительное превращение. Напрасно товарищи зазывали его играть на Розовое поле; с видимой неохотой ходил он в их компании даже на музыку. По вечерам только его видели в том или другом семейном доме; а затем на весь день он делался невидимкой. За общим же чаем, за обедом, среди окружающего говора и смеха он погружался в мечтания и шевелил губами, словно рассуждая сам с собой.

— Какой он странный стал! — толковали меж собой про него товарищи. — Точно его подменили... околдовали!

Вскоре загадка, казалось, разъяснилась. Однажды несколько товарищей его на прогулке по парку забрели случайно в отдаленную, заброшенную аллею и застали его там врасплох. С открытыми, неподвижно вытаращенными глазами, ничего как бы перед собой не видя, Пушкин шагал по небольшой площадке взад и вперед, театрально разводя по воздуху руками и декламируя какие-то

рифмованные фразы, то возвышая голос, то понижая его опять до чуть слышного шепота.

— Ч-ш-ш-ш! — сказал Илличевский, останавливая других движением руки. — Не видите разве: лунатик!

— Ну да! Лунатик при солнечном свете! — отозвался другой лицеист.

— Вернее всего, с панталыку сбился, как прошлой осенью Кюхельбекер, — заметил граф Броглио, — взбесился от жары либо от собственных стихов. Пешель назвал бы его болезнь стихоманией.

— Нет, господа, болезнь его сидит глубже — в самом сердце! — решил Илличевский. — Эй, Пушкин! Скажи-ка, признайся: по ком это опять у тебя заговорило ретивое?

Теперь только, казалось, Пушкин заметил кучку товарищей, наблюдавших за ним.

— Что вам нужно от меня? — сурово произнес он, оглядывая их сверкающим взором. — Оставьте меня в покое...

— Заговорило ретивое! — повторил насмешливо Илличевский. — Не хочу учиться, хочу жениться.

— Что? Что ты сказал? — вспыхнул Пушкин

и с сжатыми кулаками так грозно подступил к нему, что Илличевский с комическим ужасом отретировался за ближнее дерево.

— Ай, ай, укусит!

— Я говорю ведь, что он взбесился, — сказал Броглио, — уйдемте лучше от беды.

— Шуты гороховые! Клоуны! — буркнул Пушкин и быстро удалился.

В этот день у лицеистов не было других толков, как о Пушкине, у которого "заговорило ретивое". Особенно внимательно прислушивался к этим толкам один товарищ — князь Горчаков, — прислушивался и молчал. Но на другое утро, когда Пушкин опять исчез куда-то, он отправился разыскивать его на любимом его полуострове у большого пруда. Пушкин лежал на спине в траве и мечтательно глядел в вышину.

— Я тебе не мешаю, Пушкин? — тихо спросил Горчаков.

— Ах, это ты, князь? — промолвил Пушкин мягким, как бы расслабленным голосом, мельком взглядывая на него. — Ты зачем-нибудь искал меня?

— Нет, я так... гулял просто... А ты, Пуш-

кин, что тут делаешь?

— Да вот, люблюсь облаками. Прелесть как хороши!

— Можно прилечь к тебе?

— Сделай милость.

Горчаков опустился на траву, прилег на спину рядом с ним.

— В самом деле, — согласился он, — ведь что такое в сущности облака? Туман, холодный пар; а вон как на солнце сияют! Смотреть даже больно... Но что всего интереснее, знаешь, так это то, что эти дымчатые, волнистые массы каждый миг совершенно незаметно меняют форму, и то, что сейчас только представляло какую-то безобразную глыбу или страшное чудовище, в следующую минуту обращается уже в смеющееся лицо или в фантастическое волшебное видение. Не то же ли и со всем в мире? С передвижением нашим в пространстве времени не меняются ли точно так же вокруг нас все обстоятельства, а с ними не меняются ли и наши собственные мысли и убеждения? То, что нас вчера еще пугало или печалило, сегодня уже, может быть, нас веселит или пленяет.

— Ты, Горчаков, сам, может быть, не знаешь, как верно твое замечание... — произнес Пушкин, но произнес таким тоном, что приятель быстро приподнялся на локоть и пристально всмотрелся ему в лицо.

— И то ведь, Пушкин, ты в короткое время до того изменился...

— Ты находишь? — задумчиво улыбнулся Пушкин. — Да, в груди у меня точно раскрылась потайная дверка, куда я еще сам не смею заглянуть... Я сам себя еще хорошенько не понимаю. Но одно несомненно: что я пою теперь не с чужого голоса и не вымышленное, и в этом отношении как бы слабы ни были мои нынешние стихи — они все же неизмеримо выше всего, что до сих пор мною написано.

Действительно, стихотворения той мечтательной полосы, которая нашла на Пушкина летом 1816 года, представляют крутой перелом в его поэтической деятельности: в звучных строфах изливая волновавшие его смутные чувства, он сделал первый шаг от подражаний к самостоятельному творчеству, свернул с чужих путей на свою собственную дорогу.

На другой же день после описанного разговора с Горчаковым он сам попросил у последнего его альбом и вписал туда стихи, наглядно характеризующие как его собственное тогдашнее душевное состояние, так и светлую личность Горчакова. Вот начало этого послания:

*Встречаюсь я с осьмнадцатой
весной.
В последний раз, быть может, я с
тобой,
Задумчиво внимая шум дубрав-
ный,
Над озером иду рука с рукой.
Где вы, лета беспечности недав-
ной?
С надеждами во цвете юных лет,
Мой милый друг, мы входим в но-
вый свет;
Но там удел назначен нам не рав-
ный,
И розно наш оставим в жизни
след.
Тебе рукой Фортуны своенравной
Указан путь и счастливый и слав-
ный, —
Моя стезя печальна и темна;*

*И нежная краса тебе дана,
И нравится блестящий дар при-
роды,
И быстрый ум, и верный, милый
нрав;
Ты сотворен для сладостной сво-
боды,
Для радости, для славы, для за-
бав...
Я слезы лью, я трачу век напрас-
но,
Мучительным желанием горя.
Твоя заря — заря весны прекрас-
ной,
Моя ж, мой друг, — осенняя заря...*

Когда с наступлением осени Карамзины и Бакунины, два наиболее дорогие Пушкину семейства, съехали с дачи, его одолела сперва невыносимая тоска, разрешившаяся целым рядом элегий: "Осеннее утро", «Разлука», "Опять я ваш, о, юные друзья!.." и проч.

В таком-то настроении застало его и письмо верной его няни Арины Родионовны, присланное из села Михайловского.[52]

Отдаленный привет ее нашел живой отклик в восприимчивом сердце поэта, и в

большом стихотворении своем «Сон» он посвятил ей следующие строки, едва ли не самые поэтические за все время пребывания его в лицее:

*Ах! Умолчу ль о мамушке моей,
О прелести таинственных ночей,
Когда в чепце, в старинном одея-
нье,
Она, духов молитвой уклоня,
С усердием перекрестит меня
И шепотом рассказывать мне
станет
О мертвецах, о подвигах Бовы...
От ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь под одеяло,
Не чувствуя ни ног, ни головы.
Под образом простой ночник из
глины
Чуть освещал глубокие морщины,
Драгой антик, прабабушкин чепец
И длинный рот, где зуба два сту-
чало, —
Все в душу страх невольный посе-
ляло.
Я трепетал — и тихо наконец
Томленья сна на очи упадало.
Тогда толпой с лазурной высоты*

*На ложе роз крылатые мечты,
Волшебники, волшебницы слета-
ли,
Обманами мой сон обворожали.
Терялся я в порыве сладких дум;
В глуши лесной, средь муромских
пустыней,
Встречал лихих Полканов и Доб-
рыней —
И в вымыслах носился юный ум...*

Тогда же пробужденные в памяти молодого поэта забытые нянины сказки зародили в пылком воображении его новые волшебные образы, которые, понемногу воплощаясь, сложились наконец в первую большую поэму — "Руслан и Людмила".

Глава XXIII

Яблочная экспедиция

*Не спи, казак: во тьме ночной
Чеченец ходит за рекой.
"Кавказский пленник"*

*Ляхи: Победа! победа! Слава царю Ди-
митрию!
Димитрий: Ударить отбой! Мы побе-
дили!
Довольно; щадите русскую кровь. От-
бой!
"Борис Годунов"*

Теплые, ясные дни, так и манившие к мечтаниям в тенистой чаще дворцового парка, сменились дождевыми осенними полусумерками; перелетные птицы — дачники — покинули Царское; удивительно ли, что «элегическая» полоса у нашего поэта уступила место полосе "гусарской"?

Первый толчок к тому, впрочем, дал опять граф Броглио. Проходя раз на послеобеденной прогулке с товарищами мимо фруктового сада царского садовника Лямина, Броглио выра-

зительно кивнул Пушкину на видневшиеся за высоким забором яблони, густо увешанные прозрачными, как воск, наливными яблоками:

— Вот бы где пожить!

— Хоть видит око,

Да зуб неймет,

— отозвался Пушкин, немалый тоже охотник до фруктов.

— Это еще бабушка надвое сказала.

Пушкин, недоумевая, оглянулся на говорящего.

— Что такое?

Тот подмигнул ему одним глазом на шедшего впереди гувернера Чирикова.

— Отстанем немножко...

Пропустив вперед всю партию товарищей, он вполголоса продолжал:

— Хоть ты, Пушкин, в последнее время и стал каким-то филистером, однако не разучился же еще играть в чехарду?

— Не думаю.

— Так мудрость ли для таких двух молодцов, как мы, перемахнуть через эдакий забор?

Теперь Пушкин понял искусителя.

— Не большая, пожалуй, мудрость, — сказал он, — но, не говоря уже о том, что чужое добро впрок нейдет...

— Увидишь, как еще пойдет впрок! — усмехнулся Броглио. — Только слюнки потекут.

— Нет, я говорю о праве собственности. Помнишь, что вчера нам еще читал на лекции Куницын...

— Поди ты со своим Куницыным! — А впрочем, и он же ведь рассказывал нам, что за границей: в Швейцарии, в некоторых местах Германии проходим не запрещается рвать по дороге фрукты, лишь бы в карман не клали.

— То-то вот! А ты, брат, разве ничего тоже в карман себе не положишь?

Броглио расхохотался.

— Если положу, то только из высших политико-экономических видов: чтобы дорогого времени не терять. Ведь, в сущности, все единственно: зараз ли я сорву десять яблок, или же десять раз по одной штуке?

— Как ты хорошо вдруг политическую экономию раскусил!

Науки юношей питают,
а хорошие яблоки тем паче. Ну, а коли уже
расчетливые немцы на произрастения природы
смотрят как на дар Божий, так как же тебе,
русскому человеку, с широкой твоей натурой,
иначе смотреть?

Когда кто желает, чтобы его убедили, то он
легко поддается и на софизмы. И Пушкин на-
чал сдаваться.

— Но ведь у Лямина, ты знаешь, есть в саду
всегда караульщики, — еще возразил он.

— А у нас есть свои орудия защиты, — от-
вечал Броглио, самодовольно показывая свои
здоровенные кулачища.

— Но эти естественные орудия могут не
устоять против их искусственных орудий —
дубинок.

— Гм... да; это вопрос, требующий серьез-
ных соображений. Э! Да что тут! Надо будет
только уравнивать силы — если не качеством,
то количеством: завербовать в нашу экспеди-
цию еще кой-кого из гоголь-моголистов. Это
все тоже будущие военные люди.

— Кроме Дельвига.

— Ну, тот — ночной колпак, прямая шта-

фирка!

— Так его, значит, лучше и не тревожить?

— Господь с ним! Ты переговори с Пуцциным, а я с Малиновским и Тырковым. Надо будет нам только еще выбрать начальника экспедиции, атамана.

— И выбирать нечего: кому же, Броглио, быть атаманом, как не тебе, нашей матке?

— А коли так, то я за успех отвечаю. К вечеру отправимся все в город и ровно в половине десятого сберемся под забором; решено?

— И подписано.

"Гусарская" струя подхватила Пушкина и увлекла его с собой. Передавая затем Пуццину план предстоящей «кампании», он был очень красноречив. Но даже мнимонаучные доводы Броглио, которые он в заключение повторил ему, не могли вполне убедить его более рассудительного друга.

— Да понимаешь ли, — с сердцем воскликнул Пушкин, — если уже сам Куницын того же мнения!..

— Того же ли? — усомнился Пуццин. — Если хочешь, пойдем сейчас и узнаем: он, кстати, здесь...

— С ума ты сошел! Как педагог и человек штатский, он нас, понятно, не одобрит и еще помешает нам.

— Что же я говорю?

— Нет, спроси любого военного...

— Например, Чаадаева?

Пушкин нетерпеливо дернул плечом.

— У Чаадаева совсем особые взгляды на вещи, — сказал он.

— Положим; но чего ближе — спросим, наконец, нашего же товарища Вальховского: он тоже будущий военный. Что он скажет — тому и быть.

— Ты, Пуцин, кажется, нарочно хочешь бесить меня!

Пуцин ласково улыбнулся.

— Я хочу только доказать тебе, что как ни рассуждай, а черного не сделать белым.

— Но ежели я раз слово дал...

— Ну, вот это резон! Давши слово — держись, а не давши — крепись. Сделаться пошмищем какого-нибудь Броглио или Тыркова тебе уже не приходится.

Пушкин опять встрепенулся.

— Вот, видишь ли! — подхватил он. — Ты,

стало быть, для друга все же не откажешься?

— Для друга я готов не только в огонь и в воду, но даже... чужих яблок поесть! — шутливо отвечал Пушкин.

В те времена уличные фонари с масляными лампами представляли еще по всей России некоторую роскошь. В Царском Селе, правда, как в летней резиденции императорской фамилии, главные улицы пользовались уже этою роскошью. Но тот переулок, куда выходил фруктовый сад царского садовника Лямина, к концу дня погружался в темноту. В довершение всего в описываемый день было новолуние, и потому, когда участники яблочной экспедиции в урочный час стали сходиться под заветным забором, им сквозь непроглядный мрак сентябрьской ночи не было даже видно друг друга, и только по голосам они могли разобрать, кто прибыл, кто нет.

Вот и все были уже налицо, кроме одного самого главного, атамана.

— Сам же ведь подбил нас, а теперь вот не угодно ли ждать! — вполголоса толковали меж собой заговорщики.

— Хорошо, что хоть дождя-то нет...

— Зато ветер какой! Так вот насквозь и пробирает.

Как бы в ответ из-за забора донесся сердитый шелест дерев, а вдоль по переулку пронесся холодный осенний вихрь.

— Сколько же времени ждать его? Верно, опять у Каверина заболтался, — ворчали лицеисты, от холода сбиваясь в кучу.

— Я предложил бы маленькую рекогносцировку, — сказал Пущин, — по крайней мере, выяснили бы, где опасность.

— Кого же послать?

— Да меня пошлите! — молодцевато вызвался Тырков.

— Ори громче! — напустился на него Малиновский. — Тебя послать, так ты наверное опять наглупишь.

— Дайте я пойду, — сказал Пушкин, — я ростом всех вас меньше, и потому легче укроюсь...

— Ты и увертливее всех нас, — добавил Малиновский.

— Да и смысленнее, — заключил Пущин. — Выследи сперва сторожей, а потом посмотри:

нельзя ли открыть нам калитку.

— Хорошо. Не подставит ли мне, господа, кто-нибудь из вас спины?

— На, — сказал Малиновский, самый рослый из наличных заговорщиков, и, упершись ладонями в забор, наклонился. Пушкин едва лишь прикоснулся к его плечам, как вслед за тем товарищи услышали уже легкий прыжок его в сад.

— Благополучно? — спросил тихо Пуцин.

— Благополучно, — был такой же ответ.

Пока оставшиеся под забором выжидали результата рекогносцировки, их лазутчик ощупью, тихомолком пробирался вперед, в непроглядной темноте то запинаясь ногой о заглохшую траву, то натыкаясь на дерево или на куст. Вдруг мелькнул впереди слабый свет, донеслись звуки двух голосов. Пушкин различил в пятнадцати шагах от себя, под нависшим деревом, сложенный из соломы, наподобие копны, низкий шалаш. Озарялся он тлеющими угольями догоравшего костра ровно настолько, что силуэт его выделялся из окружающего мрака. Голоса исходили из шалаша, оттуда торчали также чьи-то ноги, обутые в

лапти. Один голос, отрывистый и грубый, принадлежал, очевидно, пожилому мужику, другой, светлый и звучный, — молодому парню.

"О чем это они говорят? Не подозревают ли чего?" Осторожнее кошки переступая по траве, Пушкин подкрался ближе.

— И вот, братец ты мой, пришло ему расплачиваться за свои тяжкие грехи, — наставническим тоном повествовал старший караульщик. — Скрутили рабу Божьему лопатки, надели наручники, кандалы железные, поволокли в острог. "Да за что же, — говорит он, — господа честные? Помилосердствуйте! Живем мы себе тихо, смиренно и благородно..." Сиди, мол, тут, не гукни, да решения своего дождидай.

— А что, дядя Пахом, много он уж душ христианских загубил? — перебил рассказчика молодой парень.

— В тридцати повинился, а остальным счет потерял.

— Ишь ты! А кровь-то небось вопиет?

— Вопиет.

— Больно мне уж занятно, когда этак но-

чью про разбойников либо домовых да ведьм рассказывают! Жутко, а занятно! Раз бы только, дяденька, такого душегуба увидеть...

— Да нешто ты не видел?

— Когда?

— А Сазонова, дядьку лицейского.

— Ну, разве такие, дяденька, душегубы бывают!

— Рожа самая что ни на есть продувная, разбойничья. Какую тебе еще надо?

— А мне так всегда сдавалось примерно, что у такого глазища в пивной котел, усищи в косую сажень, из ноздрей дым, из ушей пар.

"Вот дурень! — подумал Пушкин. — Ну да они тут до утра прокалякают. Пойти к своим..."

Он повернул обратно. Но за темнотой он не разглядел на земле сухого древесного сучка, который под ногой его вдруг громко хрустнул. Он замер на месте. Караульщики также расслышали предательский звук.

— Слышал, Митька? — спросил дядя Пахом. — Словно бы кто на хворост наступил?

— Это, дяденька, ветер сучок обломил, — отозвался Митька.

— Выдь, посмотри. Как бы воров не прозевать.

Лапти перед сторожкой зашевелились. Пушкину некогда даже было удрать незамеченным. Он мигом растянулся на сырой земле позади шалаша.

— Ни зги не видать, хошь глаз выколи, — говорил над ним парень, вылезший на вольный воздух. — Верно, что ветер. Вона как яблони качает! Слышь, скрипят как?

— Ну ладно, полезай назад.

Пушкин начал опять тихонько приподниматься, но разговор в сторожке невольно заинтересовал и задержал его.

— И что же, дядя Пахом, он из острога-то убег? — спрашивал Митька.

— Убег! — отвечал Пахом. — Да еще каким, братец ты мой, манером!

— Каким?

— Здравствуйте, говорит, господа колоднички, станичники удалые! Не пора ли вам на волюшку! Вестимо, пора, говорят, да как отселева выберешься? Караулы крепкие, решетки железные... Подайте уголек да воды, говорит. Подали. Написал он это на стене,

вишь, угольком лодочку, плеснул водой. Глядь: заправская лодка на волнах качается. Садись, братцы, не зевай! Сели они это в лодочку, ударили в весла и поплыли куда надо!

— Так и ушли?

— Так и поминай как звали. Поди лови их! На Волге, почитай, по сю пору шалют. Чу! Это что же?

Пушкин также насторожился. От забора, где он оставил приятелей, явственно донеслась звонкая соловьиная трель.

"Броглио! — смекнул тотчас Пушкин, потому что молодой граф (как, вероятно, припомнят читатели) у заезжего фокусника перенял искусство свистать соловьем. — Знак мне подают..."

— Ровно соловей щелкнул? — рассуждал между тем в сторожке дядя Пахом. — Время-то осеннее, совсем не соловьиное. Что-то, милый ты мой, неладно.

Соловьиный рокот повторился. Рискую быть услышанным, Пушкин со всех ног бросился вон. Он давеча уже настолько изучил местность, что без особых затруднений достиг забора. Здесь он прислушался: погони не

было.

— Где вы, господа? — тихо окликнул он товарищей.

— Тут, — раздалось вблизи в ответ.

— Мы думали, тебя уж схватили, — заговорил голос атамана, графа Броглио. — Ну что?

— Меня в самом деле чуть было не накрыли; а тут старик стал пересказывать одну волжскую быль, должно быть, про Стеньку Разина. Такая, я вам скажу, прелесть, что сама в поэму просится...

— Так и есть! — прервал, негодуя, Броглио. — Его посылают за делом, а он, вишь, уши развесил, сказочки слушает. Калитку-то хоть отыскал?

— Нет еще.

— Ну вот!

— Сейчас, брат, поищу, успокойся.

Калитка скоро была найдена, и — что еще важнее — она оказалась не на запоре, а на задвижке, так что Пушкин мог тотчас впустить сообщников в заповедный сад.

— Не забудьте, однако, господа, — предупредил он, — что караульщики не дремлют: они слышали тоже, Броглио, твой соловьи-

ный свист...

— А мы, думаешь, дремать станем? — отозвался Броглио. — Я влезу на дерево, потрясу его, а вы знай подбирайте. Но чтобы нас как-нибудь не захватили врасплох, ты, Пушкин, ступай-ка опять на аванпост, покарауль. Только сделай уж милость, не заслушивайся.

Такое напоминание было не лишнее. Когда Пушкин осторожно добрался до «аванпоста», темой ночной беседы дяденьки с племянничком хоть и служили уже волжские разбойники, но все-таки рассказ не менее прежнего соответствовал мрачной ночной обстановке.

— Разрыв-трава, братец ты мой, кочедыжник тож, великую силу в себе имеет, — убежденно ораторствовал старший караульщик. — В стары годы, слышно, лихие люди: разбойники да чародеи, все, что нагрябят, в яму зарывали, над ямой же дверь железная, на двери три замка, а ключи — в воду. Только нашему брату своей силой того клада никоим образом не поднять.

— Почему, дяденька, ежели с молитвой?

— Молитва молитвой, а нечистая сила, что

стережет клад, тоже даром его не уступит. Вот на это-то и есть разрыв-трава, цвет кочедыжника, что землю и замки над кладом разрывает. А цветет кочедыжник, сказывают, всего единожды в год — в Иванову ночь. Ровно в полночь цветочная почка легонько этак треснет, развернется и вспыхнет голубым огонечком, будто зарница. Тут его, значит, и рви. Только рвать-то надо тоже с оглядкой, с заговором.

— С заговором?

— А как же: нечистая-то сила сама подстерегает, как бы сорвать сейчас цвет, как распустится. Лихого человека нечего бояться, потому — все свой брат, как-нибудь сладишь с ним, осилишь; ну, а леший мигом тебя обойдет: аукнуть не успеешь. Так тут без заговора никак невозможно.

— А ты, дядя Пахом, знаешь тоже заговор такой?

— Знать-то знаю...

— Обучи меня!

— Не такое, милый, время, да и не по твоему разуму.

— Ну хошь так скажи, потешь!

Пахом откашлянулся.

— Примерно, я буду сказывать от себя, Пахома, да про Терехин бор куда ходил я тогда за разрыв-травой, — пояснил он и затем начал: — Хожу я, раб Пахом, кругом острова, Терехина бора, по крутым оврагам, буеракам; смотрю я чрез все леса: дуб, березу, осину, липу, клен, ель, жимолость, орешину, по всем сучьям и ветвям, по всем листьям и веткам. А было бы в моей дуброве поживу, подобру, поздорову. А в мою бы зелену дуброву не заходил ни зверь, ни гад, ни лих человек, ни ведьма, ни леший, ни домовой, ни водяной, ни вихрь. А был бы я большой-набольшой, а было бы все у меня во послушании, а был бы я цел и невредим.

— Ишь ты! — подивился Митька. — А разрыв-траву-то ты как добывал?

— Да так, в самую Иванову ночь, незадолго до полуночи, никому не сказавшись, собрался один в тот Терехин бор. Ночь, как бы теперь, темная-растемная, ни звездочки на небе. Как вошел этак в лес — еще будто темней да страшней; деревья кругом ровно шепчутся над тобой. Иду вперед потихонечку; у самого

сердце-то, слышно, екает. Вдруг это меж кустов голубой огонек, слабый и махонький, вспыхнул и запрыгал.

— Запрыгал?

— Да, запрыгал с кочки на кочку, то вспыхнет, то потухнет, будто за собой манит. А тут еще кто-то рядом завыл, да так протяжно, жалобно — не то как сова, не то как волк... Сердце в груди индо захолонуло; волосья на голове поднялись.

— Испужался?

— Испужаешься!

— А я бы, дяденька, нет! Я бы...

— Кто? Ты-то?

— Я! Это что ж опять?.. — спросил храбрый Митька вдруг изменившимся тоном.

Пушкин, слушая их, вместе с тем не переставал все время прислушиваться и в сторону своих сообщников. Хотя порывистый осенний ветер то и дело шумел и гудел в окружающих яблонях, но одно какое-то дерево в отдалении по временам сотрясалось от корней до последней ветки, как от сильной бури, и вслед за тем наземь слышно сыпался яблочный град, сопровождаемый сдержанными

криками и смехом.

— Ой, прямо в спину!

— А мне в физию!

— Вольно же подставляять!

Крики-то эти, должно быть, и достигли слуха караульщиков.

— Никак грабят? — смекнул дядя Пахом. — Вылезай-ка живо, глянь.

— Батюшка угодник, выручи! — бормотал Митька. — Может, леший пошучивает...

— Да есть на тебе крест?

— Есть.

— Так никакой леший тебя пальцем не тронет. Ну да пусти меня вперед, что ли.

— Спасайтесь, братцы! — успел только крикнуть своим Пушкин, как на него с дубиной нагрязнул уже Пахом.

— Один попался! Не уйдешь, брат... — говорил мужик-геркулес, сгребая своими жилистыми, словно медвежьими, лапами нашего тоненького лицеиста, как цыпленка, в охапку. — На, Митька, держи его... Вишь, мелюзга какая, а туда же — воровать! Мне бы других не упустить...

Митька оказался на деле также корена-

стым и крепким малым. Но, уступая ему в мышечной силе, Пушкин был несравненно ловче его. Плотно схватившись, они, как два опытных кулачных бойца, водили друг друга взад и вперед по площадке позади сторожки. Неизвестно, кто бы кого еще одолел, но тут долетел до них сдавленный вопль Пахома: "Митька, выручай!" — и Митька, насильно оттолкнув от себя Пушкина, бросился в потемках на выручку дяди. Пушкин не замедлил, разумеется, последовать за ним и поспел как раз вовремя, чтобы в свою очередь выручить одного из товарищей, с которым уже сцепился Митька. Но как храбро ни отбивался последний, как он ни брыкался, а был-таки уложен наземь рядом с дядей Пахомом, которого должны были держать остальные три лица-ста.

— Не замай! — ворчал Пахом. — Навалили все разом, черти...

— Так ты, стало быть, признаешь, что наша взяла? — спросил его атаман Броглио.

— Вестимо... чего уж тут... все бока намяли...

— Не троньте их, господа! Они ведь толь-

ко свой долг исполняли. Но слушайте вы оба, — повелительно обратился атаман к двум пленным. — Вы не тронетесь с места, куда мы не будем за забором. Понимаете?

— Понимаем, барин, понимаем...

— А мы на всякий случай заберем ваши дубины с собой. За забором найдете их. Это — раз. Второе: отнюдь не приносить никому жалобы.

— Уж этого, ваша милость, как вам угодно-с, не обещаем, — возразил Пахом. — Сучья-то на дереве, чай, все переломали, яблоки все порастрясли, а нам за то быть в ответе!

— Это верно, Броглио, — заметил Пущин, — за что же им и нравственно еще отвечать?

— Не мешайся, пожалуйста, не в свое дело! — коротко отрезал Броглио. — Вы выбрали меня, господа, атаманом — и извольте слушаться. Жалуйтесь, братцы, коли хотите, — отнесся он опять к караульщикам, — но предупреждаю вас: если с нас за это взыщут, то и вашим бокам несдобровать. Так и зарубите себе на носу. А теперь, господа, стройся! Налово кругом, марш!

Так блистательно окончилась знаменитая в летописях лица "яблочная экспедиция". Остается только прибавить, что хотя Пушкин и не имел случая поживиться военной добычей — наливными яблоками, зато верный друг его Пущин братски поделился с ним своей долей.

Побежденные, однако, не убоялись сделанной им победителями угрозы. В следующее же утро Броглио был вызван на квартиру директора. Здесь его попросили в кабинет.

Перед Энгельгардтом, сидевшим в кресле за письменным столом, стояли два мужика: старик и молодой парень. Хотя накануне за темнотою Броглио и не разглядел своих двух противников, но теперь сразу понял, что это они.

— Стойте там, погодите, — сказал ему Егор Антонович, вполоборота делая ему знак рукой. — Ну, и потом что же, друг мой?

— Потом-с... — откашлянувшись, начал дядя Пахом и бросил исподлобья испытующий, сумрачный взгляд на молодого графа. — Начал я их только этак дубасить, как с яблони-то, ровно леший, прыг мне на шею четвер-

тый! Ошалел я; так под сердце у меня и подка-
тило... А он меня кулаком по башке еще здо-
рово хлясь!..

— Ну хорошо, — с оттенком уже нетерпе-
ния перебил слишком обстоятельного рас-
сказчика Энгельгардт. — Они вас обоих осил-
лили?

— Как же, ваше превосходительство, не
осилить, сами посудите...

— Хорошо. И чем же они кончили?

— Да кончили тем, что слово с нас взяли
не вставать, доколе не выберутся, мол, из са-
ду; а напоследок еще пообещали: коли жа-
литься станем — бока нам намять.

Егор Антонович обернулся к Броглио.

— Подойдите сюда, граф.

Слегка прихрамывая, тот подошел к столу.
Директор взглянул на его ногу и спросил
только:

— Вы узнаете, конечно, этих людей? Что
вы скажете?

Броглио искоса окинул жалобщиков над-
менным взглядом и затем с холодной вежли-
востью ответил:

— Я не слышал начала, Егор Антоныч, и

потому не понимаю даже вашего вопроса.

— Он! Он самый! — злорадно вскричал тут дядя Пахом.

— Он! Он! — как эхо загорланил за ним Митька.

— Какой он? — спросил Энгельгардт.

— Да атаман их, ваше превосходительство, — отвечал Пахом. — По голосу сейчас признал. Сам себя атаманом называл; да он же и мне тогда чертом на шею вскочил. Ну, сударь, кулаки же у тебя! Что наши мужицкие... Да не ты ли, батюшка, и соловьем-то щелкал?

— Я полагаю, граф, что вы не станете теперь напрасно отпираться? — заговорил Энгельгардт по-французски. — Вас узнали по голосу и по соловьиному свисту; вы и в играх с товарищами всегда бываете атаманом; вы со вчерашнего дня храмлете; вы вчера отлучались в город; ваш мундир, наконец, только что чинится портным Малыгиным, потому что на нем с вечера почему-то лопнуло несколько швов. Видите, сколько явных улик; довольно, я думаю, с вас?

— Вполне, — с поклоном отвечал граф-ата-

ман. — Но далее, пожалуйста, не допрашивайте: сообщников своих я все равно не выдам.

— Я и не требую. В городе вас было вчера 9 человек. Все девятеро в течение недели не сделают ни шагу из стен лица.

— Но нас было менее, Егор Антоныч.

— Я не прошу вас выдавать, сколько вас всех было; вы сами расквитаетесь меж собой. Вас же, граф, я попрошу спуститься на время в карцер. Я полагаю, что вы не найдете наказание слишком строгим?

Графу оставалось только опять учтиво шаркнуть.

— С своей стороны я постараюсь по возможности выгородить вас перед его величеством, которому Лямин, без сомнения, донесет о вашем подвиге, — продолжал Энгельгардт. — Но надеюсь, граф, что это был последний ваш подвиг в этом роде?

Броглио тщетно старался не выказать директору, как его смутила снисходительность последнего.

— Вы, вероятно, не ошибетесь... — пробормотал он, бегая глазами по сторонам.

— С виновных будет взыскано по вине

их, — обратился Егор Антонович по-русски к караульщикам. — Вам же, любезные, лучше по-христиански простить им их обиду; а чтобы легче было забыть вам, так вот, возьмите от меня...

С этими словами, выдвинув ящик стола, он подал каждому по ассигнации. Когда те, бормоча слова благодарности, с поклонами выбрались вон, Броглио поспешил вслед за ними в прихожую.

— Погодите, братцы! — остановил он их и, достав из кармана изящный бисерный кошелек, вручил каждому еще по новенькому серебряному рублю. — Вот, выпейте за мое здоровье и не поминайте лихом.

Оба поклонились ему в пояс так низко, как не кланялись перед тем и директору.

— Покорнейше благодарим вашу милость! Добром только вспомянем.

Слух о "яблочной экспедиции", как верно предугадал Энгельгардт, действительно дошел до императора Александра Павловича. Но Энгельгардт на докладе сумел осветить дело с двух самых выгодных сторон: с одной стороны — как простую ребяческую продел-

ку; с другой — как первую военную вылазку будущих воинов; а в заключение уверил, что виновные понесли уже заслуженную кару. Государь улыбнулся и оставил виновных без дальнейших взысканий.

Глава XXIV

Последние подвиги

*...Эх, Дон Жуан,
Досадно, право. Вечные проказы!
А все не виноват...
"Каменный гость"*

Так "яблочная экспедиция" втянула Пушкина снова в «гусарскую» полосу, и из-под пера у него стали выходить чересчур уж игривые куплеты, которые не одобрялись даже большинством его товарищей. Однажды, выслушав от него подобное «гусарское» стихотворение, князь Горчаков отвел поэта в сторону и дружески заметил ему, что такая поэзия, право, недостойна его прекрасного таланта. Пушкин надулся, будто рассердился, но потом тех стихов уже никому не показывал и, вообще, сделался на некоторое время осмотрительнее в выборе сюжетов.

Но благоразумия его хватило ненадолго; лихое «гусарство» взяло верх, и вскоре пришлось ему посчитаться с самими гусарами. Вращаясь теперь постоянно в их кругу, он,

при своей тонкой наблюдательности, живо подметил слабости всякого из них, и вот в один прекрасный день в Царском Селе стала ходить по рукам стихотворная "Молитва лейб-гусарских офицеров". Хотя автор и не выставил под ней своего имени, но имя его передавалось устно вместе с пасквилем, и чем громче хохотали в городе над двумя-тремя офицерами, которым в нем более других досталось, тем ближе принимали к сердцу обиду оскорбленные. Один из них, Пашков, который попал в куплет за свой несоразмерно крупный нос, до того рассвирепел, что поклялся при первой же встрече до полусмерти избить "зубоскала"-лицеиста. На счастье свое, Пушкин в тех же стихах похвалил другого гусара, графа Завадовского, за его щедрость, и тот, польщенный, вдруг объявил, что стихи сочинены им, Завадовским.

— Тем хуже для вас, сударь! — накинулся на товарища Пашков. — С вами мы будем драться на жизнь и смерть.

— Я к вашим услугам, — холодно отвечал Завадовский, и ссора их не обошлась бы просто, если бы в дело не вступился командир

гвардейского корпуса Васильчиков. Созвав к себе всех офицеров полка, он стал усовещивать двух противников и в конце концов кое-как успел примирить их между собою.

Гусар-повеса Каверин был также в числе серьезно обиженных и простил Пушкину не ранее, как получив от него стихотворное покаяние, начинающееся так:

*Забудь, любезный мой Каверин,
Минутной резвости нескромные
стихи;
Люблю я первый, будь уверен,
Твои счастливые грехи...*

Естественно, что между нашим поэтом и друзьями его, гусарами, произошло временное охлаждение. Тем усерднее начал Пушкин посещать теперь два знакомых семейных дома в Царском: учителя музыки и пения в лице барона Теппера де Фергюсона и коменданта города графа Ожаровского. У первого каждый вечер собиралось к чаю общество любителей музыки и пения, а по воскресеньям и праздничным дням устраивались литературные беседы. Беседы эти заключались в чтении чужих и своих произведений и в со-

чинении экспромтом стихов на заданные темы. Нечего, кажется, говорить, что первое место между состязателями на этом поле принадлежало Пушкину. Из таких «экспромтных» стихотворений его сохранились два: французское и русское. Во французском каждый куплет заканчивался припевом: "jusqu'au plaisir de nous revoir", в русском — служила этим припевом любимая фраза одного из гостей Теппера: "с позволения сказать".

У графа Ожаровского Пушкин сталкивался и с некоторыми из лицейских профессоров. В числе их был также профессор русской словесности Кошанский, который, благодаря своей привлекательной внешности, своим изящным манерам, а еще более благодаря своей начитанности и искусной диалектике, играл в доме первенствующую роль. И что же? Онто, мнение которого в литературных вопросах принималось здесь всеми как непреложный закон, — он оказался завзятым приверженцем «старого» слога и тем недоверчивее относился к стихам Пушкина, чем они были глаже.

— Гладко-с, что говорить, — отзывался он,

пожимая плечами, — только ведь где гладко, там и раскатишься, поскользнешься, особенно коли еще многословием разбавлено, водичей полито.

Ответом на эти незаслуженные придирки было послание нашего поэта "Моему Аристарху".[53] Перебелив стихи, Пушкин сам преподнес их профессору.

— Вот, Николай Федорыч, взгляните, пожалуйста: подражание греческому. Узнаете ли вы автора?

Кошанский отличался большим присутствием духа. На минуту только между бровями его показалась легкая складка. Прочитав стихи до конца, он так пристально взглянул в глаза юному автору, что тот должен был отвести взор.

— Греческий оригинал мне неизвестен, но русский автор хорошо знаком, — начал профессор. — Версификация ваша хоть куда; стихи и остроумны, и звучны; но с тем вместе в них все прежний недостаток: и по содержанию, и по форме они не в меру легковесны. Вы укоряете "вашего Аристарха" в ученой черствости:

*Не нужны мне, поверь, уроки
Твоей учености сухой.
Я знаю сам свои пороки... —
а сами же вслед за тем признае-
те:*

*Конечно, беден гений мой:
За рифмой часто холостой,
Назло законам сочетанья,
Бегут трестопные толпой
На аю, ает и на ой.*

*Еще немногие признанья:
Я ставлю (кто же без греха?)
Для рифм и меры восклицанья,
Для смысла лишних три стиха;
Нехорошо, но оправданья
Позволь мне скромно принести.
Мои летучие посланья
В потомстве будут ли цвести?*

Именно, «нехорошо», ибо вам, при вашем даровании, надо тцтиться о том, чтобы они "цвели в потомстве". За одно люблю вас, Пушкин, — за вашу прямоту; как откровенно вы вручили мне сие послание, так же откровенно сознаетесь, что спустя рукава слагаете свои вирши:

Не думай, цензор мой угрюмый,

*Что, ленью жертвуя стихам,
Объятый стихотворной думой,
Встаю... беснуюсь по ночам;
Что, засветив свою лампаду,
Едва дыша, нахмуря взор,
Сижусь, сижусь три ночи сряду
И высижусь — трестопный вздор...*

Стихи вам даются, очевидно, легче, чем всякому другому, но и поэзия — дело, которое мастера боится; таинство, к которому надо приступать осмотрительно и сознательно. А вы, любезнейший, как занимаетесь ею?

*Уж утра яркое светило
Поля и рощи озарило;
Давно пропели петухи;
Вполглаза дремля — и зевая,
Шапеля в песнях призывая,
Пишу короткие стихи,
Среди приятного забвенья
Склонясь в подушку головой,
И в простоте, без украшенья,
Мои слагаю извиненья
Немного сонною рукой.*

Ну, согласитесь, порядок ли это для записного поэта? Оттого вы, при всем таланте, ничего путного до сей поры не написали.

— Лень, Николай Федорыч, раньше нас родилась! — старался отшутиться Пушкин, которого доброжелательный тон профессора поневоле обезоружил.

— Надеюсь, что время вас от нее наконец излечит, — со вздохом сказал Кошанский. — За послание ваше во всяком случае благодарю и буквально сделаю то, что вы прописываете "вашему Аристарху":

*А ты, мой скучный проповедник,
Умерь ученый вкуса гнев!
Поди кричи, брани другого
И брось ленивца молодого,
Об нем тихонько пожалев.*

Неуместная «гусарская» развязность со старшими прорывалась у Пушкина в общении даже с такими людьми, которых он сам ставил неизмеримо выше себя, как, например, с Карамзиным. Знаменитый историкограф лето 1817 года проводил также на даче в Царском. В середине мая месяца уже перебрался он с семейством в тот самый китайский домик в императорском парке, который занимал предшествовавшее лето. Первые шесть томов своей "Истории государства Рос-

сийского" он напечатал, для скорости, одновременно в нескольких столичных типографиях, и в Царское то и дело высылались к нему корректуры, над которыми он просиживал ежедневно целые часы. Неудивительно, что живой и остроумный поэт-лицеист, отвлекавший его от этой скучной работы, был для него всегда милым гостем. Встречая со стороны Карамзина самый радушный прием, Пушкин стал держать себя с ним также чересчур уж просто.

Раз дело чуть было не дошло до разрыва между ними. Карамзин охотно излагал внимательному молодому слушателю свои воззрения на исторические факты, причем, увлекаясь темой, иногда, как говорится, "хватал через край". Так, защищая Бориса Годунова, закрепившего крестьян к земле, он стал доказывать все преимущества крепостного права.

— Итак, вы рабство предпочитаете свободе! — перебил Пушкин.

"Карамзин вспыхнул и назвал меня своим клеветником (рассказывает об этом случае в своих «Записках» сам Пушкин). Я замолчал, уважая самый гнев прекрасной души. Разго-

вор переменялся. Я встал. Карамзину стало совестно, и, прощаясь со мной, он ласково упрекал меня, как бы сам извиняясь в своей горячности:

— Вы сказали на меня то, чего ни Шаховской, ни Кутузов на меня не говорили..."

Все подобные выходки сходили Пушкину благополучно. Но одна проделка его, сама по себе, пожалуй, также довольно невинная, едва не обошлась ему слишком дорого: накануне выпуска из лицея он был на волоске от исключения оттуда. Дело было так.

В числе фрейлин императрицы Елизаветы Алексеевны состояла некая княжна Волконская. Сама княжна была уже старушка, но при ней была молоденькая горничная Наташа, и та была так миловидна, что скоро обратила на себя внимание лицеистов. При случайных встречах с нею они любезно кивали ей головой; Пушкин же сложил в честь ее даже стихи.

Отправляясь по вечерам на музыку у дворцовой гауптвахты, молодежь должна была проходить туда через дворец длиннейшим темным коридором, куда выходили и комна-

ты фрейлин. Раз Пушкин как-то позаmeshкался и не поспел вместе с другими. Попарно, шумной вереницей двигалась лицейская братия вокруг полкового оркестра перед дворцом, между пестрой толпой горожан. Пушин, заключавший шествие, оглядывался по сторонам: не идет ли наконец его пара, Пушкин. Вдруг кто-то сзади крепко схватил его под руку. Он обернулся и невольно отступил.

— Что с тобой, Пушкин?

Тот был красен, как вареный рак, тяжело переводил дух и отирал лоб платком.

— Ч-ш-ш-ш! — сказал Пушкин с натянутым смехом. — Вот, брат, влопался-то!.. Преглупая история...

— Опять? В который раз!

— Да видишь ли... Уф! Дай отдышаться... Прохожу я этим проклятым коридором, чтобы нагнать вас. Темь, как знаешь, непроглядная, ни зги не видать. Тут, около самых дверей княжны Волконской, слышу: шелестит женское платье. Почему-то мне вообразилось, что это Наташа...

— И ты отпустил ей непрошеную любезность?

— Н-да; то есть меня точно бес какой толкнул поцеловать ее...

— Хорош мальчик! Ну и что же, то была вовсе не Наташа?

— То-то что нет! Как заорет вдруг благим матом! Дверь настезь, коридор осветился, и кого же я увидел перед собой? Саму старуху княжну!

Пуцин расхохотался.

— Поздравляю, милый мой! Жаль, что я не мог видеть тогда твоей рожи!

— Тебе-то хорошо смеяться, а мне-то как-во?

— Поделом вору и мука. А княжна тебя узнала?

— Кажется, что да: "А! — говорит, — это вы!"

— Но ты сейчас, как следует, извинился?

— До того ли мне, скажи, было? Я совсем голову потерял — и давай Бог ноги!

— А еще хочешь быть военным человеком! Но так ли, сяк ли, тебе придется повиниться. Ведь она, не забудь, фрейлина императрицы...

— Я и то думал скрепя сердце написать ей

извинительное письмо...

— А как она покажет его самой государыне? С огнем, брат, шутить тоже нельзя. Мигом забреют лоб — и на Кавказ.

— Так что же делать?

— Я на твоём месте пошел бы прежде всего к Энгельгардту...

— Ни за что! — запальчиво вскинулся Пушкин.

— Я, признаться, друг мой, все еще тебя хорошенько не раскусил, хотя в шесть лет мы с тобой более десяти пудов соли съели. Что у тебя, скажи, было с Егором Антонычем?

— Ничего не было...

— Так ли? Отчего же ты не бываешь у него? Отчего он давно что-то не приглашает тебя к себе? Он не только милейший хозяин, но и прекраснейший во всех отношениях человек...

— Ну уж на этот счет позволь мне иметь мое личное мнение?

— Ага! Так, значит, между вами все-таки пробежала черная кошка?

— Как будто без того я не мог составить себе о нем определенное мнение!

— Определенное, но не дурное. И знаешь ли, Пушкин, мне сдается, что ты сердит на него не за то, что он тебя чем-нибудь обидел — Энгельгардт, кажется, на это не способен, а за то, что ты сам нанес ему какую-нибудь незаслуженную обиду.

Пушкин опять неестественно рассмеялся.

— Вот на! Я его обидел, да я же сердит на него?

— Да, братец ты мой, такова уж натура человеческая. Чем более мы благодетельствуем ближнему, тем он делается нам дороже, точно мы добром своим купили, закрепили его себе; и наоборот: чем несправедливее мы были к нему, тем сильнее потом чувствуем к нему антипатию, тем более отворачиваемся от него. С первого взгляда это, пожалуй, странно, а в сущности очень просто: мы стыдимся в душе своей собственной вины и не можем простить своего стыда тому, кто был его первой причиной...

— Ну, зафилософствовался!

Ходивший впереди них Илличевский подхватил последнее слово и обернулся.

— А о чем вы философствуете, господа?

— Молчи! — шепнул другу своему Пушкин.

Ни тому, ни другому и без того не пришлось уже отвечать: подбежавший к ним в это время лицейский сторож впопыхах принес Пушкину приказание директора "тотчас пожаловать к его превосходительству". Друзья переглянулись.

— Однако, живо! — заметил Пуцин. — Смотри же, брат, сделай так, как я тебе говорил.

Пушкин покачал только отрицательно головой, повернулся — и исчез в толпе.

— Что с ним? — спросил Илличевский у Пуцина. — Сперва он вдруг побледнел, потом покраснел.

— Скоро и так узнаешь, — уклонился тот от прямого ответа.

Между тем Пушкин входил в кабинет директора. Не в первый раз входил он туда с бьющимся сердцем, но теперь оно билось едва ли не тревожнее, чем когда-либо прежде. Энгельгардт принял его стоя, опершись рукой на стол; лицо его было омрачено печалью и заботой.

— Расскажите, как было дело? — были пер-

вые слова его.

"Какое дело?" — хотел было спросить Пушкин, чтобы отдалить хоть на минуту тягостное объяснение; но, встретив устремленный на него строгий взгляд директора, переменил намерение и откровенно рассказал несложное дело.

— Так это, стало быть, была обыкновенная шалость? — спросил заметно смягченный его признанием Энгельгардт.

— Самая обыкновенная, Егор Антоныч! — горячо подхватил Пушкин, и на ресницах у него блеснули слезы. — Знай я только, что это не Наташа, а старая княжна...

— То вы оставили бы ее в покое? — досказал Энгельгардт, и на губах его промелькнула даже улыбка. — Охотно верю, мой милый. Но, как бы то ни было, дело может принять очень дурной для вас оборот. Князь Волконский, брат княжны, принес мне только что жалобу на вас. Завтра, нет сомнения, о вашем поступке узнает весь двор, а следовательно, и государь...

— Ну что ж! — в внезапном порыве упрямства вскричал Пушкин. — Солдаты — такие

же люди, как и мы. Об одном только прошу вас, Егор Антоныч: настойте на том, чтобы меня отдали в гусары...

— Чтобы ты там совсем сбился с пути? Нет, мой друг, пока ты у меня в лицее, я постою за тебя. Что от меня зависит — будет сделано, чтобы выгородить тебя. Но и сам ты должен кое-что сделать. Если порядочный человек, хотя бы и против своего желания, оскорбил даму, то какая его первая обязанность?

— Извиниться, понятно... Да я, Егор Антоныч, и так уже думал написать письмо княжне...

— И напиши, непременно напиши. За остальное я отвечаю.

На следующее утро Энгельгардт ожидал обычного часа прогулки императора Александра Павловича, чтобы застать его в парке. Но когда он только что собирался спуститься в сад, сам государь неожиданно зашел к нему.

— Мне надо поговорить с тобой, Энгельгардт, об этом Пушкине, — с необычно серьезностью начал государь. — Что ж это, скажи наконец, будет? Лицеисты твои не только снимают у меня через забор мои наливные

яблоки, избивают сторожей моего садовника, но не дают прохода и фрейлинам жены моей...

— Ваше величество предупредили меня, — отвечал Энгельгардт, — я сам искал случая принести вам повинную за Пушкина. Он, бедный, в отчаянье приходил за моим позволением письменно просить княжну, чтобы она отпустила ему его неумышленное прегрешение...

Затем Энгельгардт в самом выгодном для Пушкина свете представил весь эпизод.

— Само собой разумеется, что я сделал ему строжайший выговор, — закончил он свой доклад, — и молю вас, государь, об одном — разрешить ему письменно повиниться перед княжной.

Узнав подробности дела, император Александр Павлович уже смилостивился.

— Пусть пишет, — сказал он, — я, так и быть, беру на себя адвокатство за Пушкина. Но скажи ему, слышишь, что это в последний раз! Между нами сказать, — с тонкой улыбкой прибавил государь вполголоса по-французски, — наша почтенная княжна, может

быть, и вовсе не так сердита на молодого человека. До свиданья, однако: жена, вон видишь, ждет меня.

Проходившая по саду мимо лица императрица Елизавета Алексеевна, в самом деле, только что оглядывалась на окна Энгельгардта. Пожав наскоро последнему руку, государь поспешил спуститься в сад.

Так пронеслась последняя гроза, надвинувшаяся над Пушкиным-лицеистом. Что благоприятный исход ее был заслугой прежде всего Энгельгардта — этого, конечно, не мог отрицать в глубине души и Пушкин. Тем не менее в лице он не имел еще достаточно мужества признать открыто, что он заблуждался в Энгельгардте. Напротив, когда Пущин стал доказывать ему, как благородно вел себя Энгельгардт во всем этом деле, Пушкин с каким-то ожесточением возражал, что Энгельгардт, защищая его, защищал самого себя.

"Много мы спорили (рассказывает по этому поводу в своих «Записках» Пущин). Для меня осталось неразрешенною загадкой, почему все знаки внимания директора и жены его отвергались Пушкиным: он никак не хо-

тел видеть его в настоящем свете, избегая всякого сближения с ним. Эта несправедливость Пушкина к Энгельгардту, которого я душой любил, сильно меня волновала. Тут крылось что-нибудь, чего он никак не хотел мне сказать; наконец, я перестал и настаивать, предоставляя все времени. Оно одно может разумить в таком непонятном упорстве".

Для нас, потомков, перед которыми внутренний мир юноши Пушкина лежит открытой книгой, такое крайнее упорство его не представляется уже неразрешимой загадкой: оно объясняется как его гордым и строптивым нравом, так и теми келейными, щекотливого свойства разговорами его с Энгельгардтом, о которых он тогда умолчал даже перед своим первым другом.

Глава XXV

Выпуск из лицея

*Бог с тобою, золотая рыбка!
Ступай себе в синее море,
Гуляй там себе на просторе.
"Сказка о рыбаке и рыбке"*

Весь старший класс лицеистов был в неописанном волнении. Шестилетний срок пребывания их в лицее истекал только в октябре 1817 года, когда им предстоял и выпускной экзамен, как вдруг им объявляют, что выпуск их состоится почти на полгода ранее, теперь же весной!

— Да как? Да что? Да почему? — так и сыпались вопросы.

Догадкам и слухам не было конца. Одна догадка казалась всех правдоподобнее, один слух держался упорнее других: утверждали, что последний «гусарский» подвиг Пушкина понудил лицейское начальство поскорее развязаться с чересчур удалым старшим курсом.

Как бы то ни было, выпускной экзамен был на носу, и даже у самых удалых перво-

курсников сердце поневоле заекло. За год с небольшим директорства Энгельгардта они не успели, конечно, пополнить хорошенько те научные пробелы, которые оставило в головах их двухлетнее междуцарствие. Что же касается Пушкина, то он и при Энгельгардте не отличался особенным прилежанием. Удовлетворительные отметки были у него только по двум предметам: русскому и французскому языкам. До 1816 года профессора вели подробные ведомости о способностях и успехах в отдельности каждого воспитанника; Энгельгардт же, вместо того, завел обыкновенную балльную систему, а именно: цифра 1 означала отличные успехи, 2 — очень хорошие, 3 — хорошие, 4 — посредственные и 0 — худые. У Пушкина только за российскую поэзию и французскую риторику стоял высший балл — 1; по всем остальным предметам у него было по 4, а в военных науках и латинском языке 0. Очень может быть, что такая неуспешность в военных науках (требовавших специальных математических познаний, которых у Пушкина не было) охладила его также к намеченной было военной карье-

ре.

Профессора, со своей стороны, не желая ронять сразу репутацию нового заведения, дали и на этот раз склонить себя просьбами лицеистов и допустили при выпускных испытаниях ту же льготную систему, которая так облегчила молодежи в 1815 году переход из младшего в старший курс. Почин сделал профессор математики Карцов, у которого действительно занимался и успевал один только Вальховский. Раздав вперед каждому воспитаннику по билету, он взял с них слово, что свой-то билет хоть каждый «выдолбит» как следует.

"Подобно, как в математике (рассказывает в своих воспоминаниях один из лицеистов, барон Корф), и по большей части других предметов сделана была между воспитанниками разверстка определенных ролей, и дурные ответы являлись только тогда, когда который-либо из профессоров сбивался в своем расписании, или какой-нибудь ленивый ученик не хотел или не умел затвердить даже последнего в своей жизни урока. Посетители же могли только невежественно поклоняться бездне нашей премудрости или сами, как на-

ши профессора, состояли участниками в заговоре".

Испытания продолжались целых 15 дней, и уже по этой простой причине на них не было никого из родителей, как не живших в самом Царском Селе. Присутствовали профессора да еще кое-кто из постоянных местных жителей, интересовавшихся успехами того или другого из знакомых им молодых людей. Энгельгардт, если что-нибудь и знал, быть может, о тайном соглашении учащих и учащихся, то должен был смотреть на то сквозь пальцы. Насколько же он заботился о будущности каждого из воспитанников, им стало известно вслед за последним экзаменом, когда директор вместе с профессорами заперся в конференц-зале, чтобы составить список выпускных лицейстов по их успехам и определить их права на государственную службу.

Лицейские поэты в то же самое время замкнулись в классной комнате, чтобы по поводу того же списка в последний раз сообща сочинить новую "национальную песню". Сочинительство их было вскоре прервано громким стуком в дверь.

— Ну, кто там? — с неудовольствием крикнул Илличевский.

— Впустите, что ли! — раздался в ответ зычный голос графа Броглио.

— Чего тебе, Сильверий? Мы тут сочиняем...

— Да ну вас, сочинителей! — донесся теперь другой голос — Мясоедова. — На прощанье поиграть бы еще в казаки-разбойники...

— Играйте без нас...

— Да казаков у нас не хватает.

— А вы сами по натуре все разбойники?

— Да, постоим за себя!

— Ведь силой вломимся! — задорно отозвался опять граф Броглио, и крепкая дубовая дверь под напором его богатырского плеча, действительно, так затрещала, что казалось, сейчас слетит с петель.

— И то ведь разбойник... — проворчал Илличевский и нехотя пошел впустить нетерпеливых.

— Неблагодарные! Не чаете, что вас самих только что воспели.

— Ой ли? — сказал Броглио.

— А вот послушай. Ну-ка, Корф, ты наш

дьячок, так запевай.

Барон Корф, лицейский запевала, не дал долго упрашивать себя и звонко затянул:

— Этот список суши бредни -

Кто тут первый, кто последний...

Хор товарищей не замедлил грянуть припев:

— Все нули, все нули,

Ай люли, люли, люли!

— Лихо! Ей-Богу, молодцы! — похвалили Броглио и Мясоедов. — Валяй дальше.

— Покровительством Минервы

Пусть Вальховский будет первый...[54] —

начал снова «дьячок» Корф.

*— Мы ж нули, мы нули,
Ай люли, люли, люли! —*

подхватили теперь вместе с хором также и двое слушателей. Увлечение их, понятно, еще более возросло, когда оба они попали в куплеты:

*Поль протекцией бояров
Будет юнкером гусаров —
Мы ж нули, мы нули,*

Ай люли, люли, люли!

*Графу нет большой заботы,
Будь хоть юнкер он пехоты —
Мы ж нули, мы нули,
Ай люли, люли, люли!*

(Подем запросто назывался товарищами Павел Мясоедов, *графом* — Броглио.) Распевая куплет на самих себя, оба сияли таким самоудовольствием, точно им Бог знает какие подарки поднесли.

— А про себя самого ты что ж ни гуту? — спросил Броглио Корфа.

— Будет и про меня, — отвечал тот и затащил тотчас: -

*Корф — дьячок у нас исправный
И сиделец в классах славный —
Мы ж нули, мы нули,
Ай люли, люли, люли! —*

Ну, а теперь, господа, будет с вас: хорошего понемножку, — заключил он.

— Повеличаем только еще Дельвига, — сказал Пушкин: -

*Дельвиг мыслит: на досуге
Можно спать и в Кременчуге —*

*Мы ж нули, мы нули,
Ай люли, люли, люли!*

(В Кременчуге, Полтавской губернии, стояла бригада, которою командовал отец Дельвига.)

Куплет на Дельвига не был еще допет, как в комнату к певцам, в полуоткрытую дверь, заглянул профессор Куницын.

— Вы, господа, чересчур уж что-то про нули свои распелись, — заметил он.

— Ах, Александр Петрович! — в один голос вскричали лицеисты и гурьбой обступили любимого профессора. — Конференция, верно, кончилась?

— Кончилась.

— Так что же: много нулей?

— Все узнаете в свое время. Одно могу сказать вам: что никого из вас слишком не обидели.

— Так что и кроме Вальховского кое-кто из нас попадет еще в гвардию? — спросил Пущин.

— Вас-то, Пущин, кажется, можно поздравить: вы будете выпущены в гвардию.

— Не тужи, любезный *Пущин*:

Будешь в гвардию ты пущен! -
подхватил, смеясь, Илличевский. — Вот и
новый куплет готов!

— А знаете ли, господа, кто вас более всех
отстаивал?

— Вероятно, вы, Александр Петрович.

— Нет, мой слабый голос был бы гласом во-
пиющего в пустыне, — скромно отозвался Ку-
ницын. — Отстаивал, отбивал вас от всех на-
падок ваш почтенный директор. Трое же из
вас: вы, Пущин, вы, Пушкин, да вы, Малинов-
ский, должны ему, как отцу родному, просто в
ножки поклониться.

— За что это?

— А вот за что. Помните, что года полтора
назад за ваш гоголь-моголь вас троих занесли
в черную книгу; или забыли?

— Нет...

— Ну, так в книге той прямо сказано, что
ваш милый поступок должен быть принят в
соображение при выпуске вашем из лица.
Но Егор Антоныч горячо восстал против это-
го и убедил нас, что за старые грехи грешно
взыскивать: кто старое вспомянет, тому глаз
вон.

— И что же: черная книга сдана в архив?

— В архив!

— Ай да Егор Антоныч! Молодец! — вскричал Броглио. — Теперь, господа поэты, вам ничего не остается, как и его воспеть.

— Обязательно!

— Не хочу вам мешать, господа, — сказал, улыбнувшись, Куницын и вышел вон.

Куплет во славу Энгельгардта, действительно, был сложен, хотя нельзя сказать, чтобы он особенно удался:

*Пусть о них[55] заводят споры
С Энгельгардтом профессо ры —
И они те ж нули,
Ай люли, люли, люли![56]*

Новая "национальная песня" в литературном отношении оставляла желать многого уже потому, что в сочинении ее принимало участие слишком много лиц. Тем удачнее были альбомные стихи, которые должны были писать теперь друг другу на прощанье лицейские стихотворцы. Само собою разумеется, что к Пушкину приставали более, чем к другим, и, удовлетворив двоих, Пущина и Илличевского, он от остальных отделался уже од-

ним общим посланием: "К товарищам перед выпуском". Директор со своей стороны предлагал ему написать прощальный гимн для акта, на котором должен был присутствовать и государь. Пушкин сначала было обещался написать, но затем все не мог собраться исполнить обещание, так что Энгельгардт нарочно зашел к нему в камеру.

— Ну что же, Пушкин? — спросил он. — Гимн твой еще не готов?

— И не начат! — был ответ.

— Экой ты! Когда же ты, наконец, примешься за него?

— Ей-Богу, не знаю, Егор Антоныч. Заказных стихов, поверите ли, такая масса... И то едва развязался с товарищами...

— Кстати! — сказал Энгельгардт. — Хорошо, что напомнил. Я имел случай прочесть твои стихи к товарищам. У тебя, конечно, есть еще собственноручный список с этих стихов?

— Есть.

— Так дай мне на память! Я не ожидаю, чтобы ты написал что-либо и лично мне, но какой-нибудь автограф твой мне надо же

иметь.

Пушкин открыл конторку и подал директору начисто перебеленные им для себя стихи. Тот сейчас же прочел их, и довольное выражение лица его при чтении заключительных строк сказало яснее слов, как поэт угодил ему. Дело в том, что Пушкин, как бы в виде шага к примирению с ним, косвенно похвалил выхлопотанную Энгельгардтом лицейстам льготу — не застегиваться наглухо на все пуговицы:

*Друзья, немного снисхожденья!
Оставьте мирный мне колпак,
Пока его за прегрешенья
Не променял я на шишак,
Пока ленивому возможно,
Не опасаясь грозных бед,
Еще рукой неосторожной
В июле распахнуть жилет.*

— Спасибо тебе! — с теплотою сказал Энгельгардт, пряча стихи. — Так как же, друг мой, насчет гимна?

— Уж, право, Егор Антоныч, не берусь на-верное... Поручите лучше Дельвигу: он такой же поэт, как и я...

— Поэт, да не такой. Ну да нечего делать! Обратимся к Дельвигу. Но у меня до тебя еще другое дело. Надеюсь, что в нем-то ты мне хоть поможешь.

— Приказывайте.

— После акта у меня на квартире будет небольшой спектакль. Кроме моих домашних в пьесе должны участвовать несколько человек лицеистов. У тебя же, Пушкин, есть несомненный актерский талант, и наш главный режиссер, Мери, рассчитывает на тебя.

При имени Мери лицо Пушкина разом залило румянцем, а брови его сдвинулись.

— Мадам Смит, видно, смеется надо мной? — отрывисто произнес он.

— Ничуть. Она сама, видишь ли, сочинила французскую пьеску, и так как ты не только хороший актер, но и сам поэт да, кроме того, прекрасно говоришь по-французски...

— Нет, уж увольте! — прервал решительно Пушкин. — Вы, Егор Антоныч, сами хорошо поймете, почему я не могу.

— Но что мне сказать ей?

— Поблагодарите за честь... Скажите, что родители пришлют за мной из Петербурга

сейчас после акта... И это ведь сущая правда...

— Пожалуй, скажем, если уже ты наотрез отказываешься. Не знаю, Пушкин, доведется ли нам с тобой еще быть наедине до твоего отъезда, — продолжал Энгельгардт, и в голосе его зазвучала отечески-задушевная нота. — Поэтому я теперь же дам тебе совет на дорогу: в тебе есть искра Божия — не задувай ее!

— Я мог бы быть, конечно, прилежнее, — согласился Пушкин, — и, вероятно, буду сожалеть о потерянных школьных годах...

— О потерянном, друг мой, что теперь толковать! Что с возу упало — то пропало. Но впереди у тебя еще целая жизнь: если ты хочешь стать настоящим человеком, то должен доучивать то, чему недоучился в лицее и что далось бы тебе в лицее гораздо легче. Помоги тебе Бог! Нас же не поминай лихом...

— Я буду поминать вас только добром, Егор Антоныч.

— Спасибо. Так вот что: если в трудное время тебе понадобится дружеская помощь, искренний совет — иди прямо ко мне: двери моего дома так же, как и сердце мое, всегда будут открыты для тебя!

Сам не зная как, Пушкин очутился в объятиях Энгельгардта.

— Хоть простились-то друзьями! — промолвил с улыбкой растроганным голосом Энгельгардт и, чтобы скрыть свое внутреннее волнение, поспешно вышел.

А Пушкин? На глазах у него также навернулись слезы. Он стоял, как в забытьи: почувствованные дружеские слова директора глубоко запали ему в душу и, как показало будущее, принесли хорошие плоды.

Давно ли он рвался из стен лицея! А теперь, когда стены эти вдруг раздвинулись перед ним еще за полгода до срока, неодолимая грусть напала на него: лицей — эта воображаемая некогда тюрьма — сделался для него как бы родным домом, а начальники (в том числе, конечно, и Энгельгардт), товарищи и даже лицейская прислуга стали ему вдруг так же близки, как члены своей семьи. Немногие дни между экзаменами и актом пролетели для лицеистов как сон; перед вечной, быть может, разлукой им хотелось наговориться досыта. Воспоминания о прошлом, мечты о будущем прерывались только дорожными

сборами и прощальными визитами к царско-сельским знакомым.

Так наступило утро последнего дня пребывания их в лицее — 9 июня. Насколько пышно и торжественно 6 лет перед тем открывался лицей, настолько тих и скромн был акт их выпуска оттуда. Правда, император Александр Павлович, как и тогда, удостоил акт своим присутствием; но государь и сопровождавший его князь Голицын (исправлявший должность министра народного просвещения вместо графа Разумовского) были единственные присутствующие из "сильных мира сего". Кроме 29 воспитанников выпускного класса в парадной форме было тут, разумеется, их начальство, были родители немногих из них, да кое-кто из жителей Царского Села. Когда государь ровно в 12 часов дня прошел из внутренних покоев дворца в большой лицейский зал, навстречу ему вышли директор и все профессора. Когда затем все заняли свои места, Энгельгардт с кафедры сказал небольшую вступительную речь. После него конференц-секретарь профессор Куницын прочитал отчет о ходе занятий лицейстов и основных началах

их воспитания. В заключение князь Голицын вызывал воспитанников по списку, представлял каждого из них государю и вручал одним медали или похвальные листы, а другим — просто аттестаты.

Первую золотую медаль, оказалось, заслужил Вальховский, вторую — князь Горчаков, первую серебряную — Маслов, вторую — Есаков, третью — Кюхельбекер и четвертую — Ломоносов. Четверым другим: Корсакову, барону Корфу, Пушину и Саврасову — взамен медалей были присуждены похвальные листы. Из 17 воспитанников, назначавшихся в гражданскую службу, 9 человек вышло по 1-му разряду с чином титулярного советника и 8 — по 2-му с чином коллежского секретаря. Из 12 же воспитанников, выбравших военную карьеру, семеро было выпущено по 1-му разряду — в гвардию и пятеро по 2-му — в армию. В общем счете Пушкин оказался 19-м, а между "гражданскими чинами" 14-м. Тотчас за ним следовал Дельвиг.

— Сама судьба сделала меня твоим верным спутником и оруженосцем! — сказал он Пушкину, возвращаясь к нему от стола с атте-

статом. — Покажи-ка, брат: как тебя расписали?

Пушкин подал ему свой аттестат.

— "Александр Пушкин... оказал успехи... — прочел про себя Дельвиг, — в Законе Божиим и священной истории, в логике и нравственной философии, в праве естественном, частном и публичном, в российском, гражданском и уголовном праве — хорошие; в латинской словесности, в государственной экономике и финансах — весьма хорошие..." Что правда, то правда: ты первый у нас экономист и финансист!

— А как же, — отозвался шутя Пушкин. — Пристраивать деньги разве не умею?

— Еще бы, — согласился Дельвиг и продолжал читать: — "В российской и французской словесности, также и в фехтовании — превосходные..." По этим частям, конечно, тебе и книги в руки. "Сверх того..." Вот это лучше всего: "Сверх того, занимался историей, географией, статистикой, математикой, немецким языком...", стихоплетством и всякими дурачествами.

Последние слова Дельвиг скороговоркой

добавил так неожиданно от себя, что товарищи кругом фыркнули, а стоявший около них дежурный гувернер ужаснулся.

— Помилуйте, господа! Что с вами?!

По счастью, внимание высоких гостей было в это время отвлечено от лицеистов, потому что, отпустив только что последнего из них, графа Броглио, князь Голицын стал представлять государю поочередно профессоров. Сказав каждому из них несколько ласковых слов, император встал, подошел к лицеистам и обратился к ним с отеческим увещеванием "не совращаться с пути добродетели и честности, если они желают быть счастливыми в жизни, и свято уважать всегда свои обязанности к Богу и отечеству".

— А теперь покажи-ка мне свой лицей, — обратился государь к Энгельгардту.

Тот немного оторопел.

— Я должен предупредить ваше величество, что воспитанники укладываются в дорогу и потому у нас везде беспорядок...

— Без этого нельзя, конечно. Но я сегодня не в гостях у тебя, а как хозяин хочу только посмотреть на сборы наших молодых людей.

С этими словами император направился прямо к выходу. Учитель пения, барон Теппер де Фергюсон, все время уже стоявший как на углях, совсем растерялся. Дело в том, что Дельвиг, по настоянию Энгельгардта, действительно сочинил прощальный гимн, а Теппер положил этот гимн на музыку. И теперь-то, когда настала наконец минута его торжества, государь вдруг выходил из зала!

— Гимн, господа! — крикнул бедный учитель и отчаянно замахал обеими руками.

Лицеисты не замедлили грянуть:

— *Шесть лет промчалось, как
мечтанье...* —

но грянули так громко, что выходявший император в дверях с улыбкой обернулся и кивнул им головой.

— *Я вернусь еще к вам, друзья
мои.*

И точно, певцы не совсем еще допели довольно длинный гимн, как государь показался снова на пороге в сопровождении Голицына и Энгельгардта и остановился, чтобы дослушать последний куплет.

*Шесть лет промчалось, как меч-
танье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: "Шествуйте, сыны!"
Простимся, братья, руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, породнила нас!*

— Прекрасно! — сказал государь, когда замолкли последние звуки гимна. — А где же автор? Где композитор?

Энгельгардт подвел к нему тотчас Дельвига и Теппера. Удостоив того и другого нескольких лестных слов, император Александр Павлович обратился затем ко всем лицеистам:

— Ну, дети мои! Директор ваш выпросил у меня для вас особую милость: на вашу экипировку будет отпущено из казны 10 тысяч рублей, и, кроме того, те из вас, что поступают на гражданскую службу, будут получать, пока не определятся на штатные места, окончившие по 1-му разряду — 800 рублей, а по 2-му — 700 рублей в год. На будущем вашем служебном поприще мы с вами, надеюсь, еще не раз

встретимся. Поэтому не говорю вам: "Прощайте!", а говорю: "До свиданья, дети!"

— До свиданья, ваше величество! — восторженно крикнули в ответ все 29 человек лицеистов и бросились провожать уходящего государя сперва на лестницу, а оттуда и на улицу.

— Еще раз благодарю вас, господа, за все ваши труды! — сказал государь на прощанье теснившемуся около его коляски лицейскому начальству. — И вы не будете забыты мною.

Действительно, все почти служащие в лицее от мала до велика удостоились монарших щедрот.[57]

В последний раз собрались лицеисты в столовую к обеду. Пушкин сел рядом с Дельвигом; но ему кусок в рот не шел: другого друга его, Пущина, не было с ними за столом; дня за два еще до акта он расхворался, а сегодня, перемогаясь, едва выстоял до конца чтения в актовой зале и по требованию доктора Пешеля оттуда прямо спустился в лазарет.

— Надо же было ему расклеиться!.. — ворчал Пушкин про себя.

— Кому? — переспросил Дельвиг.

— Да Пушкину.

— А что?

— Да вместе собирались в Петербург.

— А мне с тобой нельзя, — как бы извинился Дельвиг. — А знаешь что, Пушкин: после обеда прогуляемся-ка еще раз по парку?

— Прогуляемся. Я даже сейчас бы пошел: мне вовсе не до еды.

— Мне тоже. Так идем, что ли?

— Идем.

Друзья-поэты разом встали из-за стола и рука об руку отправились в парк. Обоим казалось, что у них еще так много недосказанного, о чем надо наговориться, — и оба задумчиво молчали или обменивались только отрывистыми фразами. Задушевные звуки голоса, дружелюбные взгляды, крепкие рукопожатия высказывали им лучше всяких слов то, что нужно было им еще выразить друг другу: неизменную верность "до гроба".

Легко понять, что им было не особенно приятно, когда их одинокая прощальная прогулка была прервана появлением третьего лица — такого же поэта, Кюхельбекера.

— Простите, господа... вы гуляете? Можно

и мне тоже? — путаясь, заговорил тот, заметив, как Пушкин вдруг насупился.

— Кто же тебе мешает? — небрежно отвечал Пушкин. — Желаю тебе веселиться.

— Да нет... Я не то... Знаешь, как у Шиллера:

*Ich sei, gewährt mir die Bitte,
In eurem Bunde der Dritte!*

или в вольном переводе -

*Дозволь моей маленькой Музе
Быть третьей в сем братском со-
юзе!*

— Bravo, Виленька! Ты все совершенствуешься! — усмехнулся уже Пушкин и оглядел саженную фигуру Кюхельбекера. — Маленькая Муза тебе, впрочем, не совсем по росту.

— Напротив, — сказал Дельвиг, — совершенно по законам физики: Муза его обратно пропорциональна квадрату его роста.

— А у вас обоих чем меньше рост, тем больше Муза, — миролюбиво соглашался на все Кюхельбекер. — Поэтому вам, господа, ничего не стоит исполнить мою последнюю просьбу: напишите мне каждый на прощанье

по хорошенькому стишку!

— Еще по «хорошенькому»! Вовремя спохватился, нечего сказать: когда в экипаж садиться...

— Ну, сделайте божескую милость, господа! Другим же вы всем написали?

— Всем не всем; во всяком случае, теперь-то не время. Это все равно, как если бы я предложил тебе сейчас с бухты-барахты решить какой-нибудь Ньютонов бином.

— А что ж, решу! Пойдем, сейчас решу! А ты мне за это напишешь?

— Нет, барон, ты на этом его не поймашь, — сказал Пушкин. — Так и быть, что ли, напишем ему что-нибудь?

— Вот друг! Вот душа-человек! — вскричал в восхищенье Кюхельбекер, и, прежде чем Пушкин успел защититься, на щеке его напечатлелся сочный поцелуй. — Но в таком случае не пойдешь ли ты сейчас домой?

— Ну вот: с прогулки даже гонит! Нечего делать, барон, надо идти.

— Ты, пожалуй, пиши, — отвечал Дельвиг, — для тебя это игрушка; меня же уволь.

Солнце еще не село, когда к лицейскому

подъезду с колокольчиками и бубенчиками стали подкатывать одна за другой брички и коляски. Молодые люди, неразлучно 6 лет просидевшие на одной скамье, разлетались теперь во все концы света. В швейцарской и на тротуаре перед подъездом шла непрерывная толкотня: не успевали одного проводить, как приходилось отправлять другого.

Вот вышел, одетый совершенно по-дорожному, и Пушкин. Началось беспорядочное, но сердечное прощанье. Каждый из не уехавших еще товарищей поочередно заключал его в объятия и затем передавал следующему. От последнего он как бы само собой перешел в руки дежурного гувернера, искренно уважаемого всеми ими Чирикова. За ним же, впереди подначальной команды, подошел старший дядька Леонтий Кемерский. Пушкин взглянул на плутовато-дубродушное лицо бравого уса-ча — и не узнал его: старик плакал, не отирая слез, щеки его судорожно подергивало, а вместо всегдашнего лукавства в отуманенных глазах его можно было прочесть только самую искреннюю печаль. Печаль эта была у него так необычна, что Пушкин теперь толь-

ко, в эту минуту, будто в первый раз заметил ту значительную перемену, которая совершилась за эти 6 лет со стариком: морщин в лице у него прибавилось вдвое, а слегка серебрившиеся прежде усы совсем побелели.

— Как ты, однако, постарел, Леонтий, с тех пор, что мы знаем друг друга! — невольно сказал ему Пушкин.

— Постареешь, сударь! — отвечал каким-то надтреснутым голосом Леонтий и всхлипнул. — А вы, соколы, — крылья отро стили и ш-ш-ш! — полетели... Прощайте, ваше благородие! Господь храни вас!

— Прощай, Леонтий.

Волнение старика передалось и Пушкину. Он наскоро также обнял, поцеловал его и вскочил в бричку.

— А что же, Пушкин, обещанье твое? — спросил тут, пробиваясь вперед, Кюхельбекер.

— Ах да! — вспомнил Пушкин и подал ему из кармана листок. — Не взыщи: что было на душе, то и написал.

Кюхельбекер не без некоторого сомнения бросил взгляд на листок в своих руках. Но на-

чальные строки сразу разубедили его:

*В последний раз, в сени уединенья,
Моим стихам внимает наш пе-
нат.*

*Лицейской жизни милый брат,
Делю с тобой последние мгнове-
нья...*

— Брат и друг! — растроганно проговорил лицейский Дон Кихот и обеими руками потянулся к поэту. — Спасибо тебе...

— Не за что... Ну, трогай! — обратился Пушкин к кучеру. — Прощай, барон! Прощайте, господа!

— Прощай, Пушкин! Добрый путь!

Лошади тронулись.

— Стой! Стой! — раздался в это время с подъезда знакомый голос. В дверях показалась фигура в сером больничном халате, соскочила вниз на улицу и протеснилась сквозь толпившуюся около отъезжающего экипажа кучку.

— Пуцин! — вскричал Пушкин.

— Меня в лазарете ты небось и забыл? — с укором говорил первый друг его, крепко обнимаясь с ним.

— Извини, милый мой... Все это, знаешь, так внезапно... В Петербурге осенью опять свидимся... Ах, Боже! Ведь и с Егором-то Антонычем я еще хорошенько не простился... Ну да теперь уже поздно; передай ему мое извинение, мой поклон...

Кучер свистнул, бричка снова тронулась; в воздухе взвилось несколько белых платков; кто-то крикнул что-то вслед отъезжающему; экипаж круто вдруг завернул в парк...

Прощай, лицей!

Глава XXVI

За стенами лица

*Насилу я
На волю вырвался, друзья!
Ну, скоро ль встречу с великаном?
"Руслан и Людмила"*

*Отечество тебя ласкало с умиле-
нием...
"Кавказский пленник" (Посвящение Н.
Н. Раевскому)*

В Петербурге Пушкин на этот раз пробыл всего несколько дней. Прикомандированный к коллегии иностранных дел, он принес только присягу и затем с родителями и сестрой укатил до поздней осени в село Михайловское.

"Помню (говорит он в своих "Записках"), как я обрадовался сельской жизни, русской бане, клубнике и проч.; но все это нравилось мне не надолго. Я любил и доньне люблю шум и толпу".

В октябре месяце он возвратился в Петербург, и так как определенных занятий на

службе у него еще не было, то он имел полную свободу отдаться "шумной толпе", т. е. так называемому "большому свету". Доступ туда открылся ему благодаря родственным связям и знакомству с графами Бутурлиными, Воронцовыми и Лаваль, с князьями Трубецкими, Сушковыми и другими аристократами. «Толпа» так его поглотила, закружила, что оттеснила на некоторое время даже от лицейской товарищеской семьи. Пушкин, который с шестью другими лицеистами тою же осенью, сдав новый экзамен, был произведен в офицеры и обучался фронту в гвардейском образцовом батальоне, недаром возмущался этим увлечением своего друга светскою жизнью.

"Пушкин часто сердит меня и вообще всех нас тем (рассказывает он), что любит, например, вертеться у оркестра (в театре) около знати, которая с покровительственною улыбкой выслушивает его шутки, остроты. Случалось из кресел сделать ему знак — он тотчас прибежит. Говоришь, бывало:

— Что тебе за охота, любезный друг, возиться с этим народом? Ни в одном из них ты не найдешь сочувствия.

Он терпеливо выслушает, начнет щеко- тать, обнимать — что обыкновенно делал, ко- гда немножко потеряется. Потом смотришь: Пушкин опять с тогдашними львами!.. Стран- ное смешение в этом великолепном созда- нии! Никогда не переставал я любить его; знаю, что и он платил мне тем же чувством; но невольно, из дружбы к нему, желалось, чтобы он, наконец, настоящим образом взгля- нул на себя и понял свое призвание".

А что же Чаадаев, что Жуковский и друзья его «арзамасцы», имевшие на него еще недав- но такое решительное влияние?

Чаадаев состоял адъютантом при началь- нике гвардии, генерале Васильчикове, и нахо- дился в то время вместе с высочайшим дво- ром в Москве. Жуковский был еще в своем миллом Дерпте; а прочие «арзамасцы» сделали все, что зависело от них: выбрали молодого Пушкина в члены «Арзамаса». Но то заседа- ние «Арзамаса», в котором происходил его прием, было и единственным, в котором он вообще удосужился побывать. Шуточная вступительная речь его начиналась, как сле- довало, торжественными шестистопными ям-

бами:

*Венец желаниям! Итак, я вижу
вас,
О, други смелых муз, о, дивный Ар-
замас!
Далее он так рисовал образ исто-
го "арзамасца":
...в беспечном колпаке,
С гремушкой, лаврами и с розгами
в руке.*

К сожалению, эта любопытная речь цело-
стью не сохранилась. Само собою разумеется,
что новому члену было также присвоено на-
смешливое прозвище, взятое, как всегда, из
стихов Жуковского; а именно — он был про-
зван Сверчком, потому что, сидя, так сказать,
еще за печкой Царскосельского лица, своей
поэтической стрекотней обратил уже на себя
внимание старших поэтов.

Захваченный светским вихрем, Пушкин
кружился так без отдыха около полугода. Тут,
возвратись однажды морозною зимнею но-
чью домой с островов, куда его возили опять
на тройке приятели-гусары, он почувствовал
сильный озноб, а к утру у него открылся бред.

Встревоженные Родители послали за придворным медиком Лейтоном. Оказалось, что молодой человек жестоко простудился и что это — начало горячки. Первым делом ему обрили голову, затем наняли ему сиделку. Но днем сестра его, Ольга Сергеевна, почти не отходила от его изголовья. Несколько недель жизнь его висела на волоске. Наконец, с первыми лучами весеннего солнца он ожил и стал быстро поправляться; а раз, когда сестра его поутру опять вошла к нему, он потребовал бумагу и карандаш и набросал известное стихотворение:

*Я ускользнул от Эскулапа,
Худой, бритый, но живой...*

— Премило! — восхитилась Ольга Сергеевна, прочтя стихи. — Но, право, Александр, побереги себя еще немножко, не пиши.

Брат ее самоуверенно улыбнулся.

— Скажи ветру: "Не свищи!" Скажи птице: "Не пой!" Не пиши я, милая, я в несколько дней исчах бы, как без пищи.

И точно: писательство, казалось, не только не вредило его здоровью, а способствовало

еще его укреплению. Когда он после нескольких часов непрерывной умственной работы выпускал наконец из рук перо, то был в самом счастливом расположении духа, ел с двойным аппетитом и с каждым днем вообще становился свежее и бодрее.

За тем же занятием застали его раз и трое молодых гостей: Дельвиг, сожителъ последнего, начинающий также поэт Баратынский и приятель обоих Эртель (впоследствии известный составитель французско-русского словаря и других учебных книг). В полосатом бухарском халате, с ермолкой на обритой голове, Пушкин лежал на кровати с пером в руке, окруженный бумагами и книгами. При входе гостей он не поднял головы, а сделал только знак, чтобы ему не мешали, и продолжал писать. Те, вполголоса разговаривая, отошли к окошку. Дописав что нужно, Пушкин радушно протянул обе руки Дельвигу и Баратынскому.

— Здравствуйте, братцы!

С Баратынским он успел уже вполне сойтись, бывая у Дельвига. Когда ему теперь представили Эртеля, которого он видел в пер-

вый раз, он приветствовал его не менее развязно:

— Я давно желал с вами познакомиться: мне говорили, что вы знаете всегда, где достать лучшие устрицы.

"Я не знал, радоваться ли мне этому приветствию, или сердиться за него", — сознавался потом Эртель. Но вот речь зашла о литературе — и гость был очарован.

"Суждения Пушкина были вообще кратки, но метки (рассказывает он); и даже когда они казались несправедливыми, способ изложения их был так остроумен и блистателен, что трудно было доказать их неправильность. В разговоре его заметна была большая склонность к насмешке, которая часто становилась язвительною. Она отражалась во всех чертах лица его..."

— Глядя на вас, Александр Сергеич, — заметил Эртель, — подумаешь, что вы одни злые эпиграммы да сатиры пишете, а между тем мне говорили, что у вас готовится целая героическая поэма.

— И чудо что такое! — подтвердил Дельвиг. — Судя по тем стихам, что он прочел уже

мне...

— Ну, что я читал тебе? — с полудовольной, с полусмущенной улыбкой перебил Пушкин. — Ты не слышал главного.

— Так прочти же нам теперь.

— Прочти, в самом деле! — подхватил Баратынский.

— Прочтите, Александр Сергеич, ну пожалуйста! — поддержал и Эртель.

Пушкин не стал долго упираться, на скорую руку разобрал раскиданные на столе листы и прочел гостям одну за другою все готовые уже песни поэмы. Двое из слушателей были сами поэты, третий был также любителем и знатоком поэзии, поэтому небывало звучные стихи новой поэмы привели их в самый неподдельный восторг.

— Да это музыка, а не стихи! Ничего подобного не было еще на русском языке! — говорили они наперерыв.

— Ты разом перерос и Жуковского, и Батюшкова! — решил Баратынский.

— Эх куда хватил... далеко мне еще до них... — пробормотал Пушкин, но та самовольная мина, с которою он наклонился над

своим писанием, выдавала его тайную радость и гордость.

— А знаешь ли, Пушкин, что даже Энгельгардт начинает верить в твой талант? — сказал Дельвиг. — На днях встречаю его и спрашиваю: что и как у них в лице?

— Вашу братью не совсем еще забыли, — говорит, — особенно Пушкина.

— Это по поводу княжны Волконской? — догадался я.

— И да, и нет, — говорит. — Когда я засадил этого молодца за нее в карцер, он от нечего делать измарал всю стену углем. Я думал было сперва дать выбелить ее, но как прочел написанное — раздумал: пусть сохранится как некая святыня.

Пушкин слушал своего друга с задумчивой улыбкой.

— Да, это были начальные стихи из моего "Руслана", — сказал он. — Карандаша у меня на этот раз не было, так я взял из печки уголь. Жаль, что нельзя показать этой «святыни» моему дяде Василию Львовичу: ведь он такой же Фома неверный, как и Энгельгардт; не хотел ни за что признать во мне поэтической

искры, не хотел допустить мысли, что меня выберут в "Арзамас".

— Ах, кстати, Александр Сергеич! — спохватился Баратынский. — Слышал ты про оказию, что была с Василием Львовичем в "Арзамасе"?

— Нет; от кого мне слышать? Шесть недель я ведь свету не видал, а вы да и Жуковский молчите!

— Молчали до сих пор, потому что не хотели тебя печалить злоключениями твоего почтенного дяди. Но теперь, когда все устроилось опять к лучшему, скрывать нечего. Василий Львович, видишь ли, ездил куда-то из Москвы за город в кибитке и в стихах описал свою поездку. Стихи ему не очень удались; но с кем этого не бывает? Все это было бы ничего. Но стихи свои он прислал на суд друзей своих «арзамасцев» — и вот это была непростительная ошибка. Друзья разжаловали его из «арзамасского» чина: вместо Вот окрестили его Вотрушкой.

— Бедный дядя!

— Он сам был, конечно, всех более огорчен и излил свою горечь в послании к жестоким

друзьям, которое начиналось так:

*Что делать! Видно, мне кибитка
не Парнас!
Но строг, несправедлив ученый
Арзамас!
Я оскорбил ваш слух; вы оскорби-
ли друга...*

и т. д. Послание это, в сравнении с забракованным, признано было в «Арзамасе» перлом поэзии; автору не только возвратили прежний его титул Вот, но и сделали к нему еще прибавку "я вас" — "Вот я вас!".

— Сразу узнаю по этому Жуковского! — сказал Пушкин. — Я, право, так рад за дядю...

— А уж сам-то он как рад, говорят! По всей Москве разъезжает, рассказывает анекдот о себе встречному и поперечному.

— Надо будет послать ему список с моего «Руслана», когда кончу.

— Непременно пошли. Твои лавры заменят ему его собственные.

— Нет, господа, у Василия Львовича есть и свои лавры, — вступился Эртель. — Это признал даже такой злой язык, как Воейков. Вы, Александр Сергеич, не читали еще его "Пар-

насского адрес-календаря"?

— Нет; это что такое? Я знаю только его "Дом сумасшедших".

— А то новейшая его сатира. Кое-что из этого «Адрес-календаря» я, кажется, помню... Про дядю вашего было сказано: "В. Л. Пушкин — при водяной коммуникации, имеет в петлице листочек лавра с надписью: "за Буянова". Про князя Шаховского: "придворный дистилатор; составляет самый лучший опиум для придворного и общественного театра; имеет привилегию писать без вкуса и без толку". Но больше всего досталось несчастному графу Хвостову: "обер-дубина Феба в ранге провинциального секретаря; обучает ипокренических лягушек квакать и барахтаться в грязи".

— Не в бровь, а в глаз! — расхохотался Пушкин. — Но, значит, и всей нашей пишущей братье несдобровать у него.

— Нет, истинные таланты у него выделены. Крылов, например, охарактеризован так: "действительный поэт 1-го класса; придворный проповедник, имеет лавровый венок и входит к его парнасскому величеству без до-

клада".

— И ты, Пушкин,ходишь туда теперь без доклада, — с непривычным увлечением подхватил Дельвиг. — Я предвидел это еще в лицее; но скоро признают то же и все другие.

Предсказание друга начало оправдываться с первого же выезда поэта после болезни.

Давно уже наслышался Пушкин о капитане Преображенского полка Павле Александровиче Катенине как о знатоке иностранной литературы и тонком критике; давно искал он его знакомства. Но Чаадаев, общий их знакомый, тогда еще не возвратился из Москвы. И вот, едва оправясь от болезни, Пушкин, не думая долго, надел свою шляпу à la Volivar, [58] взял в руку трость и отправился прямо на квартиру Катенина. Назвав себя, он подал ему трость и сказал:

— Я пришел к вам, Павел Александрович, как Диоген к Антисфену:[59] побей, но выучи!

— Ученого учить — значит портить, — любезно отвечал Катенин, и знакомство завязалось.

Через Катенина Пушкин вскоре сошелся и с былым «беседчиком», известным драматур-

гом князем Шаховским. Тот на деле оказался премилым человеком, а несколько лет спустя переделал для сцены две поэмы Пушкина: «Руслана» и "Бахчисарайский фонтан".

Не один Катенин выделялся из среды тогдашней гвардии своею, в полном смысле слова, европейскою образованностью. В первом ряду с ним стоял Чаадаев, который, вернувшись в Петербург, втянул Пушкина снова в свой кружок, и генерал А. Ф. Орлов, который убедил Пушкина в безрассудстве, при его блестящем поэтическом даровании, отдаться фронтальной службе. Ответом на эти убеждения служило известное послание:

*...Орлов, ты прав: я покидаю
Свои гусарские мечты,
И с Соломоном восклицаю:
Мундир и сабля — суеты!..*

Более всех, кажется, был доволен таким его решением Жуковский, который носился с талантом своего ученика-поэта, как нежная нянька с баловнем ребенком. Но, отказавшись от гусарского мундира, Пушкин не отказался от гусарских набегов на ближних в форме эпиграмм, и самому Жуковскому при-

шлось испытать на себе их колкость, именно: Пушкин в то время не хотел признавать так называемых «белых», т. е. безрифменных, стихов. Жуковский же, переводя алеманнского поэта Гебеля, усердно упражнялся в них. Одно из этих переводных стихотворений его — «Тленность» — начиналось такой фразой:

*Послушай, дедушка, мне каждый
раз,
Когда взгляну на этот замок
Ретлер,
Приходит в мысль: что, если то
ж случится
И с нашей хижиной?..*

Пушкин, прочтя это начало, тотчас же пародировал:

*Послушай, дедушка, мне каждый
раз,
Когда взгляну на этот замок
Ретлер,
Приходит в мысль: что, если это
проза,
Да и дурная?..*

Незлобивый Жуковский очень любил рас-

сказывать об этой пародии всем знакомым, Пушкину же пророчил, что и он поймет достоинства белого стиха.

Точно так же и Карамзин не избежал стихотворных нападок нашего поэта. Будучи по-прежнему вхож в дом великого историографа, Пушкин в глаза и за глаза восторгался выпущенной тогда (в 1818 г.) из печати "Историей государства Российского", искренне провозглашал, что "древняя Россия найдена Карамзиным, как Америка Колумбом", и в то же время черкнул на него одну за другою две презлые эпиграммы.

Могли ли после этого прежние лицейские товарищи ждать от него пощады? Кюхельбекеру он написал новое сочувственное стихотворение «Мечтателю», которое тогда же напечатал, подписавшись арзамасским прозвищем своим Сверчок; а вслед за тем без жалости поддел его эпиграммой. Случилось, что он сговорился с Жуковским встретиться у одних знакомых. Жуковский, однако, не явился. При следующей встрече на вопрос Пушкина, отчего его не было, Жуковский оправдывался тем, что лакей его Яков имеет дурную привычку

не затворяют за собой дверей.

— От сквозняка, знать, я и простудился, — продолжал он, — да накануне за ужином поел еще лишнее. Вдобавок зашел опять этот Кюхельбекер.

— Так! И со стихами?

— С новой поэмой...

— Тогда не диво, что у тебя всю внутренность перевернуло!

Как на грех, выходя от Жуковского, Пушкин столкнулся на лестнице с двумя друзьями — Дельвигом и Кюхельбекером.

— Вот подлинно: когда говорят о волке, так он уж тут как тут, — сказал Пушкин, пожимая руку последнему.

Кюхельбекер весь так и встрепенулся.

— А у тебя, голубчик, с Василием Андреевичем была сейчас речь обо мне?

— М-да.

— Ну, что ж он?

— А вот, говорит:

*За ужином объелся я,
Да Яков запер дверь оплошно, —
Так было мне, мои друзья,
И кюхельбекерно, и тошно.*

Стихотворный экспромт был выпален так в упор, что даже невозмутимый вообще Дельви́г расхохотался; вспльщивого же Кюхельбекера как варом обожгло.

— Ты мне за это ответишь!.. — буркнул он вне себя. — Я пришлю к тебе моих секундантов...

— Ну полно, Вильгельм! Разве ты не понимаешь шутки? — вступился было Дельви́г.

Но Кюхельбекер его уже не слышал; сломя голову бежал он с лестницы вниз и исчез за поворотом. На следующее утро он, точно, прислал Пушкину формальный вызов; но, благодаря вмешательству друзей обоих дело обошлось без кровопролития. В накладе остался, конечно, только бедный Дон Кихот лицейский, экспромт на него обошел весь литературный кружок, и выражение «кюхельбекерно» приобрело в этом кружке значение, равнозначащее с выражением "тошно".

Естественно, что домашним Пушкина приходилось страдать от его «гусарских» выходок еще чаще, чем другим. Иногда шалости его заходили за пределы всякого благоразумия. Так, по своему выздоровлению, в солнечный май-

ский день совершая в обществе отца и нескольких знакомых увеселительную прогулку на лодке по Неве, поэт наш, в порыве беззаветного молодечества, вынул кошелек, достал червонец и, подбросив его на ладони, уронил в воду.

Все так и ахнули. Сергей Львович, человек небогатый, а главное — скуповатый, был справедливо возмущен.

— Ты с ума сошел, Александр! — вскричал он.

— Нет, папенька, я только бесконечно счастлив, — легкомысленно отвечал сын, — счастлив, как Поликрат; надо же заплатить тоже какую-нибудь дань Нептуну. Вы полюбуйтеся только, как это красиво, как золото сверкает на солнце!

И, говоря так, он беззаботно продолжал швырять в Неву червонец за червонцем.

Многое, что другому ни за что не сошло бы с рук, великодушно прощалось Пушкину как исключительной, артистической натуре. Он дивил не один только "свой муравейник": имя его произносилось уже наряду с лучшими отечественными писателями во всем об-

разованном петербургском обществе и даже далеко от Петербурга. Еще в апреле 1818 года князь Вяземский, живший в то время в Варшаве и не слыхавший еще ничего о "Руслане и Людмиле", писал Жуковскому по поводу других стихов своего молодого друга:

"Стихи чертенка-племянника чудесно хороши! *В дыму столетий!* Это выражение — город. Я все отдал бы за него, движимое и недвижимое. Какая bestия! Надобно нам посадить его в желтый дом; не то этот бешеный сорванец нас всех заест, нас и отцов наших. Знаешь ли, что Державин испугался бы *дыма столетий*? О прочих и говорить нечего!"

Несколько месяцев спустя (в сентябре) старик поэт и министр Дмитриев писал из Москвы А. И. Тургеневу по случаю присылки ему Пушкиным стихов:

"Скажите искреннюю благодарность мою и молодому Пушкину; я и по заочности люблю его, как прекрасный цветок поэзии, который долго не побледнеет. Почтенный дядя его недавно читал мне несколько начальных стихов о том же предмете. Не знаю еще, что выйдет, но он исполнен священным негодовани-

ем, зияет молнией и громом говорит".

Из этих строк видно, что и Василий Львович Пушкин начинал невольно преклоняться перед пробуждающимся гением племянника.

Четвертый отсутствующий поэт, Батюшков, который еще так недавно представлялся молодому Пушкину недостижимым идеалом, также предчувствовал его духовное превосходство над собою. Страдая уже в то время первыми приступами своей душевной болезни, Батюшков, прочитав послание Пушкина к Юшкову, судорожно скомкал в кулаке стихи и вскричал:

— О, как стал писать этот злодей!

Он не мог простить начинающему автору его свежих лавров. Но вскоре его ожидало еще большее поражение: проездом через Петербург ему пришлось присутствовать при чтении "Руслана и Людмилы". Происходило это чтение у Жуковского, который, не имея тогда еще собственной семьи, проживал в семействе своего деревенского приятеля А. А. Плещеева, славившегося своим искусным чтением и бывшего вследствие того некоторое время также чтецом императрицы Марии

Федоровны. Летом 1818 года, в селе Михайловском, Пушкин вчерне окончил свою поэму, а по возвращении осенью в Петербург усердно занялся ее художественной отделкой. По субботам, когда у Жуковского сходился избранный кружок любителей и литераторов, он, по мере того как подвигалась его работа, прочитывал там песнь за песнью, чтобы выслушать замечания знатоков дела. К началу 1819 года была наконец готова последняя песнь, и, когда он явился опять в обычный день к Жуковскому, его тотчас усадили в кресло посреди комнаты за стол с двумя свечами и стаканом сахарной воды и заставили читать поэму от начала до конца.

Никто из слушателей не смел шелохнуться, чтобы не проронить ни слова. Изредка раздавались только сдержанные восклицания:

— Изумительно!

— Какая смелость выражений!

— Что за яркие краски!

— Что за музыкальные рифмы!

Когда он замолк, с полминуты еще царило кругом благоговейное молчание. Потом, точно по уговору, все разом шумно поднялись,

столпились около молодого автора и напере­рыв принялись пожимать ему руку, осыпать его непритворными поздравлениями.

— Благодарю вас, господа... — бормотал он, сконфуженный и радостный. — Вот мой учи­тель!

Он указал на Жуковского. Тот, ни слова не ответив, удалился из комнаты, но вслед за тем опять возвратился и подал «ученику» свой собственный литографированный портрет с надписью: "Ученику-победителю от по­бежденного учителя в высокаторжественный день окончания "Руслана и Людмилы"".

Из всех присутствующих, после самого Пушкина, наибольшее впечатление прино­шение это произвело, казалось, на Батюшко­ва. Один он только не двинулся из своего дальнего, полутемного угла, когда все осталь­ные обступили Пушкина. Теперь он нервно сорвался со стула, схватил шапку, наскоро простился с хозяином и убежал вон. Но два месяца спустя, находясь уже в Неаполе и несколько успокоясь, он писал А. И. Тургеневу в Петербург:

"Просите Пушкина именем Ариоста вы-

слать мне свою поэму, исполненную красот и надежды, если он возлюбит славу паче рассеяния".

В 1820 году, наконец, "Руслан и Людмила" явилась в печати. Уже ранее о поэме ходило в публике так много слухов, что все наперерыв бросились читать ее. Истинный ценитель художественных произведений Белинский не выступил еще в то время на литературное поприще; зато в мелких рецензентах не было недостатка. И вот во всей нашей журналистике поднялся невообразимый гам. Одни критики называли перо Пушкина «мастерским», самого Пушкина величали "юным гигантом словесности нашей"; другие, напротив, с пеною у рта громили его и за древнерусский фантастический сюжет, и за простонародные и необычные выражения. Дельвиг кратко и метко в четырех строках охарактеризовал бестолковые пересуды этих непризнанных судей:

*Хоть над поэмою и долго ты кор-
пишь,
Красот ей не придашь и не ума-
лишь!
Браня — всем кажется, ее ты хва-*

*лишь;
Хваля — ее бранишь.*

Зато масса читающей публики была безусловно пленена, побеждена поэмой, которой по изяществу и звучности стиха ничего подобного до тех пор у нас не существовало. Первый крупный поэтический опыт разом завоевал Пушкину твердое и первенствующее положение между современными ему стихотворцами.

Сам он ко времени выхода поэмы в свет был уже далеко от Петербурга — на юге России. Но следовавшие за его лицейскими годами переходные к возмужалости годы выходят уже за рамки нашего рассказа, и мы коснулись их только в той мере, в какой они органически связаны со школьным периодом его жизни.

Эпилог

*Куда бы нас ни бросила судьбина,
И счастье куда б ни повело,
Всё те же мы: нам целый мир — чуж-
бина;
Отечество нам — Царское Село.
"19 октября"*

*Дохнула буря — цвет прекрасный
Увял на утренней заре!
Потух огонь на алтаре!
"Евгений Онегин"*

Рассказ наш о "лицейских годах" Пушкина не был бы вполне закончен, если бы мы не сказали еще несколько слов о той связи, которая сохранилась между бывшими товарищами по оставлению лицея. Царское Село и 19 октября (день открытия лицея) — вот два магнита, оказывавшие на лицейскую семью и впоследствии неизменную притягательную силу.

К первой лицейской годовщине по выпуску из лицея Пушкин не возвратился еще из села Михайловского и потому не мог участво-

вать в обычном празднестве. На этот раз оно происходило также в Царском Селе, в ближайшее к 19 октября воскресенье, но не после этого числа, а до него, именно 13 октября. Причиной тому было то, что на этот день было назначено освящение вновь отстроенной в Царском лютеранской церкви и директор Энгельгардт нашел наиболее удобным соединить оба торжества. В "Сыне Отечества" 1818 года напечатано "Письмо лицейского ветерана к лицейскому ветерану", описывающее этот знаменательный день, и если бы даже внизу не стояло подписи "Вильгельм К.", то по сентиментальному тону этого любопытного документа нетрудно было бы догадаться, кто автор его. Объяснив вначале повод к торжеству, Кюхельбекер продолжает так:

"Представь себе все наши, столь тебе знакомые разговоры с ним, с достойным начальником нашим (Энгельгардтом); представь себе всех ветеранов, сколько нас ни было в Петербурге, за столом его, в кругу его семейства, членами его любезного семейства. Представь, как многие из нас бродят по родным, но незабвенным местам, где провели мы лучшие го-

ды своей жизни; как иной сидит в той же келье, в которой сидел шесть лет, забывает все, что с ним ни случилось со времени его выпуска, и воображает себе, что он тот же еще воспитанник, тот же еще лицейский; как двое других, которых дружба и одинакие наклонности соединили еще в их милом уединении, навещают в саду каждое знакомое дерево, каждый куст, каждую тропинку, обходят пруд, останавливаются на Розовом поле, на Екатерининском месте, или в темных аллеях, окружающих Павильон уединения. Какую сладостную меланхолию вливала осень в мою душу здесь, в родном краю моем!..

(Далее в письме описывается вечерний спектакль, за которым следовали бал и ужин.)

...Представление кончилось; заиграли польское — и бал открывается в другом уже зале; но вдруг четверо из лицейских ветеранов останавливают весь ряд танцующих, обнимают достойного директора, благодарят его, благодарят со слезами за представление пьесы, которая служит для них доказательством, что и их преемники воспитываются в

тех самых правилах, в которых они воспитывались, в правилах, которые научили нас любить отечество и добродетель более жизни, более крови своей..."

Выписанный нами выше эпитафия лучше всего выражает те чувства, которые продолжал питать к Царскому Селу Пушкин. А какую искреннюю, просветленную грустью веет от следующих строк, вылившихся у него в 1828 году, при возвращении, после многолетнего отсутствия, в дорогие ему места:

*Воспоминаньями смущенный,
Исполнен сладкою тоской,
Сады прекрасные, под сумрак ваш
священный
Вхожу с поникшею главой...
Так отрок Библии, безумный рас-
точитель,
До капли истожив раскаянья фи-
ал,
Увидев наконец родимую обитель,
Главой поник и зарыдал...*

Пушкин зашел тогда, конечно, и в лицей. Об этом посещении его подробностей не сохранилось. Лицейст 7-го выпуска, покойный

академик наш Я. К. Грот, был тогда в младшем курсе и не видел Пушкина, который ходил только со старшим курсом; но три года спустя, в 1831 году, когда Пушкин, женившись, жил все лето в Царском, Гроту удалось видеть его в лицее.

"Никогда не забуду восторга, с каким мы его приняли (рассказывает он). Как всегда водилось, когда приезжал кто-нибудь из наших «дедов», мы его окружили всем курсом и гурьбой провожали по всему лицею. Обращение его с нами было совершенно простое, как с старыми знакомыми; на каждый вопрос он отвечал приветливо, с участием расспрашивал о нашем быте, показывал нам свою бывшую комнатку и передавал подробности о памятных ему местах. После мы не раз встречали его гуляющим в царскосельском саду, то с женою, то с Жуковским".

Жившие в Петербурге «деды» лицейские, т. е. лицеисты первого выпуска, верные преданиям лицея, ежегодно праздновали лицейскую годовщину, сперва на квартире у Илличевского, а потом у Тыркова и Яковлева. Последнему за это было присвоено почетное

прозвище лицейского старосты, а квартира его называлась лицейским подворьем. Сходки «дедов» имели чисто товарищеский, семейный характер, и на них не допускалось ни одно постороннее лицо — даже из числа лицейстов последующих выпусков. В виде исключения с 1824 года чести этой удостаивался один человек — бывший директор их Энгельгардт, который за год перед тем оставил службу в лицее.

Нечего говорить, что Пушкин по возвращении своем в Петербург сделался также постоянным участником этих товарищеских собраний. Юмористические протоколы их по большей части написаны его рукой. Протокол 1828 года, составленный им же, начинается так:

"Собралися на пепелище скотобратца Курнофеюса Тыркова, по прозванию Кирпичного бруса, 8 человек скотобратцев, а именно: Дельви́г — Тося, Илличевский — Олосенька, Яковлев — Паяс, Корф — дьячок Мордан, Стевен — Швед, Тырков (смотри выше), Комовский — Лиса, Пушкин — Француз (смесь обезьяны с тигром)".[60]

Далее в протоколе идут 11 пунктов, в которых перечисляются занятия собрания. В этих пунктах значится, между прочим: "вели беседу"; "пели скотобратские куплеты прошедших шести годов" (т. е. "прощальную песнь" Дельвига); "Олосенька, в виде французского тамбур-мажора, утешал собравшихся"; "Тырковиус безмолвствовал"; "толковали о гимне ежегодном и негодовали на вдохновение скотобратцев"; "Паяс представлял восковую фигуру".

Последний, 11-й пункт гласил:

"И, завидев на дворе час 1-й и стражу вторую, скотобратцы разошлись, пожелав доброго пути воспитаннику императорского лица Пушкину, Французу, иже написа сию грамоту".[61]

За этим следуют подписи, а после них куплет опять рукою Пушкина:

*Усердно помолившись Богу,
Лицею прокричав ура! —
Прощайте, братцы: мне в дорогу,
А вам в постель уже пора.*

"В дорогу" Пушкин собирался почти всякую осень, потому что это время года в дере-

венском уединении было особенно плодотворно для его поэтической деятельности.

В тех случаях, когда его не было в Петербурге к 19 октября, он присылал обыкновенно «скотобратцам» стихотворное приветствие. Без него, их записного певца, лицейский праздник был точно немыслим.

Последнюю лицейскую годовщину перед своей смертью, 19 октября 1836 года, Пушкин снова провел в кругу друзей. Печальный, как бы убитый вид его обратил общее их внимание. На вопрос: что с ним? — он отговорился нездоровьем. На второй вопрос: не написал ли чего по случаю 25-летия лицея? — он отвечал, что написал, но не совсем окончил. По неотступной просьбе товарищей он нехотя достал из кармана листок и стал читать свое превосходное стихотворение.

*Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался...*

Но слезы мешали ему читать, мешали видеть. Голос его оборвался, и, быстро встав, он удалился на другой конец комнаты. Один из товарищей вместо него дочел стихи вслух. В

углу своем Пушкин просидел довольно долго, пока настолько успокоился, что мог опять присесть за стол к друзьям. Он будто предчувствовал свой близкий конец, предчувствовал живее, чем еще пять лет перед тем, когда в этом же товарищеском кружке предсказывал:

*И мнится, очередь за мной...
Зовет меня мой Дельви́г милый...*

Дельви́г на целые шесть лет опередил своего друга. По выходе из лицея он с грехом пополам четыре года тянул служебную лямку мелким чиновником в министерстве финансов. По врожденному своему отвращению к серьезному труду, он осенью 1821 года вышел уже в отставку, чтобы иметь еще более досуга для любимого своего занятия — изящной словесности. Но жить исключительно литературой в те времена было невозможно, и потому Дельви́г принял место помощника библиотекаря в Императорской Публичной библиотеке, которое предложил ему директор этой библиотеки — Оленин. Покровительствуя молодым литераторам, Оленин нарочно определил его помощником к знаменитому басно-

писцу Крылову, который занимал должность библиотекаря. Хотя Крылов был не менее ленив, чем Дельвиг, но так как дела у обоих было немного, то они ладили между собой. Скопленные в Публичной библиотеке драгоценные литературные материалы, которыми мог теперь постоянно пользоваться Дельвиг, дали его Музе более положительное направление: от лирических стихотворений он обратился к идиллиям в классическом роде. В 1825 году он женился и перешел чиновником особых поручений в министерство внутренних дел. Место это, с одной стороны, лучше обеспечивало его в материальном отношении, а с другой — давало ему еще больше досуга. Вся служба его ограничивалась тем, что он приходил в департамент и собирал около себя кружок слушателей-сослуживцев, потому что был прекрасным рассказчиком и имел всегда в запасе целый короб новейших анекдотов. Такой же кружок приятелей-литераторов сходился у него на дому по средам и воскресеньям с тех пор, как он зажил семьянином. Что касается его литературного дарования, то едва ли не один Пушкин только, по сердечной привязан-

ности к лицейскому другу, считал его крупным талантом. Баснописец Измайлов резко, но метко охарактеризовал значение обоих в следующей басне:

РОЗА И РЕПЕЙНИК

*Репейник возгордился,
Да чем же? — С розою в одном са-
ду он рос.
Иной молокосос,
Который целый курс проспал и
проленился,
А после и в писцы на деле не годил-
ся,
Твердит, поднявши нос:
"С таким-то вместе я учился!"
Хорош тот, слова нет!
Ему хвала и честь;
Да что, скажи, в тебе-то есть?*

Впрочем, не создав сам ничего сколько-нибудь выдающегося, Дельвиг обладал тонким эстетическим вкусом, и Пушкин, пока был жив его друг, читал ему всегда свои новые произведения до их печатания и исправлял их по его советам. Идеалист Жуковский, зараженный пристрастием Пушкина к Дельвигу, возлагал на последнего также несбыточные

надежды и особенно увлекался его широко задуманными планами новых поэм. Однажды, выслушав такой план, Жуковский крепко обнял Дельвига и воскликнул:

— Берегите это сокровище в себе до дня его рождения!

Поэт-ленивец так свято берег свое «сокровище», что оно никогда не увидело света Божьего, как и все его большие замыслы. Года за четыре до своей смерти Дельвиг стал издавать альманах "Северные цветы". Альманах этот был принят публикой довольно благосклонно. В 1830 году он задумал "Литературную газету"; но крупные неприятности, вышедшие у него с цензурой, настолько подействовали на него, что и без того слабое здоровье его не выдержало: он слег и уже не оправился. 14 января 1831 года он умер на руках жены, на 33-м году жизни. Пушкина в то время не было в Петербурге; но как глубоко чувствовал он эту утрату, видно из следующих строк его к Плетневу:

"Что скажу тебе, мой милый! Ужасное известие получил я в воскресенье. На другой день оно подтвердилось. Вчера ездил я к Сал-

тыкову[62] объявить ему все — и не имел духу. Вечером получил твое письмо. Грустно, тоска! Вот первая смерть, мною оплаканная... Никто на свете не был мне ближе Дельвига. Изю всех связей детства он один остался на виду — около него собиралась наша бедная кучка. Без него мы точно осиротели. Считай по пальцам: сколько нас? Ты, я, Баратынский — вот и все. Вчера провел я день с Нащокиным,[63] который сильно поражен его смертью. Говорили о нем, называя его "покойник Дельвиг", и этот эпитет был столь же странен, как и страшен. Нечего делать! Согласимся: покойник Дельвиг — быть так Баратынский болен с огорчения. Меня не так-то легко с ног свалить. Будь здоров — и постараемся быть живы".

Нам, потомкам, Дельвиг интересен только как верный спутник и «оруженосец» поэта-гения, и сам он лучше всего выразил свое литературное значение в эпитафии, которую написал себе:

*Что жизнь его? Протяжный сон.
Что смерть? От грез ужасных
пробужденье.*

С первым другом своим — Пуцциным Пушкин встречался только изредка в театре да у общих знакомых. С лицейской скамьи дороги их разошлись: в то время как ветреник Пушкин искал сильных ощущений в развлечениях "большого света", более степенный Пуццин весь отдался коронной службе — сперва военной, а затем гражданской, перейдя судьей в уголовную палату. Тем не менее, даже при этих редких встречах, братские отношения их друг к другу не изменились; а когда Пушкин с 1824 года безвыездно поселился в селе Михайловском, Пуццин был один из тех трех друзей, которые обрадовали его там:

*Троих из вас, друзей моей души,
Здесь обнял я. Поэта дом печальный,
О Пуццин мой, ты первый посетил;
Ты усладил изгнанья день печальный,
Ты в день его лица превратил.*

(Вторым гостем его был Горчаков, третьим — Дельви́г.) В «Записках» своих Пуццин так живо описывает эту поездку свою в Ми-

хайловское, что мы передадим рассказ его собственными его словами:

"Проведя праздник у отца в Петербурге, после Крещения я поехал в Псков. Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова; в Острове, проездом, ночью взял три бутылки клико (шампанского) и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы, наконец, с дороги в сторону, мчались, среди леса, по гористому проселку: все мне казалось не довольно скоро! Спускаясь с горы, недалеко уже от усадьбы, которую за частыми соснами нельзя было видеть, сани наши, в ухабе, так наклонились набок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога, кое-как удержался в санях. Схватили вожжи. Кони несут среди сугробов, опасности нет, в сторону не бросятся, все лес, и снег им по брюхо; править не нужно. Скачем опять в гору извилистой тропой; вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились с маху в притворенные ворота, при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу

нерасчищенного двора.

Я оглядываюсь: вижу на крыльце Пушкина, босиком, в одной рубашке, с поднятыми вверх руками. Не нужно говорить, что тогда во мне происходило. Выскакиваю из саней, беру его в охапку и тащу в комнату. На дворе страшный холод, но в иные минуты человек не простужается. Смотрим друг на друга, целуемся, молчим! Он забыл, что надобно прикрыть наготу, я не думал об заиндевевшей шубе и шапке. Было около 8-ми часов утра. Не знаю, что делалось. Прибежавшая старуха застала нас в объятиях друг друга в том самом виде, как мы попали в дом: один — почти голый, другой — весь забросанный снегом. Наконец пробила слеза (она и теперь, через 33 года, мешает писать в очках); мы очнулись. Совестно стало перед этой женщиной; впрочем, она все поняла. Не знаю, за кого меня приняла; только, ничего не спрашивая, бросилась обнимать. Я тотчас догадался, что это добрая его няня, столько раз им воспетая, и чуть не задушил ее в объятиях.

Все это происходило на маленьком странстве. Комната Александра была возле

крыльца, с окном на двор, в которое он увидел меня, услышав колокольчик. В этой небольшой комнате помещалась кровать его с пологом, письменный стол, диван, шкаф с книгами, и проч., и проч. Во всем поэтический беспорядок, везде разбросаны исписанные листы бумаги, всюду валялись обкусанные, обожженные кусочки перьев (он всегда, с самого лица писал оглодками, которые едва можно было держать в пальцах).

После первых наших обниманий пришел и Алексей, который, в свою очередь, кинулся целовать Пушкина: он не только близко знал и любил поэта, но и читал наизусть многие из его стихов.

Подали нам кофе; мы уселись с трубками. Беседа пошла правильнее; многое надо было хронологически рассказать, о многом расспросить друг друга.

Пушкин показался мне несколько серьезнее прежнего, сохраняя, однако же, ту же веселость; может быть, самое положение его произвело на меня это впечатление. Он, как дитя, был рад нашему свиданию, несколько раз повторял, что ему еще не верится, что мы

вместе. Прежняя его живость во всем проявлялась — в каждом слове, в каждом воспоминании: им не было конца в неумолкаемой нашей болтовне.

Я привез Пушкину в подарок "Горе от ума"; он был очень доволен этой, тогда рукописной комедией, до того ему вовсе почти незнакомой. После обеда, за чашкою кофею, он начал читать ее вслух; жаль, что не припомню теперь метких его замечаний, которые, впрочем, потом частью явились в печати.

Потом он мне прочел кое-что свое, большею частью в отрывках, которые впоследствии вошли в состав замечательных его пьес; продиктовал начало из поэмы «Цыганы» — для "Полярной звезды, и просил, обнявши крепко Рылеева, благодарить за его патриотические Думы.

Между тем время шло за полночь. Нам подали закусить; на прощанье хлопнула третья пробка. Мы крепко обнялись, в надежде, может быть, скоро свидеться в Москве. Шаткая эта надежда облегчала расставанье после так отраднo промелькнувшего дня. Ямщик уже запряг лошадей, колоколец брякал у крыльца,

на часах ударило три. Мы еще чокнулись стаканами, но грустно пилось: как будто чувствовалось, что в последний раз вместе пьем и пьем на вечную разлуку! Молча я набросил на плечи шубу и убежал в сани. Пушкин еще что-то говорил мне вслед; ничего не слыша, я глядел на него: он остановился на крыльце со свечкой в руке. Кони рванули под гору. Понеслось: "Прощай, друг!" Ворота скрипнули за мной..."

Друзьям не было уже суждено свидеться: вскоре Пущина превратная судьба занесла на другой край света — на границу Китая, в Читу. Но в самый день прибытия его туда ему вручили пришедшее уже раньше приветствие друга-поэта:

Мой первый друг, мой друг бесценный!

*И я судьбу благословил,
Когда мой двор уединенный,
Печальным снегом занесенный,
Твой колокольчик огласил.
Молю святое Провиденье:
Да голос мой душе твоей
Дарует то же утешенье,
Да озарит он заточенье*

Лучом лицейских ясных дней!

Уже стариком Пущин получил разрешение возвратиться на родину, в село Марьино, Бронницкого уезда, Московской губернии, где тихо и окончил век свой 3 апреля 1859 года.

Еще безотраднее была судьба третьего приятеля Пушкина, Кюхельбекера. Несмотря на свои выдающиеся способности, на свои прекрасные душевные качества, на свое немецкое усердие и терпение, он, как и надлежало истому Дон Кихоту, начал и кончил жизнь восторженным сумасбродом и неудачником. Попав с лицейской скамьи вместе с Пушкиным в коллегию иностранных дел, он, однако, скоро бросил службу и укатил за границу. Здесь, в Париже, он не без успеха прочел по-французски несколько лекций о славянской литературе; но он дал слишком большой простор своему красноречию; и его вызвали обратно в Россию. Перейдя на службу в Тифлис, он близко сошелся там с Грибоедовым. Но его тянуло в Москву, и в 1823 году он окончательно перебрался туда. Существовая уроками в университетском пансионе и в частных домах, он все свободное время посвя-

щал литературе. Даже Пушкин, который прежде постоянно подтрунивал над его стихотворными опытами, начал относиться теперь к ним снисходительнее: благодаря своей настойчивости Кюхельбекер выработал себе понемногу правильный русский слог и стал строчить очень недурные, хотя и напыщенные стихи, которые охотно принимались в журналы. В сообществе с князем Одоевским он предпринял, наконец, и собственный журнал: «Мнемозину». Но роковой для многих русских литераторов 1825 год оказался таким и для Кюхельбекера. Десять лет несчастный безумец должен был искупать свои заблуждения в стенах тюрьмы, а всю остальную жизнь — в ссылке. Но и в заточении, в разлуке со всеми близкими, он не упал духом: по доставлявшимся ему журналам и книгам он прилежно следил за умственным движением и ростом милой ему России, вел дневник всему прочитанному и лучшее утешение находил в молчаливой беседе со своей собственной Музой. 19 октября 1836 года, когда Пушкин в последний раз праздновал с друзьями в Петербурге лицейскую годовщину, на

другом краю света опальный товарищ его, Кюхля, изливал в стихах свои чувства к ним и в особенности к Пушкину, своему идеалу:

*Чьи резче всех рисуются черты
Пред взорами моими? Как перуны
Сибирских гроз, его золотые стру-
ны
Рокогут... Пушкин! Пушкин! Это
ты!*

В 1837 году Кюхельбекер женился на совершенно необразованной девушке, дочери баргузинского почтмейстера, которая нимало не могла разделять его возвышенных стремлений. Во время зимней бури в 1844 году, переезжая Байкал и спасая жену и детей, Кюхельбекер так простудился, что уже не поправился. Вдобавок он вскоре еще ослеп. Незадолго перед своим концом он продиктовал старому товарищу своему, Пущину, последнюю свою волю и умер от чахотки в Тобольске 11 августа 1846 года. На могильной плите его начертали всепрощающие слова Спасителя:

"Приидите ко Мне вси страждущий и обремененнии и Аз упокою вы!"

Двое других лицейских стихотворцев, свя-

занные между собой тесной дружбой как создатели "Лицейского мудреца", Илличевский и Корсаков, не оправдали возлагавшихся на них надежд. Илличевский, которому профессор Кошанский отдавал когда-то предпочтение даже перед Пушкиным, оставил след в литературе небольшим только томиком стихов "Опыты в антологическом роде", изданным в 1827 году, на служебном же поприще дошел не далее начальника отделения. Из Корсакова, поэта и музыканта, может быть, со временем и развился бы талант, но уже три года по выпуске из лицея он скончался, как и Кюхельбекер, от чахотки на чужбине, во Флоренции. Достоинно удивления присутствие духа, которое выказал Корсаков перед неизбежным концом: за час еще до смерти он сочинил самому себе русскую надгробную надпись и нарочно написал ее четкими, крупными литерами, чтобы итальянские граверы, копируя, ненароком не исказили ее. Вот эта надпись:

*Прохожий, поспеши к стране родной своей!
Ах! Грустно умирать далеко от*

друзей!

В одном из своих стихотворений, посвященных лицейской годовщине (1825 г.), Пушкин, пересчитывая отсутствующих друзей, сочувственно вспоминает и о Корсакове:

*Он не пришел, кудрявый наш певец,
С огнем в очах, с гитарой сладкогласной:
Под миртами Италии прекрасной
Он тихо спит, и дружеский резец
Не начертал над русскоймогилой
Слов несколько на языке родном,
Чтоб некогда нашел привет унылый
Сын севера, бродя в краю чужом.*

Две матки лицейские, граф Броглио и Комовский, имели диаметрально противоположную участь. Первый, замешанный в 1829 году в возмущении Греции, погиб молодым еще человеком геройскою смертью в случайной стычке; второй, прослужив недолго помощником статс-секретаря государственного

совета, удалился в свою частную жизнь и окончил ее мирно в глубокой старости, в 1880 году, искренне оплакиваемый семьей и многочисленными друзьями.

Большинство других товарищей Пушкина, упоминаемых в нашем рассказе, достигло на государственной службе "степеней известных": Ломоносов был посланником в Гаге, барон Корф — членом государственного совета и директором Императорской Публичной библиотеки, Корнилов — сенатором, Бакунин — тверским губернатором, Вальховский — бригадным генералом, Матюшкин — адмиралом, Маслов — директором департамента податей и сборов, Малиновский и Данзас — полковниками. Всех их, однако, неизмеримо опередил один — князь Горчаков. Как в лицее он был у всех на виду, ставился всем в пример, так точно и за стенами лицея он выдвинулся впереди всего русского народа, стал первым подданным русского царя — государственным канцлером и министром иностранных дел. Сколько раз судьба России была, можно сказать, в его руках! Сколько раз взоры всей Европы были неотступно устремле-

ны на него! И ему же было суждено пережить всех первенцев лица. Удалившись уже от дел, но сохраняя почетное звание канцлера, он угас от старческой дряхлости 27 февраля 1883 года. Таким образом, к нему, оказывается, относились вещи слова его гениального товарища-поэта:

*Кому ж из нас под старость день
лица
Торжествовать придется одно-
му?
Несчастный друг! Средь новых по-
колений
Докучный гость и лишний, и чу-
жой,
Он вспомнит нас и дни соедине-
ний,
Закрыв глаза дрожащею рукой...*

Профессор лицейстов первого выпуска Кошанский, который, во всяком случае, дал первый толчок их литературному направлению, впоследствии гордился своим гениальным учеником-поэтом. Я. К. Грот в своих школьных воспоминаниях рассказывает об этом, между прочим, следующее:

"Читать с воспитанниками Пушкина еще не было принято и в лицее; его мы читали сами иногда во время классов украдкой. Тем не менее, однако ж, Кошанский раз привез нам на лекцию только что полученную от Пушкина из деревни рукопись — "19 октября 1825 года" ("Роняет лес багряный свой убор...") и прочел нам это стихотворение с особенным чувством, прибавляя к каждой строфе свои пояснения. Только там, где речь зашла о заблуждениях поэта, он довольствовался многозначительной мимикой, которая вообще входила в его приемы. Особенно при стихах:

*Наставникам, хранившим
юность нашу,
Не помня зла, за благо воздадим...*

он дал нам почувствовать, что и Пушкин не во всем заслуживает подражания".

Умер Кошанский в 1831 году в должности директора института слепых в Петербурге; а любимый профессор лицеистов Куницын — в 1840 г. директором департамента духовных дел иностранных исповеданий. Из числа прочих профессоров Гауеншильд ознаменовал

себя переводом на немецкий язык истории Карамзина.

Назвав Карамзина, не можем кстати не упомянуть, что хотя знаменитый историограф имел непосредственное влияние на Пушкина только до 1820 года, после которого им не суждено было уже свидеться, но, как дорог он всегда оставался Пушкину, красноречивее всего говорит текст посвящения "Бориса Годунова":

"Драгоценной для россиян памяти Николая Михайловича Карамзина, сей труд, гением его вдохновенный, с благоговением и благодарностью посвящает Александр Пушкин".

Другой неизменный покровитель и старший друг Пушкина, Жуковский, пережил его 15-ю годами и дал нам подробное, глубоко трогательное описание последних минут его. С восшествием на престол императора Николая I, будучи назначен воспитателем наследника (впоследствии императора) Александра Николаевича, Жуковский до 1840 года почти вовсе отказался от литературы; только с этого времени, сделавшись опять свободным, он мог вернуться к своему любимому занятию и

перевел стихами, между прочим, всю Гомерову «Одиссею». Последнею, лебединою песнью его было, как думают, стихотворение "Царско-сельский лебедь", точно написанное им на самого себя:

*...вновь помолоделый,
Радостно вздымая перья груди белой,
Голову на шею, гордо распрямленной,
К небесам подъявля, весь воспламененный,
Лебедь благородный дней Екатерины
Пел, прощаясь с жизнью, гимн свой лебединый.
А когда допел он, — на небо взглянувши
И крылами сильно дряхлыми
взмахнувши —
К небу, как во время оное бывало,
Он с земли рванулся... и его не стало
В высоте... и навзничь с высоты упал он;
И прекрасен мертвый на хребте лежал он,*

*Широко раскинув крылья, как летящий,
В небеса вперяя взор уж негорящий.*

Подобно Жуковскому, несомненно, конечно, и поэт-дядя, Василий Львович, способствовал развитию таланта молодого Пушкина, хотя не столько своими собственными, довольно слабыми стихами, сколько своим поощрительным примером. Небезынтересно, что Василий Львович, долго сомневавшийся в даровании племянника, впоследствии громче всех прославлял его по всей Москве и сам попытался подражать ему в поэме своей "Капитан Хабров", которую, однако, так и не дописал. Много лет страдая подагрой, он целые дни проводил лежа на диване и в 1830 году с книгой в руках и со словами: "Как скучны статьи Катенина!" — испустил последний вздох.

Свою мать, Надежду Осиповну, Пушкину пришлось схоронить за несколько месяцев только до своей собственной смерти. Во время ее последней болезни сын нежно ухаживал за нею, и тут-то она стала отвечать ему, чуть ли не впервые, такой же беззаветною

материнскою лаской.

Сергей Львович не был в Петербурге во время внезапной кончины сына и (как мы увидим ниже) долго был безутешен. Он дожил до 1848 года и под конец жизни впал в детство.

Младший сын его, Лев Сергеевич, служил некоторое время офицером на Кавказе, вел вообще рассеянную жизнь и пережил отца только пятью годами.

Сестра поэта, Ольга Сергеевна, вышла замуж за лицеиста Павлицева. В последние годы ее занимали исключительно тайны загробной жизни. В молодости она хотя и пописывала недурные стихи, а впоследствии написала свои воспоминания (на французском языке), но в порыве спиритического экстаза, к сожалению, сожгла все свои рукописи. Слепнув и разбитая параличом, она скончалась в 1868 году в кругу своей семьи в Петербурге.

Верная няня Пушкина, Арина Родионовна, разделявшая с ним целые годы сельского одиночества в Михайловском, перебралась вместе с ним в 1826 году в Петербург, где и похо-

ронена в 1828 году.

Теперь нам остается сказать еще только о главном действующем лице нашего правдивого повествования — самом Пушкине. Но это — такая неисчерпаемая тема, что мы волей-неволей ограничимся только самым существенным, прямо относящимся к нашему рассказу.

По мере своего умственного роста Пушкин все живее ощущал недостаток своей научной подготовки для серьезного литературного дела и в 1821 году еще признавался в этом Чаадаеву.

*В уединении мой своенравный ге-
ний
Познал и тихий труд и жажду
размышлений.
Владею днем моим; с порядком
дружен ум;
Учусь удерживать вниманье дол-
гих дум;
Ищу вознаградить в объятиях
свободы
Мятежной младости утрачен-
ные годы
И в просвещении стать с веком*

наравне.

На юге России он стал учиться английскому языку, чтобы читать Байрона в оригинале, начал составлять себе избранную библиотеку, с переездом же в 1824 году в село Михайловское он выписал себе из Петербурга кипы научных книг, стал изучать Шекспира, Тацита, Карамзина и древние летописи русские; делал из них пространные выписки, а на полях писал свои собственные критические заметки, которые впоследствии изумляли знатоков глубокомыслием и деловитостью. Недаром император Николай Павлович после продолжительной беседы с Пушкиным отозвался, что говорил с умнейшим человеком в России!

По возвращении в Петербург Пушкин с удвоенной энергией принялся за грандиозный труд — изучение всех материалов к истории Петра Великого и его преемников. Плодом этих изучений явился, между прочим, несравненный роман "Капитанская дочка".

Особенное усердие и поэтическое вдохновение сходили на поэта осенью. Тогда он нарочно удалялся от света в сельское уедине-

ние, где литературная производительность его в это время года была изумительна. Так, в письме своем к Плетневу из Москвы от 9 декабря 1830 года он сообщает:

"Скажу тебе (за тайну), что я в Болдине писал, как давно не писал. Вот что я привез сюда: две последние главы «Онегина», совсем готовые для печати; повесть, писанную октавами ("Домик в Коломне"); несколько драматических сцен или маленьких трагедий, именно: "Скупой рыцарь", "Моцарт и Сальери", "Пир во время чумы" и "Дон Жуан". сверх того, написал около 30-ти мелких стихотворений. Хорошо? Еще не все (весьма секретное, для тебя единого!): написал я прозою 5 повестей ("Повести Белкина")".

И такая-то масса капитальных произведений была создана в какие-нибудь три месяца! Большую поэму свою «Полтава» он написал тоже осенью (1828 г.), в две недели времени. Точно давно предчувствуя, что нить жизни его разом оборвется, он торопился сделать все, что было в его силах. Он сознавал, что он — "избранник небес", которому свыше предопределено быть «пророком» своего на-

рода:

*Восстань, пророк, и виждь, и
внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей.*

Поговорка, что никто не бывает пророком в своем отечестве, неприменима к Пушкину. Он уже в молодые годы пользовался такою популярностью, что, куда бы он ни показался, везде сбегались глазеть на него, как на диковинного зверя. В одном из писем своих к Дельвигу из Тверской губернии, где он гостил в 1828 году у близких знакомых, он рассказывал о таком забавном случае:

"Соседи ездят смотреть на меня, как на собаку Минуту.[64] Петр Маркович[65] здесь повеселел и уморительно мил. На днях было сборище у одного соседа; я должен был туда приехать. Дети его родственницы, балованные ребятишки, хотели непременно туда же ехать. Мать принесла им изюму, черносливу и думала тихонько от них убраться. Но Петр Маркович их взбудоражил, он к ним прибежал:

— Дети! дети! Мать вас обманывает! Не ешьте черносливу, поезжайте с нею: там будет Пушкин; он весь сахарный, а зад его яблочный; его разрежут — и всем вам будет по кусочку.

Дети разревелись:

— Не хотим черносливу! Хотим Пушкина!

Нечего делать — их повезли, и они сбежали ко мне, облизываясь; но, увидев, что я не сахарный, а кожаный, совсем опешили".

Из множества подобных анекдотов приведем еще только один, где разочарование было на стороне Пушкина. Во время одного из своих странствий по России поэт наш в ожидании, пока на почтовой станции перепрягали лошадей, вошел в общую комнату и потребовал себе обед. Едва он сел за стол, как перед ним очутилась незнакомая барышня, очень милостивая и приличная на вид, и, рассыпаясь в похвалах его таланту, преподнесла ему вышитый кошелек. Польщенный поэт искренне поблагодарил ее, после обеда же сел опять в коляску и покатил далее. Но не отъехал он еще за черту деревни, как его нагнал верховой и остановил экипаж.

— В чем дело? — спросил Пушкин.

— Да ваша милость изволили забыть отдать 10 рублей за кошелек, что купили у барышни, — был ответ.

Пушкин расхохотался и отдал деньги. После он часто рассказывал об этом случае охлаждения его авторского самолюбия.

Как мы уже упомянули, предчувствие близкой смерти явственно тяготило Пушкина на последней лицейской годовщине 1836 года. Еще в апреле того же года, сам отвезя тело умершей матери своей в Псковскую губернию, в Святогорский монастырь, он купил там место и для себя, рядом с ее могилой, и был все время крайне расстроен. Тем же предчувствием смерти веет от его стихотворения, написанного в июне 1834 года:

*Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит,
Летят за днями дни, и каждый час уносит
Частичку бытия; а мы с тобой вдвоем
Предполагаем жить... И глядь — как раз умрем.
На свете счастья нет, но есть по-*

кой и воля.

*Давно завидная мечтается мне
доля —*

*Давно, усталый раб, замыслил я
побег*

В обитель дальнюю трудов и чистых нег.

С вечера 27 января 1837 года по Петербургу сперва смутно, а затем все настоятельнее начал распространяться невероятный, ужасный слух: что Пушкин, великий Пушкин, которого все знали в полном цвете сил, от которого ожидали для родной литературы еще так много, смертельно ранен, что ему остается жить только несколько дней, может быть — несколько часов! Со всех концов столицы и знакомые и незнакомые наперерыв присылали справляться о положении больного. От императора Николая Павловича прискакал еще в полночь к ходившему за умирающим лейб-медику Арендту фельдъегерь с собственноручной запиской, которую Арендт должен был прочесть поэту:

"Если Бог не приведет нам свидеться в здешнем свете, — писал государь, — посылаю

тебе мое прощение и последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся: я беру их на свои руки".

— Я не лягу, буду ждать, — приказал государь словесно передать Арендту.

"Какой трогательный конец земной связи между царем и тем, кого он когда-то отечески присвоил и кого до последней минуты не покинул! — писал потом Жуковский к отцу Пушкина. — Как много прекрасного, человеческого в этом порыве, в этой поспешности захватить душу Пушкина на отлете, очистить ее для будущей жизни и ободрить последним земным утешением. "Я не лягу, я буду ждать".

За несколько часов до кончины Пушкина государь вызвал к себе во дворец Жуковского, чтобы выслушать от него подробности о ходе болезни, и повторил ему то же, что сказал ранее в записке: чтобы Пушкин не беспокоился о судьбе жены и детей.

— Они мои! — заключил он.

— Вот я как утешен! — сказал Пушкин, судорожно поднимая к небу руки, когда выслушал от Жуковского обещание государя. — Скажи государю, что я желаю ему долгого, долго-

го царствования... что желаю ему счастья в его сыне... что я желаю ему счастья в его России...

И как истинно по-царски Николай Павлович сдержал свое слово! Не только с имени Пушкина был снят весь казенный долг, но вдове его была назначена пожизненная пенсия в 5 000 рублей, детям в 6 000 рублей, и, кроме того, на издание сочинений поэта было пожаловано 50 000 рублей.

В последние минуты мысли умирающего возвратились еще раз к его светлой юности, к Царскому Селу.

— Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского! — сказал он со вздохом единственному из бывших при нем лицейских товарищей, Данзасу.

Пуля осталась невынутою; каждая минута неизбежно приближала его к концу.

— Смерть идет... — вдруг промолвил он и затем отрывисто прибавил: — Карамзину!

Было тотчас послано за Екатериной Андреевной Карамзиной, которая, сохраняя к поэту со времен Царского Села теплое материнское чувство, не замедлила прибыть.

— Перекрестите меня! — попросил он ее и поцеловал благословляющую его руку.

Перед наступлением предсмертной агонии он еще раз приласкал жену и затем впал в забытие.

"Друзья, ближние молча окружили изголодавшегося отходящего (рассказывает писатель Даль); я, по просьбе его, взял его под мышки и приподнял повыше. Он вдруг будто проснулся, быстро раскрыл глаза, лицо его прояснилось, и он сказал:

— Кончена жизнь!

Я недослышал и спросил тихо:

— Что кончено?

— Жизнь кончена... — отвечал он внятно и положительно. — Тяжело дышать, давит... — были последние слова его.

Всеместное спокойствие разлилось по всему телу; отрывистое, частое дыхание изменилось в более и более медленное, тихое, протяжное; еще один слабый, едва заметный вздох — и пропасть необъятная, неизмеримая разделила живых от мертвого. Он скончался так тихо, что предстоящие не заметили смерти его..."

Когда узнали в городе, что поэта не стало, квартира его сделалась местом паломничества, к которому в продолжение двух дней отовсюду стекались люди всех званий и состояний, чтобы в последний раз поклониться дорогому праху, взять на память от него хоть лоскуток сюртука, клочок волос. Наиболее горячие почитательницы поэта предусмотрительно запаслись даже ножницами; и к концу второго дня длинный сюртук усопшего обратился как бы в куртку, а волосы на голове и бакенбарды оказались остриженными крайне неровно. Чтобы при входе и выходе посетителей наблюдать хотя известную очередь, пришлось поставить полицию; во избежание же чрезмерного скопления публики на похоронах отпевание, назначенное было в Исаакиевском соборе под утро, в 3-м часу ночи, было внезапно отменено, и тогда же тело было перенесено в Конюшенную церковь. Но это ни к чему не повело. Ко времени отпевания вся площадь перед церковью, весь Невский проспект вплоть до Аничкова моста были запружены народом, а в самой церкви, куда впускали не иначе как по билетам, была

страшная давка.

Когда после отпевания гроб подняли, вынесли из церкви, поставили на катафалк, когда сквозь море голов шаг за шагом двинулась погребальная колесница с бесчисленной вереницей карет, — вдруг все разом запнулось: несколько человек наклонилось над высоким мужчиной, который в истерических рыданиях упал посреди дороги. То был один из друзей покойного, такой же поэт — князь Вяземский.

Вечером того же дня саксонский посланник Люцероде, у которого назначен был бал, объявил съехавшимся гостям:

— Нынче были похороны Пушкина: у меня не будут танцевать.

Отвезти тело усопшего на место последнего успокоения — в Святогорский монастырь — взялся верный покровитель его детства, Александр Иванович Тургенев, которому, таким образом, выпало на долю устроить и первую, и последнюю участь поэта.

Взрыв негодования, озлобления против убийцы народного гения был, понятно, всеобщий. Но ни у кого не поднялась на него рука,

когда стала известной предсмертная воля Пушкина, действительно выраженная им Данзасу:

— Требую, чтоб ты не мстил за мою смерть: прощаю ему и хочу умереть христианином.

Какое впечатление произвела смерть поэта на отца его и брата, видно из письма Сергея Львовича по поводу присланного ему князем Вяземским портрета сына в гробу, на который старик отец не мог решиться взглянуть.

"У меня недостает на это духу (писал он) и, вероятно, долго не достанет. И это не потому, чтобы я боялся возобновить мою скорбь: ужасная потеря, мною понесенная, дает мне знать себя теперь еще сильнее (если только это возможно), нежели в то время, когда я получил о ней страшное известие. Время не ослабляет, а только усиливает мою горечь: с каждым днем моя тоска становится резче и мое уединение чувствительнее. Насильственная кончина такого сына, каков мой, не принадлежит к числу обыкновенных несчастий. Для меня она была вне всякого вероятия... Я

получил письмо от Льва (младшего сына): он в отчаянье, и я за него трушу".

Едва ли менее был потрясен роковою вестью Пущин, находившийся в то время за тысячи верст от Петербурга.

"Слушая этот горький рассказ (пишет он в своих воспоминаниях), я сначала решительно как будто не понимал слов рассказчика: так далеко была от меня мысль, что Пушкин должен умереть в цвете лет, среди живых на него надежд. Это был для меня громовой удар из безоблачного неба: ошеломило меня, а вся скорбь не вдруг сказалась на сердце. Во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина, об общей нашей потере; но в итоге выходило одно: что его не стало и что не воротить его! Провидение так решило; нам остается смиренно благоговеть пред его определением..."

Романист Бестужев, писавший под именем Марлинского, узнал о смерти Пушкина, живя на Кавказе, и целую ночь напролет после этого известия не мог заснуть, а на рассвете собрался в отдаленный монастырь Св. Давида, построенный на крутой горе.

"Придя туда (рассказывает он в письме к брату), я призвал священника и попросил отслужить панихиду над могилой Грибоедова, над могилой поэта, попоранною святотатственными ногами, без камня, без надписи! Я плакал тогда, как плачу теперь, — плакал горячими слезами, плакал над другом и товарищем по жизни, оплакивал самого себя! А когда священник запел: "за убиенных боляр Александра и Александра", я чуть не задохся от рыданий: этот возглас показался мне не только поминовением, но и предсказанием". [66]

Подобно Бестужеву-Марлинскому, не было почти писателя в России, который так или иначе не почтил бы память гениального собрата. Жуковский, Тютчев, Губер, Полежаев и даже сатирик Воейков излили скорбь свою в прочувствованных стихах; а молодой Лермонтов, до тех пор никому еще не известный поэт, своим пламенным стихотворением на смерть Пушкина разом упрочил себе литературное имя. Подолинский в Одессе посвятил памяти Пушкина одну из лучших своих крымских элегий, а Кольцов — свое прекрас-

ное стихотворение «Лес», в котором иносказательно говорит о самом погибшем поэте:

*Где ж девалася
Речь высокая,
Сила гордая,
Доблесть царская?
С богатырских плеч
Сняли голову —
Не большой горой,
А соломинкой.*

Давнишний приятель Пушкина — польский поэт Мицкевич в Париже отозвался некрологом во французском журнале "Le Globe"; наконец, даже персидский стихотворец Мирза Фахт Али (Ахундов) оплакал кончину мирового поэта в небольшой поэме на родном своем языке.

Теперь, когда со дня горестного события протекло более полустолетия, внезапность впечатления, естественно, исподволь сгладилась. Тем не менее, во всех случаях, когда приходится чувствовать память нашего великого поэта, чувствования эти принимают всенародный торжественный характер. Так было при открытии в 1880 году памятника ему

в Москве; так было в 50-летнюю годовщину смерти его, 29 января 1887 года, и в 100-летнюю годовщину дня его рождения, 26 мая 1899 года. Потомство, очевидно, оценило в нем и поэта, и учителя: дав нам неисчерпаемый клад умственных наслаждений, он вместе с тем первый научил нас писать неприторченную правду о русской жизни русским языком.

Заветное желание, выраженное им в известной элегии: "Брожу ли я вдоль улиц шумных...", исполнилось: тело его покоится "близ милого предела", в соседстве села Михайловского, на кладбище Святогорского монастыря, рядом с его матерью и родителями ее Ганнибалами; а вокруг него "сияет вечною красою равнодушная природа": белая пирамида его могильного памятника, окруженная зеленью, высоко возвышается над нивами и лугами, расстилающимися по ту сторону монастырской ограды. Далее же, к Михайловскому, виднеется та самая роцца, которую некогда так радушно приветствовал наш поэт:

*...Здравствуй, племя
Младое, незнакомое! Не я*

*Увижу твой могучий поздний воз-
раст,
Когда перерастешь моих знаком-
цев,
И старую главу их заслонишь
От глаз прохожего...*

Молодое незнакомое племя — это мы, его поздние потомки. Но о том, чтобы кому-нибудь из нас перерасти его, не может быть и речи; дай Бог нам хоть настолько дорасти до него, чтобы вполне уразуметь его, проникнуться его чистой поэзией, просветленной умом и правдой:

*Да здравствуют музы, да здрав-
ствует Разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и
тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скро-
ется тьма!*

ПРИМЕЧАНИЯ

*Впервые — в журнале «Родник». 1887.
№ 1-10; отд. издание — СПб., 1888.*

С. 171. *Нельзя ли позвать ко мне пансионера Льва Пушкина?* — Младший брат А. С. Пушкина Лев Сергеевич (1805–1852) был принят в Благородный пансион при Царскосельском лицее, основанный в 1813 г. лицейским профессором Федором Матвеевичем Гауеншильдом (?-1830). Пушкин относился к младшему брату покровительственно, как это было принято в лицейской среде, в то время как Левушка навсегда сохранил восторженное любованье и братом, и его поэзией.

С. 174. *...Суворочка ему в этом отношении ничуть не уступит...* — Суворочкой звали в лицее Владимира Дмитриевича Вольховского (Вальховского; 1798–1841), окончившего лицей с первой золотой медалью. Он был выпущен прапорщиком в гвардию. С 1831 г. генерал-майор, обер-квартирмейстер, начальник штаба Отдельного кавказского корпуса. Был членом декабристских обществ "Союз спасе-

ния" и "Союз благоденствия". Пушкин переписывался с ним, посылал ему свои сочинения, в частности в 1835 г. — "Историю Пугачевского бунта".

...по толстейшему тому словаря Гейма. — Иван Андреевич Гейм (1758–1821), автор "Словаря немецко-русско-французского" и др.

С. 177. *...граф Растрелли обессмертил себя... постройкой...* — русский архитектор Варфоломей Варфоломеевич Растрелли (1700–1771), работавший в стиле барокко. Построил в Царском Селе Екатерининский дворец (1752–1757), в Петергофе — Большой дворец и в Петербурге — Смольный монастырь. Сын скульптора Бартоломео Карло Растрелли (1675–1744), итальянца, работавшего в России.

С. 178. *...у вас здесь сильно "зажурналилось"...* — В этой фразе Державина отразилось бурное увлечение лицеистов сочинительством, которое нашло выход в создании многочисленных рукописных журналов, сборников, антологий (сохранившиеся тексты были опубликованы в книге Я. К. Грота "Пушкинский лицей". СПб., 1911). Назовем основные из них: "Императорского Царскосельского лицея

вестник" (№ 1, 3 декабря 1811), "Для удовольствия и пользы" (12 номеров, 1812–1813), "Неопытное перо" (1812), "Юные пловцы" (1813), "Лицейский мудрец" (1813, 1815), «Мудрец-поэт» (1813, 1814), "Лицейская антология" (1816), "Дух лицейских трубадуров" (1817).

Данзас — типографщик... — Константин Карлович *Данзас* (1801–1870) — лицеист первого выпуска, издававший рукописный журнал "Лицейский мудрец"; кадровый военный, вышедший в отставку в 1856 г. в чине генерал-майора. Был секундантом Пушкина на его последней дуэли, за что был предан суду и отправлен в действующую армию на Кавказ. Умиравший поэт беспокоился о судьбе друга, отдал ему на память свое кольцо с бирюзой.

С. 179. *Горгона* какая-нибудь? — В греческой мифологии Горгоны — чудовищные порождения морских божеств, три сестры: Сфено, Эвриала и Медуза. Головы их были покрыты вместо волос змеями, тела в чешуе, во рту клыки; все живое они своим взором превращали в камень.

...княгиня Кантакузен... — Елена Михайловна Горчакова, в замужестве *Кантакузен*

(1794–1854), сестра лицеиста А. М. Горчакова. По утверждению И. И. Пущина, ей адресуется стихотворение Пушкина "Красавице, которая нюхала табак" (дата написания мадригала совпадает с датой ее посещения лицея — 12 апреля 1814 г.).

С. 183. ...*Комовский* Сергей Дмитриевич (1798–1880) — лицеист первого выпуска, ставший чиновником департамента народного просвещения.

С. 185. ...*присланного к графу Милорадовичу...* — Михаил Андреевич Милорадович (1771–1825) — генерал от инфантерии. В Отечественную войну ему было доверено возглавить авангард русских войск, преследовавший отступающих французов. Петербургский генерал-губернатор; 14 декабря 1825 г. был смертельно ранен на Сенатской площади П. Г. Каховским. Милорадович имел репутацию "великодушного рыцаря".

С. 188. *Матюшкин* Федор Федорович (1799–1872) — лицеист первого выпуска, ставший адмиралом и сенатором.

С. 189. *Предатели друзья...* — Поздняя редакция строки — *изменники друзья*.

"Вестник Европы", издававшийся... Измайловым Александром Ефимовичем (1779–1831). Поэт-сатирик, прозаик, критик Измайлов издавал также журнал «Благонамеренный», печатался в пушкинской "Литературной газете".

С. 192. Александр Иванович Галин (1783–1848) — любимец лицеистов, преподававший им русскую словесность и латынь. Впоследствии — профессор Петербургского университета, обвиненный в 1821 г. в числе других за то, что их лекции являют собой "обдуманную систему неверия и правил зловерных и разрушительных".

...именины-то их... приходятся на преподающего Антония Римлянина... — Антоний Римлянин (1067–1147) — основатель Новгородского монастыря (1106). Родом из Рима, сын богатых православных греков. День его памяти Церковь отмечает 3(16) августа.

...за три дня до большого Спаса... — т. е. до первого (из трех) Спаса (медового) — праздника, отмечаемого Церковью 1(14) августа. По преданию, именно в этот день в 988 г. крестился князь Владимир. Вторым, или яблочным, Спасом именуют праздник Преображе-

ния, отмечаемый 6(19) августа, а третьим, или Спасом на полотне, — праздник "перенесения из Едессы в Константинополь нерукотворного образа Господа Иисуса Христа".

С. 199. *Вы помните, как наш Агамемнон...* — В эпитафии цитируются строки из стихотворения Пушкина "Была пора: наш праздник молодой...", написанного к 25-летию основания лицея. *Наш Агамемнон* — Александр I, названный так по имени могущественного греческого царя, который возглавил войска греческих государств в Троянской войне.

С. 207. *Это Нелединский...* — Юрий Александрович *Нелединский-Мелецкий* (1752–1828) — поэт, сочинявший сентиментальные подражания народным песням.

Новейшей поэтессе нашей, госпоже Бунинной... — См. примеч. к с. 145.

С. 208. *Музыка — Бортнянского, Кавоса, Антолини...* — Дмитрий Степанович *Бортнянский* (1751–1825) — композитор, мастер хорового письма а капелла, создатель русского хорового концерта нового типа Катерино *Кавос* (1775–1840) — композитор, дирижер; по национальности итальянец; с 1799 г. работал в Пе-

тербурге. Фердинанд Антонолини (ум. в 1824) — придворный капельмейстер; вместе с отцом сочинял оперы, ставившиеся в Петербурге: "Карачун, или Старинные диковинки", "Ломоносов, или Рекрут-стихотворец". Вместе с Кавосом Антонолини написал оперы «Жарптица» и "Семела, или Мщение Юноны".

С. 225. ...*со слов Мерзлякова...* — Алексей Федорович Мерзляков (1778–1830) — поэт, критик, переводчик, теоретик литературы; профессор Московского университета; автор знаменитого цикла «народных» песен: "Среди долины ровные...", "Не липочка кудрявая...", "Чернобровый, черноглазый..." и др.

С. 227. *Аблесимова "Мельник"* — Александр Онисимович Аблесимов (1742–1783) — поэт, автор либретто популярной комической оперы "Мельник — колдун, обманщик и сват" (муз. М. М. Соколовского), а также басен и сатирических стихов.

С. 228. ...*в патриотической пьесе Висковатова "Ополчение"...* — Степан Иванович Висковатов (1786–1831) — драматург, поэт, переводчик. Триумфальный успех имела его драма "Всеобщее ополчение", поставленная в

день, когда пришла весть о Бородинской битве — 30 августа 1812 г. Позже Висковатов стал автором доноса на А. С. Пушкина в III отделение.

С. 237. *Молодой талантливый писатель Дашков Дмитрий Васильевич (1789–1839) — критик, прозаик, переводчик. Один из основателей и теоретиков кружка «карамзинистов» "Арзамас"; подверг убедительной критике филологическую концепцию архаистов А. С. Шишкова и А. А. Шаховского. С 1832 г. — министр юстиции.*

Гнедич Николай Иванович (1784–1833) — поэт, автор перевода «Илиады» Гомера, о котором Пушкин отозвался в печати дважды — рецензией в "Литературной газете" и двустихием "На перевод "Илиады":

*Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи;
Старца великого тень чую смущенной душой.*

Злую свою эпиграмму на этот же перевод устыдившийся Пушкин в рукописи старательно зачеркнул:

*Крив был Гнедич поэт, преложив-
ший слепого Гомера,
Боком одним с образцом схож и
его перевод.*

...князь *Шаховской* Александр Александрович (1777–1846) — поэт, драматург; активный член "Беседы любителей русского слова". Руководил много лет драматической труппой и театральным училищем в Петербурге. Среди его учеников такие знаменитости, как Е. С. Семенова и В. А. Каратыгин. Написал более ста пьес.

С. 238. *Другими тремя были Державин, А. С. Хвостов и Захаров* — поэт Гаврила Романович *Державин* (1743–1816), поэт и переводчик Александр Семенович *Хвостов* (1753–1820) и прозаик, переводчик Иван Семенович *Захаров* (7-1846).

Но знает бедный Глазунов... — Иван Петрович *Глазунов* (1762–1831) — владелец книжной лавки в Петербурге (с 1788 г.), брат Матвея Петровича *Глазунова* (1757–1830) — основателя издательской и книготорговой фирмы в Москве и Петербурге. Это предприятие *Глазуновых* издавало и продавало книги до

1917 г.

С. 244. *Вот он, приют гостеприимный...* — В эпиграфе цитируются стихи из письма А. С. Пушкина к Якову Николаевичу Толстому (1791–1867), офицеру, приятелю поэта, члену общества "Зеленая лампа" (филиала "Союза благоденствия").

С. 245. "Пирующие студенты". — Стихотворение Пушкина, позднее названное "К студентам", цитируется по ранней редакции.

С. 259. *...российского Орфея — певца Фелицы.* — Имеется в виду Державин, автор знаменитых од «Фелица» и "Благодарность Фелице", адресованных Екатерине II. Имя Фелица заимствовано из "Сказки о царевиче Хлоре", автором которой была императрица (образовано от лат. *felicitas* — счастье).

С. 264. *Сергей Тимофеевич Аксаков* (1791–1859) — прозаик, поэт, драматург, критик. Будущий славянофил начинал с участия в заседаниях "Беседы любителей русского слова". Автор "Записок об ужении рыбы", "Записок ружейного охотника Оренбургской губернии", автобиографической повести "Детские годы Багрова-внука".

С. 265. ...*Мирный, благосклонный...* — Из стихотворения "Он между нами жил..." (1834), обращенного к польскому поэту Адаму Мицкевичу (1798–1855).

С. 267. ...*граф Хвостов Дмитрий Иванович* (1757–1835) — сенатор, поэт; автор высокопарных од, посредственность которых стала мишенью для многих эпиграмм. В «Записках» Ф. Ф. Вигеля о нем говорится так: "Вошло в обыкновение, чтобы все молодые писатели об него оттачивали перо свое, и без эпиграммы на Хвостова как будто нельзя было вступить в литературное сословие".

С. 269. *Александр Федорович Воейков* (1779–1839) — поэт, критик, издатель журналов "Сын Отечества" (с. Н. И. Гречем в 1821–1822 гг.), "Русский инвалид" (1822–1838), «Славянин» (1827–1830). Член «Арзамаса», союзник А. С. Пушкина в борьбе против Булгарина и Греча.

Да всю нашу пишушую братию: Карамзина, Батюшкова, Кутузова, Шаликова... — Названы историк, прозаик Н. М. Карамзин, поэт Константин Николаевич Батюшков (1787–1855), писатель, переводчик Алексей

Михайлович *Кутузов* (1749–1797), поэт, прозаик и журналист Петр Иванович *Шаликов* (1767–1852), редактор и издатель газеты "Московские ведомости", журналов "Московский зритель", «Аглая», "Дамский журнал".

С. 272. ...сходство с *Вальтер-Скоттовой* "Девой озера"... — *Вальтер Скотт* (1771–1832) — английский исторический романист, самый популярный в России с начала прошлого века. "Читаю романы В. Скотта, от которых в восхищении", — писал жене А. С. Пушкин из Михайловского 25 сентября 1835 г.

С. 275. *Стерн* (1713–1768) — английский писатель-сентименталист.

Блудов Дмитрий Николаевич, граф (1785–1864) — литератор, дипломат, государственный деятель. Его сатирическое "Видение в какой-то ограде", осмеивающее комедию А. А. Шаховского "Урок кокеткам, или Липецкие воды", стало поводом для основания «Арзамаса» и явилось его первым программным документом. В 1839–1862 гг. *Блудов* — главноуправляющий Вторым отделением, президент Академии наук, председатель Государственного совета и Кабинета министров.

С. 276. ...*Кирши Данилова древнерусская былина...* — *Кирша Данилов* (Кирилл Данилович) — предполагаемый составитель первого сборника русских былин (издан в 1804 г.), певец-импровизатор, записавший свой репертуар на горнозаводском Урале в 1742 г.

С. 281. ...*по приглашению Уварова...* — Сергей Семенович *Уваров* (1786–1855) — с 1818 г. президент Академии наук, с 1834 г. министр народного просвещения. В молодости был членом «Арзамаса». Впоследствии — злейший враг А. С. Пушкина (поэт считал его низким, льстивым и коварным).

С. 306. ...*двое непрошенных гостей* — *граф Броглио и Тырков* — лицеисты Сильверий Францевич *Броглио* и Алексей Дмитриевич *Тырков* (1799–1843).

С. 311. ... *"настоящий"* директор — *Энгельгардт* Егор Антонович (1775–1862), возглавивший лицей после смерти В. Ф. Малиновского.

С. 316. ...*родственница* — *вдова Мария Смит...* — Мария Николаевна *Смит*, урожд. Шарон-Лароз, француженка, которая нашла приют в семье Энгельгардтов. Режиссировала в лицейских спектаклях Пушкин посвятил ей

стихотворение "К молодой вдове" (1817), обидевшее ее. Это стало причиной охлаждения директора лицея к Пушкину. В том же году поэт написал другое стихотворение, на французском языке ("Куплеты"), на которое получил ответное, примирительное послание Марии Смит — "Г-ну Пушкину". Вот его первая строфа (в переводе с французского):

*Когда я вижу ваши, сударь,
Стихи, написанные с таким изя-
ществом,
Я безропотно и чистосердечно
склоняюсь
Уступить вам тотчас же место.
Ваш талант без больших усилий
Решительно мой затмевает.*

С. 321. ...получить из Москвы русские стихи Шапеля и Буало... — Из письма Пушкина к П. А. Вяземскому от 27 марта 1816 г. Под русскими стихами французов Пушкин имеет в виду стихи самого Вяземского (в другом письме он именует его "Шапель Андреевич"). *Шапель* (наст. имя Клод Эмманюэль Люиллье; 1626–1686) — французский поэт. *Никола Буало-Депрео* (1636–1711) — французский поэт,

критик и теоретик классицизма.

С. 332. *"Лициний" твой, точно, очень недурен...* — Лицейское стихотворение Пушкина «Лицинию» (1815). *Лициний* (ок. 250–325) — римский император.

С. 337. *...давила его, как Этна Энцелада.* — *Энцелад* (Энкелад) — один из гигантов, вступивших в борьбу с богами; был убит Зевсом и погребен (придавлен) под горой-вулканом Этна в Сицилии.

С. 338. *...низложи сего Пифона...* — В греческой мифологии Пифон (Дельфиний) — чудовищный змей, рожденный землей Геей. Опустошал окрестности Дельф. Аполлон убил Пифона, основал храм на месте прорицалища, охранявшегося змеем, и учредил Пифийские игры.

С. 339. *Онагр (греч.)* — вид катапульты, осадного орудия. *Халдеи* — древние племена, жившие в 1-й половине 1-го тысячелетия в Южной Месопотамии.

...голос Резвого кота — *Северина*. — Дмитрий Петрович *Северин* (1792–1865) — литератор, член «Арзамаса»; впоследствии дипломат.

С. 340. *Ведомый божественным Вергилием в подземных подвалах Плутона и Прозерпины...* — Имеется в виду шестая книга эпической поэмы Вергилия «Энеида», повествующая о нисхождении Энея в преисподнюю — своего рода апокалипсис о тайнах загробного мира. *Плутон* — в греч. мифологии одно из имен бога — владыки царства мертвых. *Прозерпина* (Персефона) — дочь Зевса и Деметры, супруга Аида, царица преисподней.

...достойной беседных Анакреонов... - т. е. поэтов из "Беседы любителей русского слова". *Анакреон* (Анакреонт; ок. 587–487 до н. э.) — древнегреческий лирик из малоазийского города Теоса. Пушкин называл его также "Теосским мудрецом" и "певцом Тиисским".

С. 341. *... новою речью Кассандры-Блудова.* .. — В «Арзамасе» Блудову присвоили прозвище Кассандра по имени легендарной красавицы прорицательницы, предсказаниям которой никто не верил.

Асмодей — князь Вяземский... — Арзамасское прозвище П. А Вяземского заимствовано из баллады В. А Жуковского «Громобой». В иудаистских легендах Асмодей — демониче-

ское существо, адский дух.

С. 342. ...перейдя к длинноухим Мидасам "Беседы"... — В греч. мифологии царь Фригии Мидас, будучи судьей на музыкальном состязании между Аполлоном и Паном, признал победителем Пана. За это Аполлон наделил Мидаса ослиными ушами, которые царь прятал под фригийской шапочкой (колпаком).

С. 353. ...усача лейб-гусара, Петра Яковлевича Чаадаева... — Автор знаменитых "Философических писем" Чаадаев (1794–1856) в 1812 г. вступил в лейб-гвардию и участвовал в Бородинском сражении, а также совершилграничный антинаполеоновский поход. Встречался с Пушкиным, высоко ценил его "грациозный гений". В свою очередь и поэт признавал благодатное нравственное воздействие Чаадаева на формирование своей личности.

С. 354. ...воображал себя то маленьким Сципионом... — В Древнем Риме Сципионы — одна из ветвей рода Корнелиев, к которому принадлежали видные полководцы. Здесь имеется в виду Сципион Старший (ок. 235 — ок. 182 до н. э.), разгромивший во Второй Пунической войне войска Ганнибала при Заме в

202 г.

С. 355. ...*германский поэт Виланд* Кристоф Мартин (1733–1813) — писатель эпохи немецкого Просвещения, автор сатирического романа "История абдеритов", фантастической поэмы «Оберон» и др.

С. 356. *Лафатер* Иоганн (1741–1801) — швейцарский писатель-моралист; *Боннет* (Бонне) Шарль (1720–1793) — швейцарский философ и естествоиспытатель.

С. 359. *Саади* (псевд.; наст, имя Муслихаддин Абу Мухаммед Абдаллах ибн Мушрифаддин; между 1203–1210) — персидский поэт, прозаик, мыслитель.

С. 363. *Нынче Каверин опять звал...* — Петр Павлович Каверин (1794–1855) — бывший студент Геттингенского университета, поручик лейб-гвардии Гусарского полка, друживший с Пушкиным в 1816–1817 гг. Впоследствии — член "Союза благоденствия", но активной роли в нем не играл и потому после восстания декабристов "высочайше повелено оставить без внимания".

С. 369. ...*под главным наблюдением генерала...* Левашова Василия Васильевича

(1783–1848), графа, руководителя обучения лицейцев верховой езде. В 1826 г. Левашов — член Следственной комиссии по делу декабристов.

Вот мой камин; под вечер темный... — Цитируются отрывки из "Послания к Юдину". Виланд Кристофор Мартин (1773– 813) — немецкий поэт и прозаик.

С. 375. *Он в Риме был бы Брут, в Афинах — Периклес...* — Четверостишие Пушкина называется "К портрету Чаадаева". Брут Луций Юний (VI в. до н. э.) — римский патриций, "основатель римской свободы" (Тит Ливий), возглавивший восстание против Тарквиния Гордого, после которого в Риме установился республиканский строй. Периклес (Перикл; ок. 490–429 до н. э.) — вождь демократов в Афинах.

С. 379. *Ах! Умолчу ль о мамушке моей...* — Эту часть стихотворения «Сон», как считает Авенариус и некоторые исследователи, Пушкин посвятил няне Арине Родионовне Яковлевой. Однако сестра поэта О. С. Павлицева (как и современные пушкинисты) утверждает, что они адресованы его бабушке — М. А.

Ганнибал.

С. 397. ...некая княжна Волконская Варвара Михайловна (1781–1865) — фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны (1779–1826), жившая во дворце, рядом с лицеем, где у лицейстов проводились уроки музыки,

С. 400. Князь Волконский Петр Михайлович (1776–1852) — фельдмаршал, министр при дворе Александра I и Николая I. Был женат на сестре декабриста С. Г. Волконского Софье Григорьевне (1786–1868), которая совершила мужественный поступок: презрев условности, ездила к брату, сосланному в Сибирь.

С. 403. ...барон Корф Модест Андреевич (1800–1876), впоследствии граф. С 1831 г. — управляющий делами Комитета министров, статс-секретарь. Принадлежал к группе лицейстов, не входивших в крут близких друзей Пушкина. Однако в 30-е годы помогал поэту в сборе материалов по истории Петра I. Автор «Воспоминаний» (Русская старина. 1904, т. 118), в которых дал характеристики большинству лицейстов. О Пушкине отзывался крайне недоброжелательно и зло.

С. 404. Спартанскою душой пленяя нас... —

Цитируемые Авенариусом в сноске строки были в первоначальной белой редакции стихотворения, но в окончательный текст поэт их не ввел. После первой строфы, заканчивающейся стихом "Минутные забвенья горьких мук", следовали строфы, очень интересные для нас:

*Товарищи! Сегодня праздник наш.
Заветный срок! Сегодня там, дале-
че,
На пир любви, на сладостное вече
Стеклися вы при звоне мирных
чаш.
Вы собрались, мгновенно моло-
дея,
Усталый дух в минувшем обно-
вить,
Поговорить на языке лица
И с жизнью вновь свободно поша-
лить.
На пир любви душой стремлюся
я...
Вот вижу вас, вот милых обни-
маю.
Я праздника порядок учреждаю...
Я вдохновен, о, слушайте, друзья:
Чтоб тридцать мест нас ожида-*

ли снова!
Садитесь, как вы садились там,
Когда места в тени святого кро-
ва
Отличие предписывало нам.
Спартанскою душой пленяя нас,
Воспитанный суровою Минервой,
Пускай опять Вальховский сядет
первый,
Последним я, иль Брогльо, иль
Данзас.
Но многие не явятся меж нами...
Пускай, друзья, пустеет место их.
Они придут: конечно, над водами
Иль на холме под сенью лип гу-
стых
Они твердят томительный урок,
Или роман украдкой пожирают,
Или стихи влюбленные слагают,
И позабыт пулуденный звонок.
Они придут! — за праздные прибо-
ры
Усядутся; напелят свой стакан,
В нестройный хор сольются раз-
говоры,
И загремит веселый наш пеан.

Пеан (греч.: гимн) — в Древней Греции — заклинательная песнь, обращенная к богу

Аполлону; стихотворное восхваление.

После девятой строфы следовали строки, посвященные И. В. Малиновскому:

*Что ж я тебя не встретил тут
же с ним,
Ты, наш казак и пылкий и незлоб-
ный,
Зачем и ты моей сени надгробной
Не озарил присутствием своим?
Мы вспомнили б, как Вакху прино-
сили
Безмолвную мы жертву в первый
раз,
Как мы впервой все трое полюби-
ли,
Наперсники, товарищи проказ...*

Все трое полюбили... — Пушкин, Пущин и Малиновский влюбились в Екатерину Павловну Бакунину, в замужестве Полторацкую (1795–1869), сестру лицеиста А. П. Бакунина. Она была художница и фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны.

После стиха "Он взял Париж, он основал лицей" шло четверостишие, посвященное самому любимому преподавателю:

*Куницыну дань сердца и вина!
Он создал нас, он воспитал наш
пламень,
Поставлен им краеугольный ка-
мень,
Им чистая лампада возжена...*

С. 407. "К товарищам перед выпуском". — В поздней редакции стихотворение получило название "Товарищам".

С. 410. *Есаков Семен Семенович* (1798–1831) — один из лучших лицейстов, подававший большие надежды. Покончил жизнь самоубийством.

...Саврасову... — *Петр Федорович Саврасов* (1799–1830) — лицейст первого выпуска.

С. 413. *Знаешь, как у Шиллера...* — *Иоганн Кристоф Фридрих Шиллер* (1759–1805) — великий немецкий поэт, драматург, теоретик искусства и историк.

С. 418. *...начинающий также поэт Баратынский* (Боратынский) *Евгений Абрамович* (1800–1844), за творческим восхождением которого внимательно следил Пушкин. От их переписки сохранились только три письма Баратынского. Поэты часто встречались, осо-

бенно в конце 1820-х годов, после возвращения Пушкина из ссылки в Москву осенью 1826 г. Но в 30-е годы настало труднообъяснимое взаимное охлаждение. Однако, узнав о гибели Пушкина, Баратынский пишет П. А. Вяземскому: "...Я потрясен глубоко и со слезами, ропотом, недоумением беспрестанно себя спрашиваю: зачем это так, а не иначе?.. В какой внезапной неблагоприятности к возникающему голосу России провидение отвело око свое от поэта, давно составлявшего ее славу и еще бывшего (что бы ни говорили злоба и зависть) ее великою надеждою?.."

С. 421. ...*Пушкин о капитане Преображенского полка Павле Александровиче Катенине (1792–1853).* — Катенин позже стал прозаиком, критиком, деятелем раннего декабризма. Переписывался с Пушкиным, посвятившим ему несколько посланий. В феврале 1826 г. поэт уважительно пишет ему: "Голос истинной критики необходим у нас, кому же, как не тебе, забрать в руки общее мнение и дать нашей словесности новое, истинное направление... Многие (в том числе и я) много тебе обязаны; ты отучил меня от односторонности в

литературных мнениях, а односторонность есть пагуба мысли".

С. 422. ...*генерал Орлов* Алексей Федорович (1786–1861) — князь, генерал от кавалерии, убедивший Пушкина не поступать после лицей в военную службу. Орлов — участник подавления восстания декабристов. В 1844–1856 гг. — шеф жандармов, в 1856–1860 гг. — председатель Государственного совета и Кабинета министров.

...переводя *алеманнского поэта Гебеля*... — Иоганн Петер Гебель (Хебель; 1760–1826) — немецкий поэт и прозаик, автор сборника "Алеманнские стихи". Жуковский сделал восемь переводов из Хебеля, высоко оцененных В. Г. Белинским. *Алеманны* (швабы) — германское племя. Алеманнами иногда называют немцев.

С. 424. ...*счастлив, как Поликрат*... — Поликрат (VI в. до н. э.) — самосский тиран. По легенде, рассказанной Геродотом, Поликрат, чтобы избежать расплаты за дарованное ему безмерное счастье, кинул в море любимый перстень, но перстень чудесным образом вернулся к царю.

С. 425. ...*министр Дмитриев Иван Иванович* (1760–1837) — поэт и государственный деятель. С 1806 г. — сенатор, с 1810 — член Государственного совета и министр юстиции. Выступил с отрицательным отзывом о "Руслане и Людмиле" Пушкина, что вначале испортило их отношения, восстановившиеся в 30-е годы.

Батюшков, прочитав послание Пушкина к Юшкову... — Такого послания у Пушкина нет. Очевидно, имеется в виду "Послание к Юдину" (1815). *Юдин Павел Михайлович* (1798–1852) — приятель Пушкина в лицейские годы.

...у Жуковского, который... проживал в семействе своего деревенского приятеля А. А. Плещеева. — *Александр Алексеевич Плещеев* (1778–1862) — родственник Н. М. Карамзина, театрал-любитель и композитор-дилетант, положивший на музыку много стихотворений Жуковского.

С. 429. ...*покойный академик наш. Я. К. Грот.* — *Яков Карлович Грот* (1812–1893) — языковед, историк литературы, переводчик. В 1823–1826 гг. учился в Царскосельском лицейском пансионе, а в 1826–1832 гг. — в лицее, ко-

торый окончил с золотой медалью. Автор книг "Пушкин, его лицейские товарищи и наставники" (СПб., 1887), "Пушкинский лицей. 1811–1817. Бумаги 1-го курса" (СПб., 1911) и др.

С. 430. *Стевен Федор Христианович* (1797–1851) — лицеист первого выпуска.

Тамбур-мажор — унтер-офицер, руководивший в полку командой барабанщиков и горнистов.

С. 432. *Оленин Алексей Николаевич* (1763–1843) — историк и художник, директор Императорской Публичной библиотеки; с 1817 г. — президент Академии художеств, член Государственного совета.

С. 433. ...*ездил я к Салтыкову* Михаилу Александровичу (1767–1851). *Салтыков* — отец жены А. А. Дельвига; сенатор, почетный опекун Московского опекунского совета.

С. 433–434. ...*провел я день с Нащокиным...* — Павел Воинович *Нащокин* (1801–1854) — один из ближайших друзей Пушкина; учился с его братом в Благородном пансионе при Царскосельском лицее. Воспоминания Нащокина о Пушкине записал и издал П. И. Барте-нев ("Рассказы о Пушкине, записанные со

слов друзей", вошли в кн.: *Бартенев П. И. О Пушкине*. М., 1992). Бартенев также автор книг и публикаций "Пушкин в Южной России. Материалы для биографии" (1862, 1914), "Бумаги А. С. Пушкина" (1881), "К биографии А. С. Пушкина" (1885).

С. 437. *В сообществе с князем Одоевским...* — Владимир Федорович *Одоевский* (1803 или 1804–1869) — прозаик, музыкальный критик; председатель "Общества любомудрия". В 1824–1825 гг. вместе с В. К. Кюхельбекером издавал альманах "Мнемозина".

С. 443. *Петр Маркович* Полторацкий (ок. 1775 — после 1851) — отставной подпоручик, отец Анны Петровны Керн (во втором браке Марковой-Виноградской; 1800–1879), которой Пушкин посвятил свое знаменитое стихотворение "Я помню чудное мгновенье...".

С. 445. ... *лейб-медику Арендту...* — Николай Федорович *Арендт* (1785–1859) — хирург, пытавшийся спасти Пушкина, смертельно раненного на дуэли.

С. 446. ...*рассказывает писатель Даль* Владимир Иванович (1801–1872) — прозаик, лексикограф, этнограф, врач; автор знаменитого

"Толкового словаря живого великорусского языка". Сопровождал Пушкина в 1833 г. в поездке по пугачевским местам. После роковой дуэли 28 января 1837 г. неотлучно дежурил у постели умирающего поэта.

С. 448. *Бестужев-Марлинский* Александр Александрович (1797–1837) — прозаик, критик, поэт; декабрист. Много лет переписывался с Пушкиным. В 1837 г., будучи в Тифлисе, заказал молебен по А. С. Грибоедову и А. С. Пушкину, а 7 июня этого же года погиб в бою при высадке на мыс Адлер.

С. 449. *Тютчев* Федор Иванович (1803–1873) посвятил памяти Пушкина стихотворение "29 января 1837". Пушкину он был обязан тем, что тот первым напечатал в 1836 г. цикл его стихотворений (за подписью Ф. Т.), открыв нового поэта, который стал классиком русской литературы.

Губер Эдуард Иванович (1814–1847) — поэт, переводчик, автор стихотворения "На смерть Пушкина", которое по цензурным условиям при жизни автора не публиковалось (впервые — в воспоминаниях М. Н. Лонгинова: газета "Московские ведомости". 1857. 12 нояб-

ря).

Подолинский Андрей Иванович
(1806–1886) — поэт, которого в некрологе на-
звали "последним из пушкинской плеяды".

Note1

Село Михайловское, Псковской губернии,
имение Пушкиных.

[^^^]

Note2

Впоследствии, во время отсутствия А. С. Пушкина в Петербурге, брат его, Лев Сергеевич, был постоянным его комиссионером по книжным делам и, обладая удивительной памятью, говорил наизусть своим знакомым целые поэмы старшего брата По этому поводу кем-то был сказан такой экспромт:

*Наш Лев Сергеич очень рад,
Что своему он брату брат.}*

[^^^]

Note3

Для читателей, незнакомых с игрою в лапту, опишем ее здесь несколько подробнее. Играющие из своей среды избирают двух — наиболее ловких и увертливых — начальниками, которые называются матками. По жребию (схватыванием подброшенной палки) обе матки решают, кому из них быть старшей, кому младшей маткой. Старшая, по жребию же (угадыванием произвольно взятых кличек), избирает себе подначальную команду из прочих товарищей, подходящих к ней попарно, после чего занимает со своей командой небольшой уголок — город — на предназначенном для игры месте. Младшая же матка со своей шайкой располагается врассыпную в поле, т. е. на остальном пространстве ристалища, которое отгораживается от города небольшою, только в сажень ширины, нейтральною полосою. Один из полевщиков с мячом в руке становится на пограничной черте поля и подбрасывает горожанам мяч. Горожане по очереди сдают, т. е. бьют по мячу лаптою — палкою с лопатообразным концом, ста-

раясь зашвырнуть мяч возможно далее в поле или даже за крайнюю его черту. Вслед за сделанным ударом горожанин сам бежит через поле, чтобы перебраться за вражий стан, пока еще никто из врагов не успел запятнать его. Пятнать, однако, не дозволяется руками, а только тем же мячом. Чтобы удар был возможно меток, полевщик, первый подхвативший мяч, перебрасывает его к самому ловкому из ближайших к бегущему товарищей, и тот уже старается запятнать последнего. Если запятнать его удалось, то этим самым полевщики победили, город взят, — полевщики делаются горожанами, и наоборот. Точно так же игра кончена, если кто-нибудь из полевщиков успеет поймать на лету сданный мяч, пока он еще не коснулся земли. Если очередной горожанин промахнулся лаптою в подброшенный ему мяч, то он на этот раз лишается права бежать через поле и становится на пограничной черте в ожидании, пока кто-нибудь из его товарищей сдаст более удачно. Тогда он вместе с последним бежит через поле. Старшая матка имеет три удара, чтобы в случае нужды выручать своих подначальных, и

потому сдает всегда последнею. Перебежав раз благополучно за поле, каждый горожанин может бежать в удобный момент обратно в город, и если при этом избегнет направленно-го против него врагами мяча, то приобретает опять право на один удар. Так продолжается игра, пока одного из горожан не запятнают или мяч не будет пойман на лету. Игра может быть прекращена исключительно по усмотрению обладателей города в данное время. Горожане нимало не утомляются игрою и, так сказать, починут на лаврах, потому что изредка только сдают мяч и перебегают поле. Полевщики же, вынужденные поминутно гнаться за мячом вдоль и поперек по всему полю, до того по большей части изнемогают, что еле дышат и ноги волочат.

[^^^]

Note4

Вот названия некоторых из этих эпиграмм:
"Надпись на конную статую пушкаря В. фон
Рекеблихера", "О Дон Кихоте", "Жалкий чело-
век", "Виля Геркулесу", "На случай, когда Виля
на бале растерял свои башмаки".

[^^^]

Note5

{ Вот наиболее удачные стихи этой, вообще довольно слабой в литературном отношении, пьесы:

*Зевс вдруг кинул перуны,
Горы в песок превратились.
Рухнули с треском на землю
И — подавили гигантов...
Где же надменный Сизиф?
Иль покоряет россиян?..
Нет, гром оружия россов
Внемлет пространный Париж!
И победитель Парижа,
Нежный отец россиянам,
Пепел Москвы забывая,
С кротостью галлам прощает —
И как детей их приемлет.
Слава герою, который
Все побеждает народы
Нежной любовью — не силой!..}*

[^^^]

Note6

* * *

[^^^]

Note7

Так буквально приводит А. С. Пушкин на память в письме к брату своему Льву Сергеевичу из Кишинева, от 4 сентября 1822 года, стихи Кюхельбекера "Гроза С-т Ламберта".

[^^^]

Note8

На императорской ферме приготавлился в то время швейцарский сыр, который отправляли даже на продажу в Петербург.

[^^^]

Note9

Старшая сестра вышеназванной Прасковьи Николаевны Львовой, Елисавета Николаевна, вышедшая незадолго перед тем замуж за родственника своего, Федора Петровича Львова.

[^^^]

Note10

Кроме названных уже трех лиц — жены Дер-жавина и двух его любимцев, племянницы и племянника, в доме его жили или безвыезд-но, или по неделям Вера Петровна Лазарева (дочь прославившегося впоследствии адмира-ла), Александра Николаевна Дьякова (урожд. Львова, вторая сестра Прасковьи Николаев-ны), Любовь Аникитична Ярцова, братья Львовы и Дьяковы, молодые Миллер и Фок.

[^^^]

Note11

{Тайка пережила своего барина, который еще при жизни ее сочинил ей такую эпитафию:

*На могилу милой собачки
Здесь песик беленький лежит,
Который Горностайком звался.
Он был тем мил и знаменит,
Что за хозяина вступался
И угождал не низкою какой,
А твердой львиною душой;
Ворчал, визжал, но так забавно,
Что и сердяся пел сопрано.}*

[^^^]

Note12

"Ирод и Мариамна" (единственная представленная на сцене), «Евпраксия», "Темный" и "Аталибо, или Разрушение Перуанской империи".

[^^^]

Note13

"Добрыня" и "Пожарский".

[^^^]

Note14

Подлинные слова Державина.

[^^^]

Note15

Тур — парик.

[^^^]

Note16

* * *

[^^^]

Note17

* Петербургский книгопродавец.

[^^^]

Note18

Петербургский иезуитский коллегиум по распоряжению правительства закрыт в 1815 году; а пять лет спустя, в 1820 г., были изгнаны из пределов России и все иезуиты.

[^^^]

Note19

{* Экзамен из русского языка бьи разделен на четыре отдела:

- 1) разные роды слогов и украшение речи,
- 2) краткая литература красноречия в России,
- 3) славянская грамматика,
- 4) чтение собственных сочинений.}

[^^^]

Note20

Екатерина II — державинская Фелица — написала свою сказку "Царевич Хлор" для своего маленького внука Александра Павловича. По восшествии последнего на престол Державин в 1802 году написал ему также послание: "К царевичу Хлору".

[^^^]

Note21

* * *

[^^^]

Note22

* Экспромт этот приписывают С. Л. Львову.

[^^^]

Note23

Александр Федорович Воейков (1779–1839), известный в свое время сатирик и профессор Дерптского (Юрьевского) университета, в 1815 году женился на племяннице Жуковского, Александре Андреевне Протасовой.

[^^^]

Note24

За обилием собственных тем, Пушкин, действительно, только в 1821 году принялся за предоставленный ему Жуковским сюжет и начал было новгородскую поэму «Вадим», но так ее и не окончил.

[^^^]

Note25

Оба в последствии графы и министры.

[^^^]

Note26

* * *

[^^^]

Note27

* Дюпор — знаменитый в то время балетный танцовщик. Т. е. изображение русского Горация Флакка.

[^^^]

Note28

* * *

[^^^]

Note29

{ Школьный товарищ Пушкина, адмирал Матюшкин, перед своей смертью передал сохранившийся у него подлинник «Мудреца» за 1815 год академику Я. К. Гроту. Благодаря любезности последнего пишущий настоящие строки имел случай просмотреть этот подлинник. Почти весь журнал переписан одним и тем же красивым почерком Данзаса, что удостоверяется как покойным Матюшкиным, так и пометкой в конце 1-го номера «Мудреца»: "В типографии Данзаса". По словам того же Матюшкина, статьи принадлежали почти исключительно Данзасу и Корсакову. Дельви́г, как «известный» уже литератор, только просматривал их до переписки, — почему под подписью Данзаса выставлено: "Печатать позволяется. Цензор Барон Дельви́г". Наконец, Илличевский участвовал в журнале собственно как иллюстратор: недурные раскрашенные карикатуры украшают каждый номер, и под одной из них можно прочесть подпись: "Ш. Рінх.", т. е. "Illischewsky pinxit" (Рисовал Илличевский).

Кстати выпишем здесь оглавление 1-го номера «Мудреца» за 1815 г.: Изящная словесность: 1) Проза: а) К читателям. б) Осел — философ. 2) Стихотворения: а) К заключенному другу-поэту. б) К Мудрецу, с) Эпиграмма, d) Эпитафия, е) Нет, нет! 3) Критика: а) Письмо к издателю. Б) Объявление. 4) Смесь: а) Письмо из Индостана. б) Анекдот.

В конце номера приложены две карикатуры. В одной из них действующими лицами представлены Мясоедов, Кюхельбекер и гувернер; в другой — Мясоедов, Илличевский и гувернер. В той и другой Мясоедов, по обыкновению, изображен с ослиной головой, а Кюхельбекер и Илличевский совсем взрослыми мужчинами. Илличевский даже с бакенбардами, в современных штатских платьях.

В 3-м номере «Мудреца» к указанным 4-м отделам прибавились еще два новых: «Моды» и "Политика".}

[^^^]

Note30

В подлиннике, по очевидной опiske, сказано:
"воют".

[^^^]

Note31

Для сравнения приводим и соответствующие куплеты Жуковского:

*В тени дерев, над чистыми вода-
ми,
Дерновый холм вы видите ль, дру-
зья?
Чуть слышно там плескает в
брег струя,
Чуть ветерок там дышит меж
листами;
На ветвях лира и венец...
Увы! друзья, сей холм — могила;
Здесь прах певца земля сокрыла;
Бедный певец!
И нет певца! Его не слышно ли-
ры...
Его следы исчезли в сих местах;
И скорбно все в долине, на холмах;
И все молчит... Лишь тихие зефи-
ры,
Колебля вянущий венец,
Порою веют над могилой,
И лира вторит им уныло:
Бедный певец!*

[^^^]

Note32

Черт побери (нем.).

[^^^]

Note33

Маленький (нем.).

[^^^]

Note34

В подлиннике сделана выноска: "Фигура Синтезис" — острота, вызванная, вероятно, классным уроком, где говорилось о синтезисе (мысленное соединение частей в целое) в противоположность анализу (разложение целого на части).

[^^^]

Note35

* * *

[^^^]

Note36

* Пародия на известную оду Дельвига "Сядем, любезный Дион...".

[^^^]

Note37

Для образчика приводим здесь наиболее удачные стихи 2-й песни "Сазоновиады":

*Тихо все в середине града
И покой лишь обитает,
Из лица, как из ада,
Вдруг Сазонов выступает,
С смертоносным топором
На разносчика летит...
...И вдруг в одно мгновенье
Ему всю голову расшиб,
А мальчик в сопровожденье-с,
Его рукою же погиб...*

[^^^]

Note38

Старшему из трех сыновей Энгельгардта было 14, второму 12 и младшему 8 лет; двум дочерям его было 11 и 10 лет.

[^^^]

Note39

Рукопись Энгельгардта озаглавлена "Etwas über die Zöglinge der höheren Abtheilung des Lyceums" (т. е. "Кое-что о воспитанниках старшего курса лицея").

[^^^]

Note40

Если Энгельгардт несколько и ошибался в Пушкине, которого своеобразная, пылкая натура не подходила под общий масштаб, то товарищей его этот опытный педагог оценил чрезвычайно метко. Так, про *Кюхельбекера* в рукописи его сказано:

"Читал все и обо всем; имеет большие способности, прилежание, добрую волю, много сердца и добродушия; но в нем совершенно нет вкуса, такта, грации, меры и определенной цели. Чувство чести и добродетели проявляется в нем иногда каким-то донкихотством. Он часто впадает в задумчивость и меланхолию, подвергается мучениям совести и подозрительности и, только увлеченный каким-нибудь обширным планом, выходит из этого болезненного состояния..."

Относительно *Илличевского* там же сказано, что ранние похвалы повредили этому юноше и что в умственном развитии и науках он остановился на той же степени, на которой находился при поступлении в лицей.

[^^^]

Note41

Шуточная поэма князя Шаховского, направленная вообще против «карамзинистов», в особенности же против В. Л. Пушкина.

[^^^]

Note42

Намек на спор Василия Львовича с Шишковым (рассказанный нами в "Отроческих годах Пушкина") и на оправдательные стихи Василия Львовича:

*...Не улицы одне, не площади, не
дома, —
Сен-Пьер, Делиль, Фонтан мне бы-
ли там знакомы...*

[^^^]

Note43

В басне своей "Соловей и Малиновка" В. Л.Пушкин сравнивает Крылова с малиновкой.

[^^^]

Note44

Стих ТрEDIAKOBCKOГO, KOTOPOrO «apзaмacцы» нaзывaли "пaтpиaрxoм cлaвeнoфилoв".

[^^^]

Note45

Мешковы и Шутовские — Шишковы и Шаховские.

[^^^]

Note46

Намек на комедию кн. Шаховского "Липецкие воды".

[^^^]

Note47

Здесь разумеется упомянутое уже в первой нашей повести стихотворное послание В. Л. Пушкина к Жуковскому, служившее ответом на ожесточенные нападки Шишкова.

[^^^]

Note48

Князь Александр Михайлович Белосельский, вельможа времен Павла I и Александра I, обер-шенк, посланник в Дрездене и Турине, композитор оперетки «Оленька» и сочинитель многих французских и русских стихов.

[^^^]

Note49

Вторая жена историографа, урожденная княжна Вяземская; первой женой его была Елисавета Ивановна Протасова, умершая в 1802 году и оставившая ему одну дочь, Сонюшку.

[^^^]

Note50

* * *

[^^^]

Note51

Впоследствии король Нидерландский Вильгельм II.

[^^^]

Note52

Письмо это, к сожалению, не сохранилось. Но, чтобы дать хоть некоторое понятие о корреспонденции этой, редкой в наше время няни с ее любимцем, мы приводим здесь другое письмо ее, писанное к нему 10 лет спустя.

*"Любезный мой друг Александр Сергеевич — я получила письмо и деньги, которые вы мне прислали. За все ваши милости я вам всем сердцем благодарна — вы у меня беспрестанно в сердце и на уме, и только когда засну, забуду вас. Приезжай, мой Ангел, к нам в Михайловское — всех лошадей на дорогу выставлю. Я вас буду ожидать и молить Бога, чтобы Он дал нам свидеться. Прощай, мой батюшко Александр Сергеевич. За ваше здоровье я просвиру вынула и молебен отслужила — поживи, дружочек, хорошенько, — самому слюбится. Я, слава Богу, здорова — целую ваши ручки и остаюсь вас многолюбящая няня ваша
Тригорское, марта 6.
Арина Родионовна".*

[^^^]

Note53

Аристарх Александрийский — ученый, критиковавший и исправлявший стихи Гомера.

[^^^]

Note54

Эта самая фраза впоследствии, очевидно не без умысла, включена Пушкиным, как память о "лицейской старине", в одну строфу известной пьесы его "19 октября" ("Роняет лес багряный свой убор..."):

Спартанскою душой пленяя нас,
Воспитанный суровою Минервой,
Пускай опять Вальховский сядет первый,
Последним я, иль Брогльо, иль Данзас...

[^^^]

Note55

* * *

[^^^]

Note56

* Т. е. о нулях.

[^^^]

Note57

Директору Энгельгардту был пожалован орден Св. Владимира на шею; профессорам: Гауеншильдту, де Будри, Куницыну и Кайданову — на шею же орден Св. Анны; Кошанскому и Карцеву — Владимирский крест в петлицу; гувернеру Чирикову и доктору Пешелю — Аннинский крест в петлицу; инженер-полковнику Эльснеру и учителю танцевания Эбергардту — золотые табакерки: первому — с алмазами; учителю фехтования Вальвилю и капельмейстеру барону Тепперу де Фергюсону — алмазные перстни; наконец, эконому Ротасту — чин 10-го класса.

[^^^]

Note58

Шляпа с прямыми полями, которою он впоследствии украсил и своего любимого героя:

*Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар...*

[^^^]

Note59

Антисфен (р. в 420 г. до Р.Х.) и *Диоген* (р. в 414 г. до Р.Х.) — оба древнегреческие философы; последний — ученик первого.

[^^^]

Note60

Скотобратцами лицеисты первого выпуска называли себя иногда еще в лицее по поводу карикатур Илличевского, в которых они изображались в виде животных. Прозвище Курнофеюс дано было Тыркову в лицее же за то, что он был курнос, а Кирпичным брусом он звался за цветущий, смутло-бурый цвет лица; Яковлев получил кличку Паяса за искусное передразниванье других; Комовский прозывался Лисой за ловкость и лукавство, а Стевен — Шведом по происхождению. Остальные прозвища объяснены нами уже ранее в своем месте.

[^^^]

Note61

"Воспитанником лицея" Пушкин назвал себя в протоколе иронически потому, что, выйдя в 1824 году в отставку, он, по беззаботности своей, потерял выданный ему на службе аттестат и вместо последнего предъявлял полиции свой лицейский аттестат, где назывался воспитанником лицея.

[^^^]

Note62

Салтыков — тесть Дельвига.

[^^^]

Note63

Нащокин — московский приятель Пушкина.

[^^^]

Note64

Известная в то время ученая собака, угадывавшая карты, цвета и проч.

[^^^]

Note65

Полторацкий — друг Пушкина.

[^^^]

Note66

Предчувствие не обмануло Бестужева: он действительно пал в бою с черкесами несколько месяцев спустя, 7 июня 1837 года.

[^^^]